Одесский
альманах

№47

IV / 2011

ДЕРИБАСОВСКАЯ ФОНТАНЕЛЬЕВСКАЯ







PLASKE
ПЛАСКЕ

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)''452.2''

Д 362 Дерибасовская – Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 47 Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь, И.Л. Липтуга. — Одесса: Издательская организация «ПЛАСКЕ» АО, 2011. — 380 с.

ISBN 978-966-8692-19-2

Д 4702640204 2011 + 0503020902 2011

Редактор Феликс Кохрихт

Редколлегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора)
Олег Губарь
Иван Липтуга

Editor Felix Kokhrikcht

Editorial Board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar
Ivan Liptuga

ISBN 978-966-8692-19-2 © Авторство художественных текстов, 2011

От редакции

Если вы держите в руках очередной, сорок седьмой номер альманаха, то уже наверняка ощутили, что он стал тяжелее, – в нем 380 страниц, на 60 больше, чем в предыдущих. Хотелось бы употребить метафоры – весомее, значительнее, но об этом судить нашим уважаемым читателям.

Изменились и дизайн, и шрифт, и детали верстки. Мы стараемся выглядеть, да и быть современнее, привлекать молодежь – и в авторы, и в читатели. С Новым годом нас поздравляет школьница – член литературного объединения, много лет работающего во Второй гимназии, по соседству публикуется одна из ста пятидесяти творческих заявок участников проекта «Одесса, любовь моя…», созданного нашими кинематографистами для начинающих сценаристов.

Есть в номере и другие изменения структурного, полиграфического характера, но неизменным остается главное – концепция издания. Мы и впредь будем рассказывать об Одессе – ее (нашей!) истории, культуре, литературе, о знаковых фигурах, известных во всем мире, о тех, кто незаслуженно забыт, о феномене одесской ментальности со всеми ее неповторимыми особенностями и нюансами.

С этого номера стартует традиционный «Одесский календарь». На сей раз он приглашает на неспешную прогулку по Пушкинской, которая завершится 2 сентября 2012 года. В этот день увидят свет не только календарь, но и 50-й (юбилейный) выпуск нашего альманаха, и очередная книга из серии «Одесская библиотека», которая выходит под эгидой АО «ПЛАСКЕ» и Всемирного клуба одесситов. Подробнее о библиотеке можно прочитать на клапане задней обложки номера.

Под материалами альманаха адреса авторов – одесситов живущих во многих странах мира и не порывающих связи с Южной Пальмирой. И это – тоже традиция.

Изюминка номера – рассказ Александры Ильиничны Ильф о том, какое место в жизни и творчестве отца и его друга Евгения Петрова занимал родной город. В заголовок публикации вынесена фраза авторов «12 стульев» и «Золотого теленка»: «Дела призывают нас в Одессу!». Провозглашенная в 30-е годы XX века, она актуальна и сегодня – в начале третьего тысячелетия.



Дарья Ясиновская

С Новым годом!

Новый год… само это словосочетание вселяет какое-то ощущение сказки. Хочется поверить в чудо. Вещи, которые всего пару часов назад казались обычными, видятся с другой, чаще всего положительной стороны. Для каждого из нас Новый год – не просто праздник, а нечто особенное. Это уже не просто елка, цветные лампочки и запах мандарин. Это надежда и вера в лучшее, желание оставить все свои проблемы в прошлом году и начать все сначала. Кстати, многие верят, что зима для того и создана в белых тонах, чтобы начинать жизнь с белого листа. Шаг в светлое будущее. Но далеко не все так воспринимают этот праздник. Некоторые остаются одни, хотя потом сожалеют об этом. И обиднее всего остаться на Новый год в одиночестве, понимая всю безвыходность своего положения. Тогда сознание впускает к себе реальность, и ты осознаешь, что сказки не сбываются. Чтобы этого не произошло, Новый год празднуют в кругу самых близких и родных людей. Когда они рядом и держат тебя за руку, ты чувствуешь их тепло и поддержку. Именно тогда легче поверить в чудо. Люди становятся по-детски наивными и открытыми, чего им в жизни очень недостает. Если подумать – просто праздник. Но он заставляет чувствовать себя чуточку счастливее. При этом каждому хочется настоящей зимы. Как в фильмах. Чтобы были большие снежинки и хрустящий снег, чтобы отовсюду были слышны поздравления, смех и звон новогодних колокольчиков. Чтобы дети ловили языком снежинки и пытались найти их в сугробах. Но там их нет. Совсем нет. Ни одной. Снежинки неповторимы, изящны и уникальны, только когда в воздухе, когда одни. А приземляясь на землю, растворяются среди других. Совсем как люди.

Сезон писем и рисунков на окнах, стеклах витрин и автобусах. В предвкушении праздника все вокруг искрится и переливается. Мелькают манящие праздничной атмосферой магазины, в каждом из которых продаются милые и совершенно ненужные игрушки, гирлянды, цветные огоньки и елочные украшения. Всем хочется еще раз пройтись по освещенным старыми желтыми фонарями улицам, еще раз вдохнуть холодный и одновременно обжигающий воздух, заглянуть в мерцающие витрины. Все кажется таким нереальным, игрушечным. Но люди этого не замечают. Они перестают верить в реальность и мыслить логически. И все из-за того, что мечты их не всегда сбываются. Люди хотят верить, что все будет хорошо. Идя по улице и выдыхая горячий пар, они выдыхают ненужные навязчивые мысли. А потом вместе с воздухом снова их вдыхают. Люди так нужны друг другу. Они хотят помочь тому, кто находится рядом. По крайней мере, потому, что сами нуждаются в помощи. Вот что есть самым главным в этом зимнем празднике. Совсем необязательно иметь дома нарядную елку, ломящийся от разных вкусностей стол и украшенные яркими гирляндами окна. Ведь праздник Новый год создан не для этого. Он нужен, чтобы каждый, каждый человек понял, что он не должен быть один. И не только на Новый год. Всю жизнь человека сопровождают его самые близкие люди, и этот праздник создан для того, чтоб человек понял – они будут с ним всю жизнь. Они будут жить с ним, в его сердце.

От редакции. Дарья – ученица Одесской гимназии № 2, увлекается литературой, пробует свои силы в творчестве. О юных писателях и поэтах, об их наставнице – в разделе «Первые шаги», стр. 222.

Ева Краснова, Анатолий Дроздовский

Одесская выставка 1910-1911 годов

Идея проведения в Одессе промышленной выставки, дающей возможность показать экономическое развитие Юга России, зародилась в одесском отделении Русского технического общества еще в конце XIX века. По уважительным причинам в практическую плоскость вопрос о выставке перешел лишь в 1909 году.

Городские власти отвели под выставку часть приморской территории Александровского парка и обширную Михайловскую площадь. Для решения организационных проблем был избран представительный выставочный комитет.



Открытие выставки состоялось 25 мая 1910 года при большом стечении публики. Входная плата в день открытия составила 2 рубля с включением благотворительного сбора. Причем присутствие на торжественном открытии оплачивалось двойным тарифом первого дня. Деньги по тем временам немалые! Цена билета в следующие дни составляла 32 копейки с включением благотворительного сбора. Дети до 10 лет и учащиеся в форме платили половину этой суммы.



Реклама одесской выставки

Многие печатные издания России разместили на своих страницах посвященные этому событию статьи и фотографии, например, петербургский журнал «Всемирная новь». Популярная газета «Одесский листок» выпустила номер, полностью посвященный выставке, со статьей журналиста и писателя, внучатого племянника основателя Одессы Иосифа де Рибаса, Александра Михайловича Дерибаса.

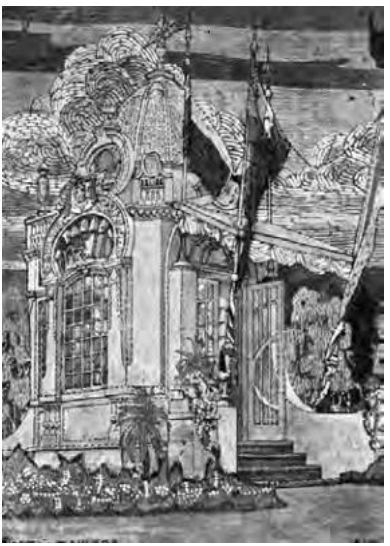
Вот как описывал выставку этот блестящий одесский литератор:

«Участие в выставке Москвы, Петербурга, многих русских губерний, различных фирм Германии, Австрии, Франции, Англии, Бельгии и других стран (всего 450 участников, из которых 73 – иностранные фирмы. – **Примеч. автора**) лишило одесскую выставку областного характера и придало ей колорит всероссийской. Более 1300 экспонатов располагались на площади в 17 десятин (18,5 гектара) в выставочных зданиях и павильонах самых разнообразных архитектурных стилей, размеров и форм.

Главный вход на выставку – полукруглая арка с примыкавшей к ней башней, напоминающей маяк и увенчанной деревянной мо-



Главный вход на выставку



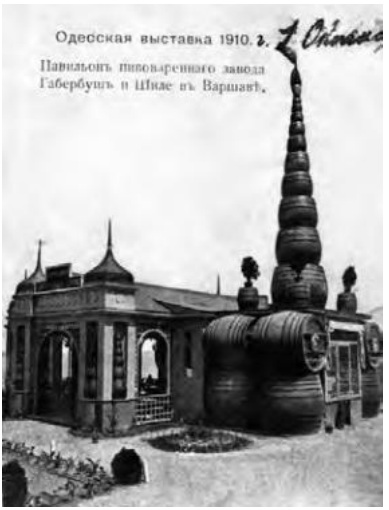
Павильон Ралле

делью шлема русского витязя, – был выдержан в древнерусском стиле. Здесь соседствовали павильон в стиле рококо московской парфюмерной фабрики («Т-во Ралле и К°») и павильон с минаретом в мавританском стиле одесской мукомольной фирмы («Эм. Вайнштейн и С-ья»), изящный павильон в стиле Людовика XVI французской фирмы шампанских вин («Moet&Chandon») и павильон в стиле модерн чайной фирмы «Караван», павильон в т. н. «древнегерманском» стиле мануфактурной фабрики и павильон «восточных сладостей»

в древнеегипетском стиле (Л.Х. Дуварджоглу, Одесса).

Привлекали к себе внимание художественный павильон, выполненный в помпейском стиле по проекту академика архитектуры А.В. Щусева, и павильон варшавского пивоваренного завода («Габербуш и Шиле»), составленный в виде шпиля из десяти пивных бочек разных размеров; «павильон-мельница» («Братья Анатра», Одесса) и «павильон-бутылка» (дегустационный зал одесского завода шампанских вин Генри Редерера); мраморный павильон гильзовой фабрики и павильон, выполненный из чугуна чугунолитейного завода («Г. и М. Раухвергер», Одесса); павильон под названием «Царь-самовар», выполненный в виде гигантского самовара, увенчанного чайником…».

Писатель-одессит В.П. Катаев, ребенком посетивший выставку, вспоминал, что самовар был деревянный, «высотой с четырехэтажный дом…» («10 саженей (21,34 м) в высоту, 5 саженей (10,67 м) в диаметре»). С верхней площадки самовара, где располагался один из многочисленных ресторанов выставки, открывался прекрасный вид на море, город и выставку.



Павильон фирмы шампанских вин «Moet&Chandon»



Павильон одесской мукомольной фирмы «Эм. Вайнштейн и С-ья»



Справа – «павильон-бутылка», дегустационный зал
одесского завода шампанских вин Генри Редерера

Интересно, что надпись на самоваре-рекламе сделана на популярном в те времена международном языке эсперанто, соз-



данном Людвигом Заменгофом и имевшем множество последователей в Одессе. Рекламная открытка чайного товарищества «Караван» снабжена надписями на эсперанто и на русском языках и украшена, как и сам самовар, символом эсперанто – зеленой пятиконечной звездой и флагом. Открытка рекламировала не только чай фирмы «Караван», но и международный язык эсперанто, который имел в Одессе множество приверженцев.



«Башня Бельведер»

Кроме гигантского самовара для обзора прекрасных окрестностей была выстроена такой же высоты «башня Бельведер», на некоторых открытках именуемая «Эйфелевой башней».

Достопримечательностями выставки, по мнению А.М. Дерибаса, были и «светящийся фонтан, струи которого, окрашиваемые по вечерам в различные цвета, принимали самые неожиданные формы, превращаясь в фантастические фигуры и целые феерические картины», и прообраз современного эскалатора – топоган – «движущийся тротуар, представляющий собой деревянную ленту, приводимую в движение специальными электрическими машинами», и служащий для подъема посетителей на мост, переброшенный через дорогу, разделяющую две соседние части выставки: главную территорию и Михайловскую площадь.

На территории выставки в жаркие летние дни действовали несколько фонтанов. Уникальный светящийся фонтан включали по вечерам. «Благодаря устроенному в особом помещении сильному насосу фонтан выбрасывает массу воды, струи которой, смотря по повороту специальных кранов, могут изменять свой вид и направление. Струи воды, достигающие иногда высоты 6 саженей (около 15 метров), освещаются снизу 8 сильными прожек-

торами с цветными вертящимися стеклами. Фонтан производит феерическое зрелище и служит гвоздем выставки. Он построен фирмой «Шеффер и Вальнер» в Берлине, устройство его обошлось комитету выставки до 12000 рублей», – такие подробности сообщались в газете «Ведомости одесского градоначальства».

По главной аллее Александровского парка была пущена в сентябре 1910 года первая линия одесского трамвая – «Выставочная». Он двигался от Греческой площади по Греческой улице, Канатной, Сабанскому переулку, главной аллее парка, Лидерсовскому бульвару. Рельсы и вагоны трамвая видны на панораме выставки и многих открытках, в том числе и на рекламе «Самовара-гиганта».

На Строгановском мосту пуск трамвая наблюдал юный Юрий Олеша, описавший необычное для Одессы зрелище в книге «Ни дня без строчки».

«Я помню себя стоящим в толпе на Греческой улице в Одессе и ожидающим, как и вся толпа, появления перед нами вагона трамвая, только сегодня впервые начавшего у нас функционировать. Он появится из-за угла Канатной, но с этого места, на котором мы стоим, угла не видно, он слишком отдален, да еще и скрыт



Павильон Зусьмана

в перспективе некоторой горбатостью Строгановского моста, и таким образом мы увидим вагон, только когда он будет уже на середине моста.

Все убеждены, что движение трамвайного вагона необыкновенно быстро, молниеносно, что даже и не приходится думать о том, что можно успеть перебежать улицу.

Трамвай показался на Строгановском мосту, желто-красный, со стеклянным тамбуром впереди, шедший довольно скоро, но далеко не так, как мы себе представляли. Под наши крики он прошел мимо нас с тамбуром, наполненным людьми, среди которых был какой-то высокопоставленный священник, кропивший перед собою водой, там же градоначальник Толмачев в очках и с рыжеватыми усами. За управлением стоял господин в котелке, и все произносили его имя: Легоде. Это был директор бельгийской компании, соорудившей первую трамвайную линию в Одессе».

Эффектная цветная панорамная литография, выпущенная во время выставки, показывает весь огромный выставочный городок, занявший большую часть парка. Почти по диагонали литографию пересекает главная аллея Александровского парка с памятником Александру II – Александровской колонной слева. Пересекает главную аллею, как и теперь, Лидерсовский бульвар, огибающий Михайловскую площадь с павильонами, – составляющую передний план литографии.



Литография с панорамой выставочного городка

Главный вход на выставку располагался почти напротив Александровской колонны на месте нынешнего стадиона. Сооружение в древнерусском стиле, упоминаемое А.М. Дерибасом, было построено по проекту архитектора А.Н. Клепинина и украшено ярким мозаичным панно, выполненным художниками выставки, приглашенными из Москвы, Иваном и Георгием Пашковыми.

С большой долей вероятности можно сказать, что этими же художниками были выполнены рекламные плакаты – эмблемы выставки, отпечатанные на разных языках литографическим способом в одесском графическом заведении «Новак и Побуда».

На более поздних выставочных рекламных открытках красуется гравированное изображение главного павильона выставки, где был представлен широкий выбор мануфактуры, ковров, головных уборов, костюмов и платьев различных фабрик и мастерских.

Гравюра легкого, изящного и белоснежного павильона, построенного по проекту гражданского инженера В. Кундерта, им же самим любовно выполнена. Изображению этому суждено было попасть на множество рекламных открыток выставки.

Не менее часто попадал в объективы фотографов оригинальный павильон Российского общества пароходства и торговли (РОПиТ), построенный архитектором А.Н. Клепининым в виде



Павильон РОПиТ

части корпуса парохода, соединенного со зданием агентства РОПиТ.

Без преувеличения можно сказать, что самым посещаемым павильоном одесской выставки был воздухоплавательный павильон, оборудованный одесским аэроклубом. По свидетельству В.П. Катаева, он представлял собой «громадную палатку – шатер из плотного авиационного шелка». В павильоне были выставлены модели новинок авиации того времени и сами аэропланы, бывшие в начале XX века чудом техники.

Любимец Одессы – Сергей Уточкин, дипломированный российский пилот № 3, – совершил успешные полеты на Фармане-IV с территории выставки через Одесский залив в Дофиновку в июле 1910 года.

Пользовался популярностью оригинальный павильон в виде скалы производителя высококачественных кавказских коньяков Д.З. Сараджева. Дегустировать отменные коньяки посетителям предлагали внутри скалы, в специально оборудованной пещере.

Присутствовал на выставке и павильон кавказской минеральной воды «Боржом», реклама которой выполнена как надпечатка на открытке с кавказскими типами.



Павильон Д.З. Сараджева

Рекламировали свои заведения и владельцы выставочных ресторанов, составившие невиданную конкуренцию стационарному ресторану в Александровском парке. Уютно расположилось над самым морем кафе Станислава Островского – содержателя кафе в центре Варшавы. Другой ресторан, под названием «Квисисана», был филиалом одноименного заведения, располагавшегося в центре Одессы на Преображенской улице против Собора.

Видеоряд живописных выставочных павильонов в виде литографий, открыток и фотографий сохранился очень большой и разнообразный. Этому способствовала любопытная история в документах, обнаруженных нами в архиве канцелярии одесского градоначальника.

За год до проведения торгово-промышленной выставки 1910 года маститый одесский фотограф, владелец фотосалона на Дерибасовской, 11, в доме Пурица, А.И. Горнштейн прошел конкурсный отбор и получил от выставочного комитета монопольное право на фотографирование выставочных павильонов, экспонатов и посетителей выставки. За это он должен был участвовать в сооружении и содержании художественного павильо-



Филиал одесского ресторана «Квисисана» на выставке



на, внести внушительный не подлежащий возврату залог в размере 500 рублей, отчислять 25% всего валового дохода в пользу комитета. Согласно данным архивного дела № 2079 от 8 июня 1910 года, А. Горнштейн, кроме того, должен был заплатить 300 рублей за часть выставочной территории, где располагался его фотографический павильон (напротив художественного павильона). Цены на снимки в «Художественной фотографии» А. Горнштейна были согласованы с комитетом выставки. Заведение работало с 10 утра до 11 вечера.

Трудно сказать, удалось ли господину Горнштейну вернуть затраченные средства и получить прибыль, так как одесский градоначальник генерал-майор Н. Толмачев посчитал монополию одного фотографа по отношению к другим противозаконной, даже усмотрев в таковых действиях выставочного комитета «подрыв отечественной фотографической промышленности»: «Все фотографы имеют право беспрепятственно снимать повсеместно в пределах одесского градоначальства, за исключением местностей, имеющих значение в военном отношении, каковую местность из себя территория выставки не представляет».

На основании этого строжайшего указания начальства многочисленные одесские фотографы – профессионалы и любители – получили право снимать уникальную архитектуру временных выставочных павильонов. Кроме официального фотографа выставки Абрама (в быту Адольфа) Горнштейна сохранились фоторепортажи с выставки в многочисленных одесских и российских газетах и журналах, мастерски выполненные Дмитрием Пудичевым и другими фотографами. Красочные открытки выставки, удивляющие и наших современников, напечатаны с их негативов.



Четко совпадают газетные фотографии А. Горнштейна с двумя открытками выставки: изящные павильоны в стиле модерн товарищества «Караван» и фарфорофаянсовых изделий А.Ф. Зусьмана. Можно предположить, что и некоторые другие фотооткрытки с аналогичным дизайном исполнения отпечатаны по негативам Горнштейна.

Невозможно обойти вниманием уникальные, не повторяющиеся силуэтные открытки одесской выставки 1910 года. Неизвестный умелец вырезал силуэты посетителей выставки и наклеивал их на специально подготовленные выставочные паспарту. Около тридцати лет назад одна из таких открыток была нам подарена посетительницей выставки.

Успех выставки был несомненен, и ее решено было продолжить в 1911 году. В распорядительный комитет подавались заявки на экскурсии от купцов и коммерсантов из Болгарии, Австрии, российских городов. Было заключено множество сделок, в Одес-

се открылись представительства зарубежных фирм, товары которых хорошо зарекомендовали себя на выставке.

После окончания выставки осенью 1911 года все павильоны были демонтированы и отданы владельцам. Некоторые использовали их и в дальнейшем. Как, например, выставочный кинотеатр «Гигант» был перенесен на Молдаванку, где использовался как кинотеатр, а воздухоплавательный павильон стал ангаром на одесском авиационном заводе. От выставки в Александровском парке не осталось и следа, если не считать бывшей трамвайной остановки перед главным входом на выставку, перестроенной в павильон управления парком. Несколько павильончиков, брошенных хозяевами, были разбросаны по территории парка и приспособлены для разных целей.



Олег Губарь

Функции Одесского строительного комитета
в контексте истории градостроительства Одессы*

Мощение. Дренажная система

История устройства проезжей части одесских улиц и вообще дорожное строительство – что называется, притча во языцех. Эта проблема решалась многие десятилетия эмпирически, методом проб и ошибок. Поскольку сюжеты о мощении города бугским гранитом, а отчасти – об устройстве предшествующего ему шоссе довольно подробно описаны в литературе[1], представляется целесообразным остановиться на практически неизвестных, ранних этапах дорожного строительства.

В первые десятилетия существования Одессы для устройства дорожного покрытия использовались, так сказать, отходы, некондиционный материал, который образовывался в ходе добычи строительного камня – мелкий щебень, дресва, так называемый хрящ. В отличие от звонкого «дикаря», это были осколки и обрезки «плитняка», добротного материала для кладки стен, но недостаточно прочного для отсыпки дорог. Из описей Одесского городового магистрата видно, что в конце XVIII века он занимался и установкой верстовых столбов[2].

Эпизодические отсыпки после создания ОСК сменились регулярным, правильным мощением, однако прочность и долговечность его оставляли желать лучшего. Так, 19 ноября 1806 г. в ответ на соответствующий рапорт городового полицмейстера Дембровского герцог де Ришелье распорядился «для исправления улиц выстлать их мелким камнем и песком». Вызывались же-

* Продолжение. Начало в кн. 35-41, 43, 45, 46.

лающие поставлять сказанный мелкий камень и песок, причем за каждую конную фуру полагалась следующая оплата: в сухое время – 25 копеек, в слякотное – 30 копеек, за воловью фуру – соответственно 40 и 50 копеек. «А как сия возка началась с 30-го числа прошедшего месяца», прилагается ведомость. Согласно ей, извозчикам на данный момент полагается: по 25 копеек за 386 конных подвод, по 30 копеек – за 357, по 50 копеек за 95 воловьих подвод. Итого из портовой суммы в погашение этого долга отпустили 241 рубль 10 копеек[3].

В эти годы помимо собственно отсыпки песка и щебня на улицах, рыночных площадях, производилось немало отсыпок перемещенного грунта для выравнивания, нивелирования тех или иных территорий, скажем, в верховьях Военной и Карантинной балок. Другими словами, осуществлялось антропогенное сглаживание естественного рельефа. Например, в ходе сооружения Городского театра понадобилось «уравнять землю» на будущей Театральной площади, и 31 марта 1809 г. ОСК сделал соответствующее распоряжение. Параллельно приступили к рытью сточных канав, на что отпустили деньги наемным рабочим[4].

В начале 1810-х годов ОСК под руководством Ришелье развернул поэтапное сооружение тротуаров и каменных сточных канав. 23 мая 1812 г. Комитет заключил контракт с известным подрядчиком итальянского происхождения Симоном Томазини «о сделании канав по улицам для тротуаров», по 12 рублей за погонную сажень. По заключении контракта подрядчик получил аванс в 1.000 рублей, а 3 июня и 11 июня, по рапорту городского архитектора Франческо Фраполли, еще 1.000 и 500 рублей[5]. Тогда же мощением тротуаров занимался другой известный подрядчик – одесский купец Симон (Семен) Стифель (Стиффель, Штифель).

Работы курировал адъютант де Ришелье граф Рошешуар, под надзором которого, в частности, осуществлялось мощение окрестностей Городского театра. 6 июня 1812 г. он приступил «к деланию тротуара около театра» и в тот же день принял у Стифеля 77 квадратных саженей готового тротуара в XXII квартале и 275 – в XIX квартале Военного форштата. Первый из этих кварталов ограничен улицами Итальянской, Еврейской, Ришельевской и Почтовой, а второй – Екатерининской, Почтовой, Александ-

ровским проспектом и Полицейской. Со Стифелем заключили контракт «на тротуарную работу» из расчета по 5 рублей 25 копеек за квадратную сажень. На заготовление и доставку материалов он получил от ОСК в задаток 6.400 рублей[6]. Подходы к Театральной площади обустраивали с повышенным вниманием – как особое социальное место: 20 июня 1812 г. здесь для удобства пешеходов сделали специальные переходы и деревянные лестницы[7].

Этим же летом устраивались тротуары и сточные канавы в отдельных кварталах по Александровскому проспекту, Итальянской, Греческой, Полицейской, Ришельевской, Екатерининской, Почтовой, Дерибасовской улицам, в том числе – возле Католического храма, Греческой церкви, Почтовой конторы, Городского сада, Гостиных рядов, отдельно – на Вольном рынке и др. Помимо Стифеля отделкой тротуаров занимались опять-таки известные подрядчики Федор Монако и Иван Еройский[8]. 5 августа 1812 г., по поручению де Ришелье, Рошешуар принялся «делать мосты к переходам чрез улицы вместо деревянных каменные», получив аванс в 500 рублей. Тогда же продолжалось и нивелирование проезжей части в центральной части города[9].

Приостановленная из-за чумной эпидемии работа по благоустройству улиц возобновилась во второй половине 1813 г. 10 ноября Франполли освидетельствовал работу подрядчика Федора Монако, прерванную из-за чумы, и нашел, что отделано им: «около Красных рядов» – 242 и $^{1}/_{3}$ квадратных саженей, «в Красных рядах, около купца Протасова» – 38 и $^{2}/_{9}$, близ Почтовой конторы – 102 и $^{6}/_{9}$, в IV квартале – 185 и $^{3}/_{9}$. Уточняю, что последний квартал ограничен Александровским проспектом, улицами Почтовой, Преображенской и Полицейской, однако работа велась тогда лишь со стороны проспекта. «Около купца Протасова» означает, что отделывался квартал по нечетной стороне проспекта, меж улицами Еврейской и Троицкой. Первая Почтовая контора помещалась на углу Почтовой улицы и Покровского переулка, а впоследствии перебралась на угол Почтовой и Екатерининской. Подрядчик Монако поставил в залог по этому контракту свой собственный дом в LI квартале Военного форштата, места №№ 5 и 6, оцененный в 6.005 рублей. Оное строение находилось на углу Ремесленной и Успенской улиц[10].

Как видно из других архивных материалов, устройство каменных переходов через улицы так и не было осуществлено повсеместно. Так, 5 октября 1814 г. Ф. Фраполли представил в ОСК смету на очистку всех по городу сточных канав и «на исправление мостков чрез улицы на переходах». Архитектор, в частности, сообщает о том, что все деревянные детали сгнили и нуждаются в замене. Комитет определяет отпустить необходимые средства и приступить к сооружению[11]. Проблема устройства мостков через улицы остается актуальной довольно продолжительное время. Скажем, в комитетском журнале от 24 января 1821 г. говорится о распоряжении градоначальника по отношению графа Ланжерона по тому же вопросу. При этом ОСК должен отпустить на устройство мостков «лес, который не способен на важное строение», а количество будет предусмотрено сметой, которую надлежит составить уже брату прежнего городского архитектора, Джованни Фраполли.

27 января 1821 г. Фраполли препровождает в Комитет смету, «во что обойдется один мостик, по примеру того, какой выстроен возле квартиры господина херсонского военного губернатора (то есть Ланжерона. – **О. Г.**), со всеми материалами и рабочими людьми». В смету включен расход бревен, досок, лат, гвоздей, оплата плотникам, расходы на окраску масляной краской и за перевозку леса. Итого 369 рублей 40 копеек. Изрядно. Кроме того, имеется отдельная смета, составленная инженером-подполковником Кругом «на деланье деревянного моста чрез улицу, подле дома, где квартирует господин херсонский военный губернатор, дабы во время грязи можно было пройти сухо». Согласно этой смете, необходима сумма в 310 рублей 90 копеек. Разница с предыдущей сметой объясняется, вероятно, тем, что часть используемых материалов уже имелась в наличии. Уточним: граф Ланжерон квартировал в одном из домов, принадлежащих члену ОСК коммерции советнику Рено, по улице Ланжероновской, во втором от угла, ниже Ришельевской.

Так или иначе, а состоявшиеся тогда же, 27 января, торги на отдачу в подряд устройства означенных мостков отталкивались от сметы Фраполли. В торгах участвовали одесские мещане Макей Сахаров и Никита Беляев, да одесский купец Илья Орлов. На по-

вторных торгах 28 января подряд остался за Сахаровым, назначившим самую выгодную цену – 306 рублей 90 копеек за один мосток. Однако 31 января 1821 г. искушенный в такого рода предприятиях Орлов предложил понизить эту цену еще на 10 рублей, то есть на 70 рублей против сметной стоимости[12].

Начало 1820-х годов ознаменовано сооружением первых более или менее полноценных по тогдашним технологиям шоссе – в наиболее значимых транспортных развязках, прежде всего, на Ланжероновском и Херсонском спусках. Первый служил главной артерией, связывающей город с портом, а по последнему гужевой транспорт въезжал в Одессу со стороны Херсона и Николаева. Собственно говоря, Ланжероновский спуск был продолжением Херсонской улицы, разрезанной на две части после устройства Городского сада и объединения в один кварталов LXIV и LXV.

Шоссе в сказанных местах осуществлялось по единообразной схеме, каковую представляет контракт, заключенный 17 мая 1821 г. «с иностранцем Варфоломеем Кокленом о сделании шоссе на дороге к Карантину» за состоявшуюся на торгах цену 17.835 рублей. Сразу же уточним: это тот самый знаменитый в свое время мебельщик Коклен, «дом с петухом» которого на углу Преображенской и Казарменного переулка недавно надстроен этажом.

Итак, он обязывался сделать шоссе к Карантину длиной 165, а шириной 8 погонных саженей. Технология устройства строго оговаривалась. Вначале следовало вручную вымостить спуск «большим дикарным камнем» толщиной не менее одного фута либо в два таких камня, уложенных без зазора. Второй слой надлежало вымостить крепким дикарем толщиной в шесть дюймов, третий слой – щебнем. При этом оба верхних слоя дозволялось укладывать лопатами, но с обязательной трамбовкой «бабами». Затем по всему шоссе необходимо было насыпать песку толщиной в 1 1/2 дюйма. Шоссе должна была окаймлять вымощенная камнем канава. Кроме того, подрядчик обязывался установить по обочинам 96 столбов высотой в одну сажень, а толщиной в шесть вершков, нижнюю часть которых следовало обжечь, а верхнюю выкрасить. В залог исполнения Коклен поставил дом другого подрядчика, Симона Томазини, находившийся в XVII квартале Военного форштата, на месте № 145 (это угол нечетной

стороны Польской улицы и Полицейской), оцененный магистратом 9 января 1819 г. в 35.200 рублей. Всю работу надлежало окончить не позднее сентября 1821 г.[13]. Как видим, устройство шоссе было далеко не простым, затратным, трудоемким делом.

Почему мы знаем, что спуск к Карантину устраивался именно со стороны Ланжероновской улицы? Да потому, что об этом прямо говорится в докладе инженера Круга, зафиксированном в журнале ОСК от 20 марта 1822 г. 13 сентября 1821 г. он по приказанию градоначальника Трегубова составил смету на «исправление трубы при спуске в Карантин по Ланжероновой улице суммою на 285 рублей». Подрядчик Коклен работу произвел, и ему следует заплатить из портовой суммы 482 рубля 19 копеек[14]. Уточним, что «трубой» в данном контексте именуют коллектор для стока воды. Что касается «переплаты», то она объясняется тем, что расчеты Круга, судя по всему, опять-таки не учитывали стоимость казенных материалов.

В комитетском журнале от 5 июня 1822 г. значится, что инженер-майору Гаюи, по составленной им же смете, отпущено 1.745 рублей 70 копеек на исправление спуска со стороны Херсонской заставы и внизу, на пересыпе[15]. По журналу от 21 сентября и 2 октября того же года решено «мостовую на спуск от Таможни к Карантину переделать по прожекту г-на полковника Потье», устроив канавки для стока воды. Отпущено соответственно 3.261 рубль 90 копеек и 639 рублей 95 копеек. Работа должна быть исполнена под началом самого Шарля Потье[16].

Интенсивное устройство шоссе продолжается градоначальником Гурьевым и генерал-губернатором М.С. Воронцовым. В журнале ОСК от 15 июня 1823 г. внятно изложен занимающий нас в данном разделе сюжет. 4 апреля 1823 г. градоначальник представил управляющему новороссийскими губерниями (то есть генералу И.Н. Инзову) проект сооружения шоссе по улицам Одессы, присовокупив составленный Потье профиль шоссе, смету и пояснительную записку на французском языке. Управляющий новороссийскими губерниями, в свою очередь, представил проект на утверждение управляющему МВД (то есть графу В.П. Кочубею). «Ныне, – читаем в журнале, – господин новороссийский генерал-губернатор граф Михайло Семенович Воронцов доставил его

сиятельству подлинное отношение, полученное им по помянутому предмету от господина управляющего МВД 30-го мая за № 771-м», чтобы сразу были сделаны «надлежащие распоряжения к постепенному и безостановочному устроению шоссе».

В Комитет препровождаются: копия сметы, профиля и шесть подлинных планов улиц, составленных Потье, копия предписания Воронцова от 4 июня из Царского Села и др. Резюме всего этого корпуса документов сводится к тому, что «изыскание способов, какими бы можно уменьшить грязь, которою покрываются улицы Одессы в дождливое время и особенно осенью, с некоторого времени есть один из важнейших предметов стараний здешнего начальства». Потье составил как бы образцовую «смету на устроение таким образом двух главнейших торговых улиц, именно ведущей от Херсонской заставы до вымощенного уже спуска к таможне, и от сей до Тираспольской заставы». Лучшего способа, нежели существующий, покуда нет.

Документы прошли по следующей цепочке: из Комитета – Гурьеву, от Гурьева – Инзову, от Инзова – Кочубею, от Кочубея – Воронцову (на его соображение), от Воронцова – Гурьеву, от Гурьева – в Комитет. Круг замкнулся. Воронцов четко обозначил свое отношение к проблеме регулярного шоссирования улиц: «Будучи совершенно согласен с мнением вашего сиятельства (то есть Гурьева. – **О. Г.**) о необходимости сей меры и получив таким образом на оную разрешение, долгом считаю, дабы не терять более времени, просить Вас, милостивый государь, принять сию бумагу к должному с Вашей стороны исполнению, учинив ныне же надлежащие распоряжения к постепенному и безостановочному устроению шоссе, которая (мера. – **О. Г.**) признается столь нужною в сем городе». В результате ОСК определил: приступить к работе через сдачу в подряд. При этом сделаны следующие оговорки. Накопленный опыт свидетельствует о том, что подрядчиками могут выступать лишь местные, а не иногородние обыватели, ибо потребный камень добывается на месте. Без промедления назначить торги на отдачу работ в подряд 21, 25 и 28 июня 1823 г. с узаконенной переторжкой[17].

В журнале Комитета от 25 июня 1823 г. находим кондиции и правила сооружения шоссе по одесским улицам. Это общие по-

ложения, которые в дальнейшем должны послужить основанием для всех других контрактов. Технология устройства изложена выше на примере спуска в Карантинную гавань. «Приложенные кондиции – на устроение (в данном случае. – **О. Г.**) по Херсонской и Ришельевской улицам шоссе и сделание по обеим сторонам оных тротуара шириною в 1 1/2 саженей». Строго оговорено качество используемого материала: это должен быть непременно «красный или черный дикарь». Такой камень обнажается в приморских обрывах меж Рашковским и Большим Фонтанами – «твердый, тяжелый, при переломе острый и блестящий».

Тротуары должно устраивать с опережением устройства шоссе. Тротуарные плиты не должны быть остроугольными. Столбики вдоль шоссе делаются так, как было указано выше, – с обжигом нижней и окраской верхней частей. Деревья вдоль улиц следует высаживать осенью, закупать в местном ботаническом саду, ценою не дороже 2 рублей 50 копеек за саженец. Высаженные деревца оборудуются подпорками, с окраскою в зеленый цвет. Имеющиеся на тротуарах деревья выкапываются в пользу подрядчика – если домовладельцы сами не пожелают их извлечь[18]. Тема озеленения Одессы более подробно будет рассмотрена ниже, в обособленном разделе.

Довольно жесткие требования к подрядчикам привели к тому, что ни 21-го, ни 25-го, ни 28 июня 1823 г. на торги никто не явился. Назначили повторные – 2-го, 3-го и 5-го июля, затем – третьи, 9-го и 11-июля. Снова никого. Тогда Комитет постановил провести последние торги 12 июля, и если и на этот раз не окажется охотников, тогда проводить работы хозяйственным способом[19]. Последний вариант, конечно, всегда настораживал высшее начальство, ибо таил в себе возможность разнообразных злоупотреблений. Неожиданно на эти окончательные торги явился одесский 3-й гильдии купец Федор Николаевич Эргард, представивший надежные залоги.

Тут, однако, возник бюрократический казус. Суть в том, что в соответствии с высочайшим манифестом от 1 января 1807 г., к подрядам и откупам допускаются лица с определенным имущественным цензом. Так вот купцы 3-й гильдии не могли получить подряд, смета которого превышала 12.000 рублей. А кон-

тракт на устройство шоссе исчислялся в 213.725 рублей 86 копеек. То есть эта сумма почти в 20 раз превышала дозволенную. Но тут случай выдался особый, а потому ОСК через градоначальника ходатайствовал у Воронцова о разрешении допуска Эргарда к торгам, и проблема в конечном итоге была развязана[20].

Летом следующего года упомянутый подрядчик производил работы по устройству шоссе под надзором инженер-майора Гаюи, которому пришлось чаще отчитываться перед Комитетом, нежели самому Эргарду[21]. 28 июля 1824 г. Гаюи, к примеру, пишет в ОСК о том, что перед воротами домов по Херсонской и Ришельевской улицам тротуары следует мостить не плитами, а крупным дикарем – «камнем твердого свойства», с отсыпкой песка. Замечание справедливое, ибо такие участки тротуара по существу функционируют как проезжая часть. Гаюи посчитал, что квадратная сажень такого покрытия обойдется в 8 рублей 40 копеек. Согласно контракту с Эргардом, цена мощения тротуаров плитами составляет 12 рублей за квадратную сажень. Тогда получается разница в 3 рубля 60 копеек.

Комитет принимает предложение Гаюи: призвать Эргарда и согласовать с ним этот момент. Если подрядчик не станет возражать, то откорректировать сметную стоимость подряда, а если станет – то призвать другого подрядчика[22]. Дело полюбовно согласовали. 14 и 27 августа 1824 г. Гаюи подробно докладывает ОСК о ходе работ, и Эргарду дважды выплачивают по 10.000 рублей в зачет частичного исполнения контракта[23].

В процессе строительства шоссе возникает проблема дальнейшего обустройства дренажной системы улиц. Система эта в первой половине 1810-х годов вписывалась в проекты и контракты по мощению тротуаров, что сопровождалось сооружением водосточных канав. Первый более крупный коллектор соорудили на границе Дерибасовской улицы и Александровской площади. Почему? Потому что площадь, по существу, представляла собой большую яму – низменное пространство в верховьях Военной балки. Впоследствии значительные отсыпки грунта нарастили ее уровень, а тогда стекающая отсюда в сторону балки вода беспрестанно повреждала мост, существовавший на Дерибасовской улице, над той же балкой. Строительство этого моста – от-

дельный сюжет. Здесь заметим только, что 4 февраля 1815 г. ОСК принял решение об устройстве этого дренажного сооружения, запланированного герцогом де Ришелье перед отъездом в Вену.

План и смету на 13.525 рублей 35 копеек представил архитектор Франческо Фраполли. Торги назначили на 6, 8 и 11 февраля[24]. Контракт был заключен с дворянином Яковом Бриндзой – строителем «Дерибасовского моста», в чем, конечно, видится своя логика. В марте дело двигалось уже вовсю, в июне Фраполли приписал добавочную против контракта работу, поскольку того требовали обстоятельства. Но так или иначе, а первый большой коллектор был построен[25]. Сюда же подверстывается другое дело, непосредственно из фонда ОСК, от 21 июня 1826 г. – «О устроении канавы вдоль тротуара по Дерибасовской улице».

Тогда в ОСК поступил рапорт штабс-капитана Круга и городового архитектора Джованни Фраполли. «По неимению по сторонам шоссе на Дерибасовой и Ланжероновой улицах устроенных канав, посредством коих можно бы было отвести дождевую воду, текущую по канавам Екатерининской улицы и двух кварталов оной, – пишут они, – мы признаем необходимо нужным сделать вновь канаву. По нашему соображению с местоположением мы нашли, что всего удобнее устроить сию канаву по Дерибасовой улице вдоль тротуара пред Ришельевским лицеем – так, чтобы дождевая вода имела сток в свод, под Дерибасовою улицею находящийся, идущий в Военную балку». Была составлена смета на 882 рубля 16 копеек. Затем, как это обычно бывало, понадобились дополнительные работы и дополнительные 232 рубля 50 копеек. Высшее начальство утвердило все расходы, и в декабре коллектор был готов[26].

Но вернемся к проблеме дренирования улиц в ходе прокладки шоссе летом 1824 г. Ситуация сложилась и впрямь забавная. Шоссе строилось, а предварительных планировочных расчетов по «ливневке» никто не делал. 21 августа ОСК спохватился и нашел необходимым согласовать с Гаюи устройство дворовых и уличных дренажных систем в окрестностях Херсонской, ибо мостовые вполне могли оказаться выше дворовых мест. Опасности подвергался даже дом коммерции советника Фундуклея на углу нынешней Торговой, арендованный для квартирования самого М.С. Во-

ронцова. Уклон здесь шел от Коблевской и Садовой в сторону Херсонской. Во время дождей вода протекала по специально прорытым канавкам из сада Кобле в сад Ферстера, а оттуда через двор Фундуклея на Торговую. К счастью, Гаюи в данном конкретном случае нашел, что «возвышение тротуара нисколько не препятствует стоку воды»[27].

Во время сооружения шоссе по Ришельевской улице проблемы обустройства дренажа возникли у целого ряда домовладельцев, во дворах которых стала скапливаться вода. И снова к устранению неполадок призвали Гаюи, тогда уже полноправного члена ОСК[28].

2 июня 1824 г. М.С. Воронцов утвердил проект построения шоссе «по Рибасовой улице». Шоссе здесь понадобилось для того, чтобы связать Херсонскую улицу и Ланжероновский спуск в объезд Городского сада и создать единую транспортную артерию. Торги, назначенные на 11, 12 и 13 июня, снова никого не привлекли. Тогда ОСК запросил Гаюи, примет ли он на себя хозяйственное распоряжение строительством за сметную стоимость – 22.506 рублей 60 копеек. Занятый множеством дел, Гаюи не успел или не захотел отреагировать на это предложение. Тем временем в Комитет явился купец 1-й гильдии Иван Вальб, согласившийся за три месяца сделать шоссе, включая выкладку крепким дикарем или плитами въездов во дворы за 22.500 рублей. 3 июля Гаюи «перепроверил кондиции, составленные им на построение сего по Дерибасовой, от Александровской до Ришельевской улиц». В результате предложение Вальба приняли, на условии, что он, как и Эргард, понизит цену на устройство въездов во дворы, заменив плитняк дикарем[29].

Контракт с Вальбом на откорректированных Гаюи кондициях был составлен 3-го, заключен 9 сентября, и представляется весьма любопытным документом. Согласно условиям подряда, ширина шоссе от Екатерининской до Ришельевской должна была составить 9 саженей, а от Екатерининской до Александровского проспекта – 8 саженей и 1 аршин, ширина тротуара – 1 1/2 сажени. Предварительно следовало спланировать, то есть выровнять улицу. Используемый дикарь должен был быть непременно «из породы красного или черноватого, похожего на тот, какой есть

между Рашковским и большим фонтанами, впрочем, не запрещается подрядчику добывать камень и в других местах, только бы из той породы: он должен быть твердый, тяжелый, при разломке острый и блестящий». Перед употреблением камень должен быть освидетельствован инженером, затем разбит в щебень размером в два-три кубических дюйма, пропущен через железный грохот. (*Хочешь, не хочешь, а вспомнишь слова поэта, наблюдавшего аналогичные действия чуть ранее: «Но уж дробит каменья молот…»*) Щебень укатывается чугунным цилиндром (катком). Во время работ проезд по улице был разрешен исключительно домовладельцам. От Александровской до Екатерининской улицы над сточною канавою устраивается свод из камня на извести. «Со стороны Лицея к дороге скласть стену из дикого камня на извести с песком вышиною в один с половиною аршин сверх шоссе» – то есть речь идет о создании барьера безопасности, дабы лицеисты не выскакивали на проезжую часть. Тротуары из плит надо устраивать на фундаменте из бута и камня, остающегося от разборки старых водостоков. Новые желоба для стока воды и въезды во дворы – из дикаря. Столбики – как обычно, с троекратной окраской верхней части. Посадка деревьев и выкопка старых – это уже забота самого Комитета[30].

Сооруженные описанным выше способом шоссе нуждались в осмотрительной эксплуатации. 10 января 1825 г. Воронцов лично осматривал состояние проезжей части на Херсонской и Ришельевской улицах. Он нашел здесь многочисленные выбоины и ямы, распорядился вовремя очищать их от грязи с соответствующими компенсирующими отсыпками. Для регулярных ремонтов предлагалось использовать арестантов[31]. 22 января ОСК слушал предписание графа Воронцова на имя градоначальника по поводу дальнейшего постепенного устройства улиц. Теперь черед дошел до Греческой, мостить которую можно было, привлекая «довольное число рабочих из людей самого бедного класса, кои нуждаются в пропитании и ищут работы». Эти чернорабочие могли разбирать старую мостовую, а затем разбивать полученные камни в щебень. Такие же неквалифицированные поденщики могли использоваться для заготовления дикаря в ломках за городом. Ремонтировать Греческую улицу

надлежало в два приема: сперва – в половину ширины, оставив другую для проезда[32].

Мощение и связанные с ним проблемы, как было сказано, тема необъятная, широко представленная как в фонде ОСК, так и во многих других. Ввиду этого считаем возможным упомянуть еще несколько значимых архивных дел. Одно из них, 1831 г., называется «О выписке чугунных и каменных столбов для постановки оных по сторонам одесских улиц, тротуаров, а также о продаже столбов частным лицам»[33]. Речь здесь идет об отливке столбов по образцу на Луганском литейном заводе, где вообще исполнялись все казенные одесские заказы. Например, там изготовили чугунные цилиндры для укатки тех же шоссе, сделали комплектующие для маяка на мысе Большой Фонтан и др. Показательно, что заказ на столбы отправлялся, так сказать, с запасом: чтоб изделиями воспользовались не только казенные инстанции, но и приватные особы, желающие установить изящные металлические столбики в воротах и дворах своих домов. Так что Комитет продал часть столбов горожанам. Любопытно, что некоторые из упомянутых столбиков до сих пор украшают отдельные дворы и подворотни.

Специальная тема – использование привозного камня для мощения улиц, дворов и проч. Но даже этот, казалось бы, второстепенный сюжет, представлен в архивных фондах довольно солидно. Это тем более понятно, что в конечном итоге именно привозной камень решил навязчивую проблему мощения. В самом деле, в окрестностях города нет и не может быть пригодного материала, поскольку стратиграфический разрез представлен здесь лишь мягкими осадочными породами. Прочные материалы вулканического и метаморфического происхождения приходилось доставлять либо из Средиземноморья, либо из Крыма или так называемого Украинского кристаллического щита.

В литературе часто говорится о том, что местное начальство периодически создавало благоприятные условия для средиземноморских шкиперов, – с тем чтобы они приходили сюда «в балласте», то есть загруженными прочным камнем[34]. Если обратиться к источникам, то видно, что наиболее активный привоз такого балласта относится к 1832-1836 гг. Вместе с тем, поскольку ка-

мень доставлялся из разных мест, то и качество его оказывалось разным. Некоторые партии получались недостаточно крепкими, другие требовали больших издержек на обработку из-за неправильной формы. «Вследствие того начальство города Одессы с сожалением находит себя в необходимости объявить купечеству и шкиперам судов, приходящих в здешний порт, что оно должно вовсе отказаться на будущее время от приема двух сортов привозимого ныне в значительном количестве камня, а именно от *мальтийского* и *ливорнского*, которых нельзя здесь употреблять с выгодою».

Понимая, что некоторые из поставщиков такого камня уже заготовили некоторый его запас, срок приемки продлевается на четыре с половиной месяца. Однако это постановление не распространяется «на плитный камень *триестский*» (из триестского песчаника в 1842 г. сделали ступени Бульварной лестницы), который продолжат принимать по прежней цене – 25 рублей за квадратную сажень. Одновременно будет покупаться и крепкий булыжный камень разных сортов, по 75 рублей за кубическую сажень. Если же окажется какой-либо другой камень равного с триестскими плитами достоинства по крепости и отделке, то и такой станут принимать. Если же поставщик предложит такой камень в кубиках, не более пяти вершков размером, то назначается цена 30 рублей ассигнациями от сажени[35].

Сын историка и статистика А.А. Скальковского не без юмора комментирует эту ситуацию: «Вначале мостили камнем, доставлявшимся по большей части из Италии в виде балласта кораблями, приходившими за хлебом. Но затем, в видах покровительства местной промышленности, камни с кораблей заставляли бросать в море, отчего засорился порт, а для мостовых стали употреблять местный дикарь»[36].

В 1830-1840-е годы лучшим привозным камнем мостили подходы к Городскому театру, в том числе пространство под его колоннадой, помещения Литейного завода, периметр дома городового архитектора Торичелли, отдельные переходы через улицы, дворы в элитарном центре и др.[37]

М.С. Воронцов проявлял постоянную заинтересованность в мощении Одессы, что видно как из архивных дел, так и из переписки

с разными лицами и инстанциями. Скажем, в 1830 г. он запрашивал МВД о дозволении строить специальные баржи для перевозки гранита с реки Буг. Однако это предложение оказалось крайне невыгодным: такие суда могли вместить не более 3.600 пудов, и при такой грузоподъемности перевозка обошлась бы чрезвычайно дорого[38]. В 1838 г. в его переписке обсуждается возможность устройства в городе образцового асфальтового покрытия[39].

И наконец, несомненный интерес представляет собой как бы итоговое дело, посвященное мощению Одессы до самой Крымской кампании. В начале 1850-х снова поднимался вопрос о замене существующих шоссе, устроенных по известной нам технологии, полноценными мостовыми из твердого булыжника или дикаря. По сложившийся уже традиции, для решения этой проблемы был создан Временный комитет, который проанализировал весь имеющийся на данный момент опыт мощения[40]. В комитетском деле, датирующемся 1850-1855 гг., содержится и соответствующая переписка с МВД и Управлением путей сообщения и публичных зданий. Ряд членов упомянутого Комитета высказал свои особые мнения, так что здесь даже не было полного единодушия. После продолжительных дискуссий, осложненных военной угрозой, вопрос оставили открытым до лучших времен, когда, по крайней мере, потребный прочный камень можно будет доставлять морем.

Дальнейшая история мощения достаточно хорошо известна, а образцы булыжных мостовых до сих пор сохранились на некоторых городских улицах. Теперь, когда пишутся эти строки, как раз уничтожается булыжная мостовая по улице Еврейской, меж Пушкинской и Ришельевской.

Примечания

[1] Смольянинов К. Н. История Одессы. – Одесса, 1853. – С. 189-190; Одесса, 1794-1894. – С. 244-256 и др.

[2] ГАОО, ф. 17, оп. 1, д. 36.

[3] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 258, л. 210.

[4] Там же, д. 259, л. 213.

[5] Там же, д. 264, л. 4, 47.

[6] Там же, л. 21, 34.

[7] Там же, л. 81.

[8] Там же, л. 66, 68, 95, 121, 122, 201, 213, 224, 235, 238, 297, 310, 355, 368, 360, 362, 426, 534.

[9] Там же, л. 269, 289.

[10] Там же, д. 266, л. 320-321.

[11] Там же, д. 267, л. 238.

[12] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 212. - 14 л.

[13] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 279, л. 449-455.

[14] Там же, д. 281, л. 196.

[15] Там же, д. 282, л. 3.

[16] Там же, л. 346-347.

[17] Там же, д. 283, л. 808-812.

[18] Там же, л. 885-886.

[19] Там же, д. 284, л. 55-56.

[20] Там же, л. 68-71.

[21] Там же, д. 286, л. 27-28.

[22] Там же, л. 207-209.

[23] Там же, л. 345-347, 437-441.

[24] Там же, д. 268, л. 27.

[25] Там же, л. 196-197, 474, 500-501, 567.

[26] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 680. – 62 л.

[27] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 286, л. 388-391.

[28] Там же, д. 287, л. 574-575.

[29] Там же, л. 370-375.

[30] Там же, л. 487-494, 537-538.

[31] Там же, д. 288, л. 59-60.

[32] Там же, л. 158-159.

[33] Там же, ф. 59, оп. 2, д. 263. – 99+3 л.

[34] Смольянинов К.Н. Указ. соч. – С. 223.

[35] Одесский вестник. – 1837. – 13 февраля (№ 13).

[36] Скальковский К. Воспоминания молодости. – СПб., 1906. – С. 16.

[37] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 2178. - 13 л.; д. 2190. - 16 л.; д. 2509. - 18 л. и др.

[38] Архив князя Воронцова. – М., 1891. – Кн. 37. – С. 345-347.

[39] Там же. – С. 329.

[40] ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 1428. – 178+2 л.

Олег Губарь

Энциклопедия забытых одесситов

Доктор Капелло и «мрачный год»

На своем недолгом по сравнению с другими европейскими городами веку Одесса успела пережить многое. Одним из самых чудовищных испытаний в самом начале ее пути была чумная эпидемия 1812-1813 годов. Читатели, конечно, что-то слышали об этом, но, не в обиду им будет сказано, едва ли сознают, каково пришлось первой, по существу, генерации одесситов, только-только с огромным трудом обосновавшихся на весьма негостеприимных берегах.

Несмотря на все трудности, стараниями герцога Ришелье (которому пришлось укрощать заразу в огромном регионе, в частности, в ужасающе пострадавшем Крыму) и его самоотверженной команды центральная часть Одессы стала обретать нынешние очертания. Сложилась сетка кварталов, в дополнение к Старому базару (Вольному рынку), на Военном форштате, стал обустраиваться Новый – на Греческом. Функционировали Гостиный, Мясной, Щепной, Дегтярный, Кузнечный, Овсяный, Рыбный ряды, Лесной рынок, Греческий базар, трактирные заведения. Давно работали Городской госпиталь и Городской театр, почтовая контора, мужской и девичий благородные институты, частные пансионы, достроили греческую Свято-Троицкую церковь, Преображенский собор, римско-католический храм. Финансировалась даже певческая и музыкальная капелла. По морскому берегу, Водяной балке, близ формирующейся Молдаванской слободки, на Пересыпи действовали кирпично-черепичные, салотопные, канатные, пивные, водочные заводы, обустраивались об-

ширные садоводческие хозяйства. С каждым годом возрастали обороты порта, совершенствовался карантин, усиливался приток гуманитарных и материальных ресурсов, формировались крепкие этнические и конфессиональные общины. Многострадальные пионеры уже стали было различать некие смутно заманчивые горизонты, как в Одессу нагрянула чума.

Появление «чумной заразы», мягко говоря, прошляпили, чтобы впоследствии сполна расплатиться не столько даже за халатность, сколько за нездоровый рационализм, а именно опасение потерять коммерческие выгоды. По архивным материалам выясняется, в частности, что в начале эпидемии умерших от заразы горожан хоронили на общем, то есть Городском кладбище, и лишь позднее – на обособленных погостах, которых оказалось гораздо больше, чем можно было предположить, что захоронения представляли собой «братские могилы» и др. Это не покажется странным, если учесть замечание адъютанта и родственника герцога де Ришелье, графа Рошешуара. Граф признает в своих мемуарах, что решение объявить карантин было несколько запоздалым, ибо суровые карантинные меры совершенно пресекали торговлю.

«Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама…»

В августе 1812 года много шуму наделала гибель трех актрис из труппы итальянских антрепренеров Монтовани и Замбони – «содержателей Городского театра», то есть заключивших определенный контракт с Одесским строительным комитетом. 29-го числа крайне обеспокоенный судьбой горожан градоначальник посредством упомянутого Комитета – основной управленческой структуры города – ввел чрезвычайное положение. Одесса разделялась на 13 санитарных частей, во главе которых стояли избранные комиссары и их помощники из самых авторитетных и благонадежных граждан. В их числе такие известные фигуранты ранней истории города, как купцы Амвросио, Андросов, Голиков, Инглези, Косовский, Кошелев, Ксенис, Мясников, Ростовцев, Сикар, чиновник Вейс и др. В их задачу входило составление локальной описи домов, ежедневный двукратный их обход с целью выявления заболевших. Если больной обнаруживался, призывал-

ся медицинский чиновник для освидетельствования, и в случае явного и даже сомнительного диагноза таковой горожанин отправлялся в госпиталь. При этом дом опечатывался и брался под охрану во избежание мародерства и выноса зараженных вещей. Далее принималось решение: сжечь оные вещи или подвергнуть очистке. Одесситам вменялось в обязанность дважды в день окуривать помещения, запрещалось принимать гостей. Категорически возбранили продажу *second hand*. На первых порах следовало наблюдать, чтобы не было скопления людей в питейных домах и других общественных местах. Закрыли дома терпимости, а всех проституток собрали в одном карантинном помещении, под страхом строгого наказания запретив принимать посетителей, каковые в случае задержания несли равную ответственность. Позже, по объявлению общего карантина, горожанам вообще запретили появляться в общественных местах, даже храмы закрылись.

Сложилась ситуация, при которой зараженные на тот момент лица изолировались в Городском госпитале, «подозрительные» – в остроге, а многие граждане, прежде арендовавшие жилье, приезжие, мореходы и проч. – во временных карантинах, один из которых, например, находился в начале будущей Канатной улицы, в доме руководителя Строительного комитета военного инженера Ферстера, другой – в доме купца Прохорова, третий – в доме полковника Черненко и др. Для снабжения изолированных одесситов была создана специальная продовольственная комиссия под началом рачительного купца Крамарева. Представьте себе, сохранились архивные записи о том, сколько доставленных морем из Херсона головок капусты, кореньев петрушки, сельдерея, брюквы, моркови, свеклы получил тот или иной комиссар или его помощники.

В карантины поставлялась вода, топливо, свечи, дезинфицирующие средства (в первую очередь, уксус), посуда, одежда, причем немало авансом отдавали сами комиссары, с которыми рассчитывались уже после прекращения эпидемии. Во исполнение обрядов для иудеев создали отдельный карантин, куда привозили и морскую воду. Любопытно, что оказавшийся в плену и содержавшийся в карантине на Пересыпи с 18 по 29 января 1813 года французский военный врач по милости Ришелье снаб-

жался отменно, не в пример многим горожанам. Меню включало и птицу, и говядину, и баранину (плюс расчет с приставленной стряпухой), да еще заплатили за дальнейшее его пребывание и питание в так называемом Клубном доме барона Рено. Долги эти погасили «из суммы, назначенной на продовольствие жителей».

Выдающуюся роль в ликвидации «чумной заразы» помимо де Ришелье и комиссаров сыграли военный комендант города Кобле, полицмейстер Мавромихали, карантинный инспектор Россет, члены Строительного комитета коммерции советник Рено, военный инженер Круг и др. Но главными героями этих катастрофических событий сделались, понятно, городские медики, в первую очередь, казенные.

Иван Францевич (Джованни Франческо) Капелло, высококвалифицированный врач, обосновался в Одессе не позднее 1802 года, и несколько позже был первым руководителем Городского госпиталя. Он обучался за границей, российского диплома не имел, тем не менее, совмещал должность по госпиталю, то есть Городской больнице, со службой «городовым врачом», да еще имел частную практику. В больнице Капелло был полновластным хозяином, и в 1808 году ему подчинялись смотритель (эконом), лекарский помощник, повитуха, мужская и женская палатная прислуга. Тогда же подрядчик купец Кирилл Антонов оградил госпиталь забором и соорудил баню. Госпиталь строился в 1805-1806 годах соотечественниками Капелло – небезызвестными Витторио Поджио и Франческо Фраполли. В 1811-м, по инициативе Капелло, к центральному корпусу стали делать различные пристройки, планировалось устройство пространных полуциркульных крыльев, однако чума внесла свои коррективы, и к этому проекту вернулись лишь в 1818-м.

Можно представить себе, что творилось здесь в разгар эпидемии, если учесть вместимость корпуса, скажем, в 1809 году: от 50 до 58 пациентов. По данным такого серьезного автора и современника событий, как маркиз Габриель де Кастельно, численность погибших составила 2.656 человек, причем он приводит скорбную статистику раздельно по портовому карантину, отдельно по лазарету, то есть госпиталю, отдельно по городу. Другими словами, эпидемия произвела своего рода децимацию, казнь каж-

дого десятого одессита – как минимум. Половина из них скончалась как раз в Городской больнице, и ее главный медик постоянно находился, что называется, на переднем крае.

«Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо Бога просят
Успокоить души их.
Поминутно места надо,
И могилы меж собой,
Как испуганное стадо,
Жмутся тесной чередой».

Сегодня в самом деле трудно себе представить, каково приходилось медперсоналу буквально в логове чумы, которая наводила ужас на целые страны и регионы как одно из самых коварных и разрушительных стихийных бедствий. Знаете, кто кроме медиков и полицейских имел непосредственный доступ к зачумленным? Преступники и добровольцы, вызвавшиеся ухаживать за ними на определенных условиях. Первые в случае благоприятного для них исхода оправдывались и освобождались подчистую, вторые требовали весьма значительного вознаграждения. Были еще добровольно нанимавшиеся за солидное жалованье мортусы, а равно арестанты – похоронная команда.

Мне удалось найти информацию о том, что некий «грек Иван» (в архивных документах фамилия не упоминается) согласился обслуживать зараженных за 1.000 рублей. Поразительно другое: подвергая свою жизнь непрестанной опасности, он не заразился и пережил великое множество своих подопечных. Восхищенный герцог Ришелье распорядился выплатить ему не только обещанную тысячу, но еще 500 рублей за сожженное его имущество. Полученная сумма позволяла построить довольно основательный по тем временам дом. Что касается арестантов-сиделок, семеро из них тоже ухитрилось выбраться живыми из госпиталя, их отпустили на все четыре стороны, да еще выдали на дорожку по 10 рубликов.

О мортусах в популярных краеведческих изданиях упоминали многократно. Сообщения обычно снабжаются пугающей картинкой, изображающей, как эти добровольцы в просмоленной

спецодежде выволакивают длинными крюками из домов умерших от чумы. Согласно архивным материалам, для перевозки мертвых тел использовались пожарные дроги, находившиеся в ведомстве полицмейстера: «…эта черная телега имеет право всюду разъезжать» (Пушкин). По миновании надобности Ришелье приказал сжечь импровизированный катафалк. Захоронения производились в братских могилах на специально отведенных за Городским кладбищем территориях в присутствии полицейского чиновника. Подвергавшимся опасности мортусам, полицейским, военнослужащим, чиновникам бесплатно отпускали «горячее вино» (к слову, питейный откуп тогда сильно прогорел, но это другой сюжет). В пригородах практически стихийно возникли отдельные чумные кладбища – в Усатово, Нерубайском, Татарке, Дальнике, на Фоминых хуторах, Малом Фонтане, Сухом лимане, в урочище Куяльник, Молдаванской слободке. Как впоследствии свидетельствовал полицейский чиновник, «сии люди предаваемы были (земле. – **О. Г.**) иные в одеянии, а другие нагие, и в одно место по десяти, более или менее человек, и поверхность их была засыпаема негашеною известью».

Как принято говорить, кому война, а кому мать родна. Началось мародерство – темные корыстолюбивые типы соблазнялись вещами, оставшимися от умерших зачумленных. Таким путем зараза перебегала от дома к дому и тогда, и в чумные эпидемии 1829 и 1837 годов. Предусмотрительный Ришелье объявил одесситам о том, что оповестившие о сокрытых кем-либо зараженных вещах будут щедро вознаграждаться. В результате ему, в основном, удалось пресечь мародерство. Архивные документы сообщают о том, например, что некая Мавра Трубачевская сообщила городскому полицмейстеру П.С. Мавромихали о спрятанной в Дальнике зачумленной верхней одежде, белье, подушках. Все это беспощадно предали огню, а гражданке выплатили стоимость вещей – 150 рублей. 100 рублей в такой же ситуации получила еврейка Перла Абрамова. В тот период по распоряжению герцога сожгли и несколько зачумленных жилых помещений, а затем оставшимся в живых хозяевам выплатили компенсацию. Была даже создана специальная комиссия, занимавшаяся делами наследников жертв эпидемии.

Кошмарные подробности хотя бы отчасти воссоздают атмосферу «Города Чумы», когда городские врачи, ежечасно рискуя жизнью, выполняли свой долг, пользовали многочисленных инфицированных. Большинство из медиков пало жертвой эпидемии, и в их числе доктора Капелло, Ризенко, Кирхнер. В архивных документах четко обозначено (орфография оригинала): «Капелло старался помогти заразившимся штаб-лекарям Кирхнеру и Ризенку, и, как полагают здесь, и сам от последнего заразился и потом дня через три помер». Другими словами, он собственноручно вскрывал чумные «бубоны» коллегам, подававшим некоторую надежду на выздоровление.

Что мы знаем сегодня об этих героях – подлинных, не липовых? Разумеется, наша память им до лампочки, они, совершенно забытые, в ней не нуждаются, поскольку держали ответ на другом уровне – на том, где никого и ничего не забывают. Никому и в голову не придет поднимать не что бы вопрос об их канонизации, но хотя бы установке мемориальной доски на старинном здании Городской больницы – той самой, где они погибли, спасая жизни одесситов. Потому одной из самых радостных для меня находок последних лет считаю архивные материалы, позволившие получить некоторое представление о частной жизни доктора Капелло.

Он был счастлив в своем деле, но несчастлив в семье. Девичья фамилия его супруги Надежды Аполлоновны мне пока неизвестна. Взял он бесприданницу, по любви. В духовном завещании есть такие строки: «Я с нею в приданое ничего не получил, кроме саможесточайших огорчений». Разбирательства, связанные с его наследством, свидетельствуют явно не в ее пользу. «Известно, что жена Капеллы, – докладывают Ришелье в связи с ее претензиями на имущество покойного, – несколько лет с ним не жила, и что о разводе их производится дело». В последние годы Иван Францевич имел при себе сына, имя которого пока тоже неведомо. Юноша скончался от чумы недели за три до отца, и доктору Капелло пришлось испить и эту чашу. Надежда Капелло ушла от супруга с несовершеннолетней дочерью Цецилией, которой отец перед кончиной отказал все свое состояние. При этом оговаривалось, что в случае ее смерти наследниками становятся

отец доктора Серафим, «а после его старший брат Луиз (то есть Луиджи. – **О. Г.**)».

В жалобе на имя Ришелье бойкая супруга покойного заявила, будто завещание составлено человеком невменяемым, в горячечном бреду. Герцог обратился к военному коменданту и одному из руководителей Строительного комитета генералу Кобле с пожеланием разобраться в ситуации. Авторитетная комиссия и свидетели категорически отвергли предъявленные претензии: Капелло составил завещание еще 13 сентября 1812 года, до кончины сына, определив наследниками его и дочь. «Сын умер прежде самого Капелло без малого за месяц», и тогда доктор вымарал имя сына в собственноручно составленном на французском языке документе. Следовательно, Капелло ушел из жизни в последней декаде октября. Это подтверждается и выплатой жалованья сменившему его врачу Родецкому с 1 ноября 1812 года. Своим душеприказчиком Капелло назначил штаб-лекаря Ризенко, однако внести перемены в завещание после смерти последнего уже не успел. Завещание сохранилось, но не могло быть официально узаконено, поскольку все присутственные места в то время были закрыты по приказу де Ришелье. Впрочем, герцогу сообщают, что Капелло все же вышел из чумного госпиталя специально для составления духовной (очевидно, к нотариусу), «был совершенно здоров и полон рассудка», то есть дееспособен.

Невероятно, но по причине претензий супруги изучение всех обстоятельств дела о наследстве было столь тщательным, что мы располагаем живым свидетельством буквально о последних часах доктора Капелло. Свидетельствует священник, иезуит Маттео Молинари (перевод с итальянского коллежского регистратора Якова Лоренца, орфография оригинала): «В день кончины или смерти доктора Капеллы, в 3 1/2 часа пополудни, я, нижеподписавшийся, совершил с ним то, что требует должность пастыря или священника. А кончивши, я приблизился к нему, он простер правую руку к одному месту в своей комнате, близ печи, и при сем произносил слова, коих я не мог понять. Человек, который присматривал его, Капелло, прислушался к нему, с тем чтобы разобрать произносимые им слова, но болезнь столь более усилилась, что уже никто его не мог понять. Я и находившийся при нем че-

ловек выслушивали его около пяти минут, и когда я обратил взор свой на то место, что покойный Капелло показывал, то помню, что я ничего более не видел, как затопленную печь. Я рассудил, что присутствие мое более не нужно. Следовательно, давши ему мое благословление, на которое он отвечал, я удалился. Однако я не успел уйти от дому шагов на двадцать, как вдруг остановил меня казак, я обратился и увидел бегущего ко мне навстречу того самого человека, который находился при упомянутом Капелле. Сей человек говорил мне, что доктор Капелло меня зовет к себе, чтобы я и комиссар помошный были свидетелями при некоторых его делах, кои он по себе оставляет. Из сего понял я, что дело касается до сделания духовной, на что я отвечал, что подобного рода дело ко мне не принадлежит, но что же касается до комиссара, то не худо его призвать. В горнице, где умер г. Капелло, находилась также женщина нестарых лет, но низкого звания, и сия вместе с вышеупомянутым человеком присматривали умершего доктора Капелло. Я – как женщину, так равно и человека, не знаю. Все мною выше поясненное происходило в доме близ гошпиталя, в саду состоящем, и ныне в чем и утверждаю. На подлинном так». Это действительно уникальное свидетельство, поскольку, по зафиксированному документально официальному сообщению причта греческой Свято-Троицкой церкви, в разгар эпидемии никаких обрядов над умирающими и умершими православными не совершалось. Да мы не имеем никаких других данных о совершении подобных обрядов и у католиков.

Капелло скончался в отдельном флигеле при руководимой им больнице, до последнего часа оставались с ним преданные служители, надо полагать, его подчиненные, имен которых мы, к сожалению, не знаем. Ясно только, что они его самоотверженно любили. Дом свой, находившийся в пяти кварталах от госпиталя, на углу Торговой и Софиевской, с 1 апреля 1812 года доктор сдавал внаем капитану над одесским портом коллежскому асессору Скандракову. Занятно, что супруга покойного Капелло не оставила без алчного внимания и этого арендатора, заявив, будто он присвоил «разные картины, стоящие дорогой цены, и мебель». На самом же деле, когда сам Капелло предложил арендатору оставить всю обстановку, тот отказался из опасения, что она

может быть повреждена его малолетними детьми. Поэтому доктор все это вывез.

После его кончины все вещи опечатали «в одной комнате при карауле», затем их по частям очистил ветеринарный врач Салов в чумном госпитале при свидетелях. Судя по всему, они действительно были ценными, поскольку выручка с аукционного торга составила 3.168 рублей 60 копеек. Кроме того, осталось 160 рублей наличными, хирургические инструменты и мебель, а главное, превосходная библиотека, которую специально очищали в портовом карантине. Очевидно, это было одно из крупнейших на тот момент приватных книжных собраний – 467 наименований, да еще пять географических карт. Книги решено было тоже продать с публичного торга, «потому что они наследникам не нужны».

Дом оставили в заключенном контракте – с тем чтобы прибыль поступала к опекуну малолетней Цецилии, титулярному советнику Лале, а он контролировал банковский оборот с процентов. Капелло владел также хутором на Малом Фонтане, однако основательно обустроить его не успел – там построили лишь времянку, где хранились рабочие инструменты. Было еще три лошади, несколько хомутов, хорошие дрожки, железные санки, товарная шерсть, старая скирда и др. Разборки с Надеждой Аполлоновной прекратились с решением комиссии в январе 1814 года. В июне она уехала с дочерью в Москву, предварительно обратившись в Строительный комитет с просьбой присматривать за домом и хутором Цецилии.

Повзрослевшая наследница объявилась в ноябре 1825 года, когда по ее доверенности неаполитанский консул Феликс де Рибас запросил в Строительном комитете владельческие документы на дом покойного Капелло. Когда в конце января – начале февраля 1826 года городская полиция «учинила исследование» на предмет того, как достались доктору оные участки, пустые или застроенные, на собственный ли капитал он строился, и не проданы ли уже те строения с землею, оказалось, что во всем квартале (а кварталом называли квадрат или прямоугольник застройки в четыре квартала) не осталось ни одного старожила. Это лишний раз свидетельствует о том, насколько мощной была тогда ро-

тация горожан, в том числе и по причине катастрофических эпидемий. Дом этот по недосмотру был разорен, но осенью 1825 года отремонтирован де Рибасом. Сам де Рибас, архитектор Джованни Фраполли и правитель канцелярии Строительного комитета Богданович как свидетели событий показали: Капелло построил дом и служебные помещения самолично. И по определению от 1 марта 1826 года Цецилия получила владельческие бумаги.

Здесь уместно отметить деловую расторопность доктора Капелло, который на самом деле успел построить в Одессе несколько домов. Один из них он в июне 1809 года уступил городу, остро нуждавшемуся в жилплощади для чиновников по довольно сносной цене, причем в рассрочку. Дело в том, что в конце апреля Ришелье решил продать одно из ветхих казенных строений, а взамен приобрести новый дом Капелло, примыкавший к Казенному саду, то есть саду, подаренному де Рибасом в ноябре 1806 года. Дом этот в три окна по фасаду со всеми строениями до мельчайших деталей описан в архивных документах: площадь главного строения составляла более 105 квадратных метров, был также облицованный камнем погреб площадью более 40 квадратных метров, флигель площадью более 160 квадратных метров с небольшим погребом, сарай с погребом из бутового камня, землянка из бутового камня («людская»). Строения снабжены четырьмя голландскими и одной «варистой» печами. Большой участок размером 30 на 30 саженей, то есть более 60 на 60 метров, обнесен каменною оградою на фундаменте, высотой около трех метров, с деревянными воротами, «сверх оных карниз и архитрав». По этому образцу можно судить о приличных одесских домостроениях начала XIX столетия.

Место дома и участка Капелло, что символично, ныне занято Научной библиотекой и мастерскими Одесского национального университета имени И.И. Мечникова. Как видно из плана города 1814 года, жилой дом стоял фасадом по красной линии Преображенской. Смежное место тоже некоторое время находилось во владении Капелло, однако он не имел возможности его застроить, и земля отошла к городу, была присоединена к саду, впоследствии сдавалась в аренду под кафешантаны, а затем там построили летний театр. Со стороны будущего Малого пере-

улка и Преображенской соседом доктора был небезызвестный австрийский консул фон Том. Судя по архивным документам, доктор был в дружеских отношениях с самим Ришелье, фармацевтом фон Шмидтом, чиновником Скадовским, офицером Шемиотом, упомянутыми Лале, де Рибасом, Поджио, Фраполли, Вейсом, не говоря уже о погибших коллегах, и другими известными фигурантами ранней истории Одессы.

Вот почти всё, что я сейчас знаю о докторе Капелло в контексте тех давних событий. Похоронили ли его в братской могиле, как других, или, уважительно, отдельно, теперь никто не скажет. Много лет спустя на вершине искусственной насыпи над христианским чумным кладбищем по указанию М.С. Воронцова установили мемориальную плиту в память о жертвах чумных эпидемий. Давно уже нет этого памятного знака, однако о безымянных одесситах, по крайней мере, напоминает сам холм, до сих пор именуемый в народе Чумкой. Вряд ли кто знает о том, что обособленное еврейское чумное кладбище и вовсе лежит под ногами прохожих.

Олег Сивирин

Пушка

Из документально-художественного цикла «Закопанная война – Одесса 1941-1944»

…В детстве я часто гостил у бабушки с дедушкой, живших на маленьком степном хуторке в пятидесяти километрах к северу от Одессы. Волею судьбы моя бабушка Елизавета, родившаяся в Одессе и рано потерявшая маму, вынуждена была в период революционных волнений 1917-го года с отцом переехать в дом мачехи, жившей в Одесском уезде и владевшей здесь земельными десятинами. В вихре последовавших при новой власти событий быстро повзрослев и обзаведясь семьей, бабушка так и осталась здесь на всю жизнь. В детстве у меня, городского ребенка, это место жительства, оторванное от современного мира, вызывало множество мучительных вопросов: почему «деревня называется хутором», и здесь все, даже не знакомые люди, со мной здороваются, и главное, почему бабушка с дедушкой «так далеко живут»? Хутор Касьяны, безнадежно затерявшийся в Коминтерновском районе Одесской области, действительно был «не от мира сего», он как будто шагнул в реальность прямо с картинки XIX столетия: десяток аккуратно выбеленных хат, разбросанных вдоль одной улицы – грунтовой дороги, пролегшей по склону балки, пара колодцев еще дореволюционной постройки, фруктовые садики, ухоженные огороды. Замершую картинку вечности оживляли лишь пасущиеся вдоль балки коровы и гуляющие без присмотра гуси и куры. Сюда никогда не ходил рейсовый автобус, а электричество появилось только в середине 1960-х годов. В школу детям приходилось добираться по степи в соседнее село, расположенное в трех километрах от хутора. Столько же нужно было пройти, что-

бы купить что-то в сельском магазине. В период дождей и снегопадов связь хутора с внешним миром надолго обрывалась.

Повзрослев, я, конечно же, совсем по-другому посмотрел на эту безлюдную местность и буквально влюбился в исторически сложившуюся обособленность хутора, делающего его самобытным «необитаемым островком» сельской жизни. Влюбился в окружающую хутор первозданную природу и созданный трудолюбивыми руками быт, в его вольные уходящие за горизонт просторы и в слепленные здесь вареники с вишней. Не пропали эти чувства и теперь, когда, с запоем копаясь в истории облюбованной моими предками местности, приходится наблюдать печальную картину уже засохших садов, заброшенных огородов и безнадежно покосившихся нескольких оставшихся хат умирающего хутора. А тогда, в детстве, из-за этой отдаленности хутора всеми правдами и неправдами я старался увильнуть от поездок, выпадавших, как правило, на выходной день. Нужно было очень рано просыпаться в воскресенье – единственный тогда выходной день в школе, затем ехать час в шумном переполненном, а потому медленно едущем автобусе, а потом еще «целых три километра» идти по степи пешком, и зачастую, особенно весной, по непролазной грязи. Вернувшись домой вечером, нужно было еще готовить школьное домашнее задание. В общем, я сопротивлялся, как мог. До определенного момента. Имелась у родителей на этот счет одна «домашняя заготовка», которая действовала безотказно, вмиг наполняя меня желанием ехать куда угодно. «Завтра у бабушки покажем тебе ствол от немецкой пушки…» – слышал я желанные слова и в сладостном по-детски наивном предвкушении чуда ожидал завтрашнего дня. Историю про немецкую пушку, которую разобрал после войны мой дед, я слышал с раннего детства. Правда, семейные предания не наделяли эту историю особым значением – так, нехотя что-то периодически рассказывали. И только я при удобном случае снова и снова просил еще раз рассказать про «дедушкину пушку».

Когда мы приезжали утром на хуторок, как-то так получалось, что сразу, с утра, для папы находились разные неотложные дела. Нужно было наколоть или напилить дров, вскопать огород, что-то перестроить, что-то перенести. В эти сельские хлопоты неза-

метно с детским усердием, как мог, вовлекался и я, совсем не замечая стремительно пролетавшего времени воскресного дня. Это и неудивительно: вырвавшись из тесноты городских многоэтажек и попав в мир необъятного для меня простора, я хотел просто побегать в степи, поглазеть на диковинных птиц, на обитавших здесь зайцев и сусликов, полазить по деревьям и в развалённых домиках. В этих поездках делал я и свои первые фотографии подаренным мне родителями на десятилетие фотоаппаратом «Агат-18». Вдоволь набегавшись и наигравшись, попутно хорошо пообедав, к концу дня я уже должен был возвращаться домой.

Так повторялось не один раз. Обещанный просмотр ствола немецкой пушки по разным причинам постоянно откладывался. Проходило какое-то время – и все повторялось вновь. Снова подходило воскресенье. Снова рано просыпаться и ехать… Снова – «не хочу!». Снова – «смотреть ствол от немецкой пушки…». И снова я с удовольствием еду. При этом предпринятые несколько раз родителями попытки увлечь меня в поездку «рыбалкой на местном ставке» желанного эффекта не приносили.

Почему меня так манил кусок ржавого железа? Особый интерес к военной истории в те годы у нас, мальчишек, помимо других «мирных» забав и увлечений составлял неотъемлемую часть нашего детского мира. Живя рядом с местами, где в 1941 году проходили ожесточенные сражения, мы день за днем открывали для себя неведомый нам мир прошедшей войны. И это была не какая-то «мертвая история» из учебника, составленная из скучных цифр и дат, а самая что ни есть живая и настоящая, лежащая у нас прямо под ногами, до которой всегда можно было дотронуться детской рукой. Ржавые осколки и каски, котелки с нацарапанными фамилиями бойцов и патроны, в которых еще не успел отсыреть порох, который вопреки всем запретам чарующе пылал и дымил, источая для нас, любознательных, незабываемый едкий запах войны. Все это было «эхом войны» – горевшим, стрелявшим, взрывавшимся где-то очень близко от нас. И иногда эта близость, связывающая нас с войной, была, по ощущениям, в расстояние вытянутой руки – когда можно было из откопанной стеклянной фляги, закрытой резиновой пробкой в 1941 году, хлебнуть оставленную в ней бойцом воду. И вкус воды 41-го мало чем

отличался от вкуса колодезной воды 83-го. Как будто боец набрал воду в эту флягу только вчера… Прямо здесь же, на полях, лежали растаскиваемые из года в год тракторами останки бойцов. Все это невидимыми нитями привязывало нас к этому кусочку настоящей войны и рождало чувство какой-то запретной сопричастности к произошедшим здесь когда-то событиям.

Единственное, чего нам тогда недоставало в этих местах, были танки, пушки и самолеты. О таких находках мы могли только по-детски наивно мечтать, придумывая на этот счет разные небылицы вроде стоящего где-то в посадке подбитого танка или упавшего самолета. На фоне детских грез обладание настоящей немецкой пушкой, пусть даже пока незримой, тогда считалось делом особой гордости. И с этим трудно спорить даже сейчас. Ну, у кого еще из моих сверстников дедушка «привез с войны» настоящую немецкую пушку? Одноклассники и соседские приятели кто с завистью, кто с недоверием слушали мои рассказы о дедушкиной пушке, засыпая вопросами. Что я мог им рассказать? Оставалось только пересказывать услышанное. Вот поэтому помню, в какие бы города Советского Союза я не ездил с родителями в те годы – Минск, Ленинград, Севастополь, Киев, снова Ленинград, – везде просил повести меня в какой-то военный музей, где среди разнообразия военных экспонатов очень хотел хоть краешком глаза увидеть – какая она, настоящая немецкая пушка. И вот однажды в августе 1983 года в Севастополе передо мной предстали сразу пять или шесть немецких трофейных пушек. Все они стояли у подножья Сапун-горы. «Какую из них разобрал мой дед?» – деловито и с гордостью строил я среди железных монстров свои догадки и чисто по-детски, инстинктивно, остановил свой выбор на самой большой, крупнокалиберной. Тогда мне, тринадцатилетнему, почему-то казалось так: если уж разбирал мой дед пушку, то непременно самую большую.

Учась в старших классах, я стал ездить в деревню все реже и реже и про немецкую пушку уже не вспоминал. И даже стал ловить себя на мысли: а существовала ли вообще эта пушка?

Шли годы, сначала не стало дедушки, через несколько лет умерла бабушка. Ездить стало не к кому. О прежних поездках напоминали лишь несколько десятков сделанных мной в детстве

черно-белых снимков. Разглядываю теперь застывшие на бумаге мгновенья с особыми чувствами, словно заново все переживаю: беззаботно хожу по своим детским тропинкам, греюсь у теплой печи в снежную зиму и завороженно гляжу в усеянное неисчислимыми звездами ночное летнее небо. Все это осталось на фотоснимках и в доброй памяти, а в действительности тропинка теперь чаще всего вела на сельское кладбище, которое мы стараемся посещать в поминальные дни. Как-то в один из таких визитов, когда я разговаривал со знакомым арендатором, основавшим некогда свое фермерское хозяйство на хуторе, рассказывая о злободневном, он упомянул о повальном воровстве металла: «Снимают детали с техники, обрывают провода… У соседки ночью украли части от пушки…». Слова об уже подзабытой пушке, давно ставшей неким призраком из детства, в мгновенье всколыхнули во мне тот мальчишеский задор и любопытство, заставлявшие когда-то учащенно биться детское сердце. Вот так – просто и неожиданно через много лет я наконец-то смог встретиться со своей детской мечтой. При этом спрашивая теперь самого себя: неужели, лишь для чтобы стать молчаливым свидетелем того, как пушку, вернее, уже то, что от нее осталось, постигла печальная участь – сгинуть где-то среди железного хлама в одном из сельских пунктов сбора металлолома? Ведь в моих руках оказалась «наследственная» вещь, не только хранившая в себе дорогую для меня часть истории моей семьи, но и редкая военная реликвия, которой по праву мог бы гордиться любой военный музей. И как за всякой реликвией, за ней тянулся многолетний шлейф особой, видимой и потаенной истории, в которой почему-то очень хотелось разобраться.

* * *

…Вернувшись в 1946 году с войны, мой дед Иван сразу начал как-то обустраивать свое приусадебное хозяйство. Нехватка элементарных стройматериалов в послевоенные годы была обычным явлением. Многие города лежали в руинах, и здесь, на отдаленном хуторе, в дело шло все, что было под рукой: глина, песок, солома… Камень разбирали из брошенных еще с граждан-



Хуторской двор. Здесь более шестидесяти лет хранилась разобранная по частям пушка
Фото 2007 года

ской войны домиков. Тогда каждый мужчина, демобилизованный воин, вернувшийся со страшной войны живым, не искалеченным физически – с целыми руками и ногами, старался что-то построить, перестроить, обновить. Природная смекалка и мастеровитость заставили тогда моего деда обратить внимание на ржавеющее в балке третий год немецкое орудие. Как ни глянь на пушку – каждая ее часть хорошее подспорье в хозяйстве: двойной бронещит – первоклассные листы металла, станины – добротные трубы… Тянуть целую пушку к себе во двор он не стал, а начал разбирать ее прямо в балке по частям, а затем уже перевозить и сразу использовать в дворовых постройках. Вывинченный тяжеленный ствол, притянутый во двор с помощью пары запряженных волов, стал балкой перекрытия для нового погреба. Бронелисты щита, состоявшие из двух частей, в умелых руках превратились в надежное покрытие нового погреба. Массивная казенная часть от пушки стала наковальней в летней мастерской. Трубчатые станины были распилены на две части: одна часть превратилась в «душник» (вентиляционную трубу погреба), вторая приспособлена просто под столб во дворе, на который натягивались веревки для сушки белья. Всякая скрученная мелочь – гай-

ки, болты, шайбы – пополнили запасы ремонтной мастерской колхоза.

В середине 1950-х годов семья в полном составе, с тремя детьми, переехала в новый дом, построенный для всей семьи моим прадедом здесь же, на хуторе Касьяны. Переезжая на новое место, расположенное в полукилометре от прежнего, дед не стал сразу забирать крупногабаритные части пушки, рассудив, что поселившимся сюда соседям нужно будет пользоваться погребом. Да и вопрос со стройматериалами к этому времени уже как-то решался. Камень-ракушечник в достаточном количестве люди могли приобретать в каменоломнях в селе Булдынка. Деревянные балки и другие необходимые для строительства материалы можно было приобрести в сельпо на железнодорожной станции Кремидовка. Наряду с использованием привозной красной черепицы, вытеснившей с домов и сараев покрытие из соломы и камыша, местные умельцы наладили производство собственной. В сбитую из дерева фигурную форму заливали раствор, приготовленный из песка, цемента и глины. Сделанное в 1950-е годы покрытие из самодельной черепицы надежно служило до начала 80-х годов и появления на хуторе шифера.



Иван Тимофеевич Сивирин – человек, который из частей немецкой пушки построил погреб
Фото из семейного архива автора

Новая семья к частям пушки, вмонтированным в погреб, тоже относилась по-хозяйски. Когда пришло время перестраивать старый погреб, для частей пушки нашли другое применение. Бронещит, состоящий из двух одинаковых частей, о которых из-за их размаха и изгиба местные, разводя руки в разные стороны, говорили: «Они – как крыла», – стали служить изгородью и кры-

шей места, где хранился уголь. Оставшиеся трубчатые части пушки разных размеров в количестве шести штук были установлены в качестве связующих столбиков нового деревянного забора. Ствол от пушки был горизонтально вкопан с прикрепленной к нему дверцей над ямой, в которой стали разводить кролей. Вентиляционная труба из станины осталась служить в этом же качестве, но уже в новом, перестроенном погребе, так же, как и вторая часть станины осталась столбом во дворе, только теперь кроме бельевых веревок к ней были привязаны еще несколько проволок, поддерживающих телевизионную антенну и накренившееся от старости абрикосовое дерево.

В 1990-е годы на хуторе Касьяны жилыми оставались только четыре дома. В 2000-х – один дом с одной жительницей. Умирающий хуторок стал местом современного мародерства. С заброшенных домов снимался старый шифер и черепица, из стен выбивался камень, но основным предметом интереса были изделия из металла. Кровати, бидоны, трубы, проволока, посуда – все забиралось без разбора. Так, несколько лет назад были украдены нижний бронелист, «люлька», детали лафета и другие части пушки…

* * *

По характерным формам сохранившихся деталей орудия сразу удалось определить вид и название – это была немецкая 75-мм противотанковая пушка PaK-40, выпускавшаяся в годы войны немецким заводом «Rheinmetall» (*Rhein* – чистый *Metall* – металл (нем.)). Предприятие было основано 13 апреля 1889 года инженером и предпринимателем Хайнрихом Эрхардом в Дюссельдорфе и с тех пор всегда специализировалось на выпуске военной продукции. В 1920-40-е годы производственная деятельность завода «Rheinmetall» была хорошо известна в военно-промышленных кругах СССР. В конце 1920-х годов одно из подразделений «Rheinmetall» в обход жестких условий Версальского мирного договора, запрещавшего заводам Германии (Веймарской республики) разрабатывать и производить новые виды танков, дирижаблей, подводных лодок и другого вооружения, создало тяжелый танк, проходивший по документам как Grosstraktor

(Большой трактор), который в рамках временного сотрудничества Рейхсвера и Красной Армии проходил испытания в СССР на учебном танковом полигоне «Кама» под Казанью.

В 1930-е годы в режиме строгой секретности «Rheinmetall» активно участвует в модернизации советской артиллерии. Об этом сотрудничестве, немного приоткрывая завесу секретности, пишет в книге «Бог войны Третьего Рейха» Александр Широкорад, чей дед Василий Дмитриевич в 1930-е годы работал приемщиком техники в советском торгпредстве в Германии. В частности, автор в книге приводит уникальный документ, в котором говорится, что 6 августа 1930 года начальник Государственного оружейно-орудийно-пулеметного объединения «товарищ Будак» и руководитель созданной руководством «Rheinmetall» подставной фирмы «Бюро для технических работ и изучений» господин Гуго Фрейзенштейн заключили в Берлине договор о технической помощи. Согласно договору, «Rheinmetall» обязалась оказывать техническую помощь в организации производства в СССР шести видов артсистем, за что фирме должно было быть выплачено 1 миллион 125 тысяч долларов США. Одним из ключевых пунктов договора было обязательство о неразглашении условий сделки. Производство артсистем в СССР фирма «Rheinmetall» начала уже в 1931 году на заводе № 8 в подмосковной деревне Подлипки. Сотрудничество продолжилось и в последующие годы. В конце мая 1937 года в СССР на «завод № 8» из Германии в условиях особой секретности была доставлена модернизированная 37-мм пушка РаК-35/36. Так была принята на вооружение Красной Армии противотанковая пушка, но уже под советским наименованием: «37-мм противотанковая пушка образца 1930 года».

В конце 1930-х годов, в разгул реальной и мнимой шпиономании в СССР, «Rheinmetall» в числе других известных немецких концернов и фирм, таких, как «Siemens» («Сименс») и «Zeiss» («Цейс»), фигурирует в документах о «враждебных происках империалистических разведок». В изданной Министерством обороны СССР в 1974 году «Истории второй мировой войны 1939-1945» во втором томе пишется: «…В 1936 году органами госбезопасности была раскрыта крупная резидентура германской разведки, состоявшая, в основном, из немецких специалистов – служащих

фирмы «Рейнметалл». Агенты вели подготовку к взрыву некоторых военных заводов».

Поэтому совсем не случайно этот известный в 30-х годах немецкий производитель военной техники нашел свое небольшое отражение даже в современном историческом кинотворчестве. Известный российский режиссер Никита Михалков в фильме «Утомленные солнцем – 2» («Предстояние») вложил в уста прибывшего на фронт кремлевского курсанта-отличника теоретическое знание о немецком военном производстве. Готовясь к выстрелу (бронебойным снарядом) прямой наводкой по немецкому танку, курсант командует: «…Не надо выше, – ниже, между башней, – это «Рейнметалл»!». И эта фраза в контексте того времени звучит вполне логично и исторически достоверно.

В 1930-40-е годы наряду с концерном «Krupp» «Rheinmetall» основной создатель и производитель вооружения в Германии. Среди наиболее известной продукции концерна можно вспомнить создание одной из самых мощных 600-мм мортир «Карл». Всего их было выпущено шесть единиц, и в военной истории СССР они приобрели печальную известность своим участием в осадах Брестской крепости в 1941 году и Севастополя в 1942 году. По некоторым данным, фирма также принимала участие в проектировании и изготовлении опытных образцов башни индекса «E» для тяжелого танка «Тигр». Самый массовый пулемет Вермахта – MG-34, винтовка для воздушно-десантных частей FG-42/1, ноу-хау того времени – изогнутый ствол-насадка для винтовок, автоматов и карабинов с целью безопасной стрельбы из закрытых позиций: траншей, из-за углов зданий, а также зенитные орудия FlaK и артиллерийские орудия PaK разных калибров – все это была продукция «Rheinmetall».

В ряду «семейства ПаКов» – 75-миллиметровая противотанковая пушка PaK-40, которую беззастенчиво буквально по винтикам разобрал мой дед, была одной из лучших пушек своего класса во второй мировой войне. Достаточно сказать, что на ее основе позднее была разработана 75-мм танковая пушка KwK-42 для одного из прототипов новейшего среднего танка «Пантера». Как выяснилось, история создания PaK-40 началась еще в конце 1930-х годов. По одной из версий, проектирование пушки

было поручено сразу двум «пушечным» фирмам, «Rheinmetall» и «Krupp». В 1940 году из двух прототипов был выбран опытный образец, изготовленный «Rheinmetall» (индекс «40» в названии пушки обозначает год постройки первого образца). Удачность выбора этого проекта впоследствии была подтверждена в ходе боев: пушка PaK-40 сделалась самым массовым противотанковым орудием Вермахта периода второй мировой войны. Новая пушка могла вести борьбу со всеми типами танков Красной Армии и ее союзников. И в первую очередь, с советскими средним танком Т-34 и тяжелым КВ, встреча с которыми после вторжения Германии в СССР в 1941 году и послужила основным толчком для ускоренной доработки PaK-40 и пуска ее в серийное производство. Стоимость изготовления одной пушки составляла 12000 рейхсмарок. В феврале 1942 года первые пятнадцать пушек поступили в войска…

Достаточно подробно устройство пушки PaK-40 описывает упоминавшийся выше исследователь немецкой артиллерии Александр Широкорад. Орудие имело ствол-моноблок, состоящий из трубы с двухкамерным дульным тормозом, поглощавшим значительную часть энергии отдачи, и казенника, надетого на



Пушка PaK-40 на боевой позиции. Военная миниатюра (диорама)
Работа Олега Сивирина

трубу и укрепленного на ней соединительной муфтой. Вес ствола с затвором составлял 470 килограммов. Для защиты расчета пушка имела верхнее и нижнее щитовое покрытие. Верхний щит состоял из двух броневых листов толщиной 5 миллиметров каждый (расстояние между листами – 25 мм). Нижний щит толщиной в 10 миллиметров крепился к нижнему станку, и одна его половина могла откидываться на петлях. Общий вес щита составлял 110 килограмм. Лафет с раздвижными трубчатыми станинами обеспечивал угол горизонтального обстрела до 58^0. Весили откатные части 480 килограмм. Для транспортировки система пушки имела подрессорные колеса со сплошными резиновыми шинами и пневматические походные тормоза, управление которыми осуществлялось из кабины тягача или автомобиля. Для передвижения силами расчета (так орудие двигалось дульной частью вперед) пушка имела направляющее колесо. Направление движения орудия с помощью специального рычага осуществлял один номер расчета. Кроме колесного лафета пушки PaK-40 устанавливались на самоходных артиллерийских установках «Мардер» I, II и III, а также на транспортерах «RSO» и гусеничных тягачах. Всего за годы войны было выпущено 23303 пушки. И вот одна из этих PaK-40 закончила свой боевой путь весной 1944 года в небольшой балке в пятидесяти километрах севернее Одессы.

* * *

На первый взгляд, местонахождение немецкой пушки вдали от важных коммуникаций и крупных населенных пунктов выглядит абсолютно бессмысленно. И сначала даже казалось, что по прошествии стольких лет найти ответ на эту ключевую для понимания военных событий загадку уже не представляется возможным. Но ответ, как это часто водится, нашелся совершенно неожиданно, после очередного посещения в балке места, где стояла пушка. Ключ к разгадке лежал прямо у меня под ногами. Сейчас уже не счесть, сколько раз приходилось мне проходить через эти поля, балки и посадки. Помню, в детские годы, проходя с родителями по грунтовой дороге, не раз слышал упоминания о какой-то большой старинной дороге, проходившей ранее

в этих местах. За эту исчезнувшую дорожную ниточку я и зацепился. На основе собранных материалов выяснилось, что эта дорожная артерия существовала с XIX столетия. На карте Одесского уезда 1890 года, составленной на основе трехверстной маршрутной карты генерального штаба, эта дорога обозначена как «уездная земская дорога», связывающая Одессу с Березовкой, по сути, проходя параллельно нынешней Старокиевской дороге. Помимо этого важное функциональное значение дороги можно отследить также по развитой инфраструктуре, расположенной на ее протяжении. Так, согласно справочному изданию 1896 года «Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении», на 80-километровом отрезке рассматриваемой дороги находим два постоялых двора, пять лавок, одну винную лавку и две корчмы. Из личных краеведческих поисков по местам пролегания бывшей дороги могу дополнить инфраструктуру дорожной артерии еще одним уникальным объектом – каменным двухарочным мостиком. Сегодня затерявшийся в степи, «вросший» в русло когда-то протекавшей здесь реки и покрытый многолетними зарослями разнотравья старинный мостик хранит безмолвные свидетельства о некогда заботливом благоустройстве уездной земской дороги и подсказывает нам, что была определенная оживленность движения на данном маршруте. Дорога эта успешно функционировала и в годы войны. А некоторые участки этой старинной дороги, проходившей через хутор Касьяны и местное старое кладбище, сохранялись вплоть до 1970-х годов, а затем были распаханы.

В конце марта – начале апреля 1944 года эта дорога, как и другие, ведущие в направлении Одессы с севера, имела важное стратегическое значение для воюющих сторон. Задача находившихся севернее Одессы подразделений 6-й немецкой армии под командованием генерал-полковника Карла-Адольфа Холлидта состояла в удерживании продвижения наступавших частей 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Из многочисленной мемуарной литературы, рассказывающей о некоторых моментах освобождения северной части Одесской области, известно, что в целях обороны немцы, используя рельеф местности, вдоль дорог, балок и ли-

манов создавали опорные пункты. Более детальной информации о структуре, вооружении, численности оборонявшихся на этом участке войск противника практически ничего не известно. Поэтому наш самый надежный свидетель тех событий – это немецкая противотанковая пушка, привезенная в это место задолго до того, как немцы начали спешно покидать обжитые ими на хуторе хаты. Факты заблаговременного появления вблизи дороги именно противотанковой пушки объясняются и соответствующей теорией устройства немецкой обороны. «Во всех немецких уставах, памятках и указаниях по вопросам обороны сказано: «Всякая оборона должна быть, прежде всего, противотанковой…» – пишет в своей книге А. Широкорад. Стоит также особо отметить, что важным фактором во время военного противостояния в ходе Одесской наступательной операции были неблагоприятные погодные условия. Проливные дожди сменялись снежными бурями, оттепели чередовались с заморозками. «…Непрерывные дожди вновь окончательно вывели из строя и без того неважные грунтовые дороги. Опять подвоз всего необходимого войскам стал возможен лишь при помощи тракторов и вездеходов», – писал впоследствии маршал А.М. Василевский о начале наступления на Одессу. Таким образом, продвижение войск могло проходить исключительно по дорогам. Пусть раскисшим, но, по крайней мере, по ним могли двигаться танки и кавалерия, составлявшие главную ударную силу наступавших в направлении Одессы войск. Следовательно, и немцы, учитывая фактор весенней распутицы, ограничивающей фронт ожидаемого наступления, все основные оборонительные рубежи выстраивали вдоль дорог, ведущих на Одессу. На 28 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта в числе прочего насчитывали 435 танков и самоходных артиллерийских установок. Вот к встрече с этой техникой и готовились немцы, создавая опорные пункты и устанавливая на разных участках свои огневые точки, в том числе и противотанковые пушки.

…Когда немцы привезли и установили в балке пушку, жители хутора Касьяны несколько дней жили в постоянном страхе, думая, что вот-вот начнут стрелять по их домам. Между собой перешептывались: «Пушку поставили, чтобы люди боялись…».

На самом деле эта пушка (возможно, пушек было несколько, и они были установлены на разных участках дороги) была одним из элементов немецкой обороны, или так называемым «кочующим орудием», призванным обеспечивать прикрытие отхода главных сил. Спрятанная и замаскированная в балке, пушка ожидала появления советских танков. Тогда силами боевого расчета, численность которого составляла восемь человек, или при помощи гужевого транспорта, имевшегося по соседству на хуторе, пушка должна была занять временную огневую позицию.

Здесь будет уместно напомнить еще о нескольких немецких правилах по организации обороны: «Большое значение немцы придавали выбору оборонительной позиции. Основным требованием в этом случае была ее «танконедоступность», а наиболее выгодными дистанциями ведения огня по танкам из противотанковой пушки немцы считали 800-900 метров». Проведенный осмотр местности позволил установить как минимум две возможные позиции, откуда пушка могла вести эффективный огонь по целям, идущим на дороге. К сожалению, из-за того что эти места в 1960-е годы были распаханы и до сих пор обрабатываются, теперь затруднительно найти следы, оставшиеся от возможных подготовленных капониров. Правда, не исключено, что на возведение какой-либо долговременной полевой фортификации у расчета просто не хватило времени, и пушка могла просто перекатываться расчетом с одной открытой позиции на другую. С одной из предполагаемых открытых позиций хорошо просматривается участок исчезнувшей дороги в районе старого кладбища. Ориентиром проходившей по степи дороги тогда и сегодня может служить растущее на заброшенном погосте старое дерево. С другой открытой позиции пушка могла вести огонь уже с фланга по идущей на Одессу технике. К тому же, местоположение данной позиции в полной мере отвечало правилам так называемой «танконедоступности», обусловленной тем, что простреливаемый отсюда участок дороги проходил в низине, окруженный ставком и балками, заполненными дождевой водой, не оставляя возможности тяжелой технике проводить какие-то маневры на местности. Расстояние от предполагаемых боевых позиций до линии бывшей дороги на разных участках составила от 800 до 1000 мет-

ров. Согласно таблице эффективной дальности стрельбы пушки РаК-40, бронебойный снаряд «образца 39» (Pz.gr 39) с дистанций 915-1372 метров поражал броню толщиной соответственно в 94 и 83 мм. Подкалиберный снаряд с такого же расстояния пробивал броню в 96 и 80 мм. Скорострельность пушки РаК-40 составляла 12-14 выстрелов в минуту. Напомню о броне танка Т-34: лоб корпуса – 45 мм; борт корпуса – в разных частях от 40 до 45 мм; лоб башни – от 45 мм; борт башни – 45 мм. Как видно из проведенных выше расчетов, даже одна боевая единица могла стать серьезной огневой преградой на пути следования советских танков Т-34, составлявших основную силу наступавшей Конно-механизированной группы генерала И.А. Плиева.

Учитывая наличие в боекомплекте РаК-40 осколочно-фугасных снарядов и технических возможностей пушки вести стрельбу на дальность более восьми километров, не стоит исключать и готовность использования немцами пушки, в том числе и для поражения живой силы, с закрытой огневой позиции, то есть прямо из балки, где она была установлена.

Как бы там ни было, но до боевого применения этой пушки дело не дошло. Планы немецкого командования по блокированию подходов к Одессе с севера, где ожидалось продвижение основных сил 3-го Украинского фронта, были сорваны уже в первые дни апреля. Основной удар, согласно разработанному командованием фронта еще в середине марта и одобренного Ставкой Верховного командования плану, после освобождения Березовки был нанесен в направлении Раздельной (стратегически важного железнодорожного узла) и города Тирасполя, тем самым обхватывая Одессу с запада. Рейдовая операция КМГ И.А. Плиева, несмотря на погодные условия и оказываемое сопротивление, развивалась настолько стремительно, что, как вспоминал в книге «Незабываемый апрель» участник освобождения Одессы летчик 17-й Воздушной армии В.К. Черниевский, авиации приходилось помогать наступавшим на Раздельную танкистам, идущим тяжело нагруженными двойным комплектом боеприпасов, вязнувшим в грязи, а потому расходовавшим солярку выше всяких норм: «Нам, бомбардировщикам, вместе с транспортной авиацией По-2 приходилось каждый день сбрасывать им горючее на

парашютах». О первых итогах успешного прорыва к Раздельной пишет в книге «Версты мужества» и один из участников наступления, командир 5-й мотострелковой бригады полковник Н.И. Завьялов: «Конно-механизированная группа, прорвавшаяся и занявшая Раздельную 5 апреля 1944 года, разрезала фронт 6-й немецкой армии на две части на глубину в 130 километров, тем самым обхватив главные силы одесской группировки противника, насчитывающие до четырех армейских корпусов. Теперь все немецкие части, оказавшиеся севернее Одессы, опасаясь окружения, вынуждены были спешно отводить войска на запад». Положение для отступавших немецких частей усугублялось тем, что на этом участке началось наступление с севера – со стороны Березовки, и с востока, где, форсировав Тилигульский лиман, также перешли в наступление стрелковые дивизии 3-го Украинского фронта.

Таким образом, противотанковая пушка РаК-40, установленная около хутора Касьяны, находившегося в 36 километрах южнее занятой 1 апреля Березовки и в 14 километрах западнее Тилигульского лимана, как огневая точка утратила свой стратегический смысл. Советские танки пошли на Раздельную… Здесь же, судя по доносившейся канонаде, со дня на день должны были появиться передовые части 5-й Ударной и 6-й армий, наступавших на этом участке фронта. Артиллерийский расчет, оказавшись под угрозой окружения и не имея времени и технических средств к транспортировке орудия по непролазной грязи, вынужден был бросить пушку в балке, – успев, однако, при этом вывести ее из строя, подорвав заряжающий механизм. Убегающие артиллеристы в духе немецкой педантичности исполнили свой последний долг, не допустив, чтобы исправное орудие попало в руки противнику. К тому же, за брошенное на поле боя исправное орудие их могло ждать суровое наказание. Взрыв был такой силы, что расколол основание мощного стального ствола. Эта трещина в стволе брошенного орудия сегодня наглядно передает нам из прошлого всю безысходность положения немцев, планировавших остановить наступление на Одессу.

Такая картина в ходе Одесской наступательной операции на степных просторах наблюдалась повсеместно. Полковник

Н.И. Завьялов, описывая в книге некоторые моменты апрельского наступления, передает общую атмосферу, царившую на поле боя в те дни: «Враг пытался оказать сопротивление на заранее подготовленных рубежах, но его отходящие войска не успевали занимать позиции, и под ударами КМГ, бросая сотни застрявших в грязи машин, повозок и орудий, откатывался по полевым дорогам на запад». И еще один красноречивый эпизод от этого же автора: «В одной из балок мы обнаружили семь брошенных 210-миллиметровых дальнобойных орудий и мощные тягачи к ним, застрявшие по кузов в грязи. Как было установлено, эти тяжелые орудия вели огонь по району Березовки».

Какого числа освободили хутор Касьяны, точно не известно. Такие крохотные населенные пункты просто незаметны, когда по соседству освобождают несколько десятков крупных сел. Теперь только по сводкам «Совинформбюро», ежедневно сообщавшего о занятии соседних населенных пунктов, можно вычислить дату. Сопоставив даты освобождения населенных пунктов, находящихся на пути следования к хутору Касьяны наступавших частей Красной Армии, а также даты освобождения находящихся по соседству сел, можно с уверенностью утверждать: хутор был освобожден 5 апреля 1944 года. Немцы и румыны, квартировавшие на хуторе, по воспоминаниям местных жителей, ушли за несколько дней до прихода Красной Армии. Исходя из этого, делаем вывод, что свою «нетранспортабельную» пушку немцы подорвали на отрезке времени между второй половиной дня 1 апреля и первой половиной дня 2 апреля. Каких-либо боев в окрестностях хутора не велось. А освобождение Касьянов произошло совсем буднично – прямо во время возникшей ссоры, в которую было вовлечено все немногочисленное местное население. Один из отставших румынских солдат бегал по дворам с оружием, пытаясь набрать кур в мешок. В одном из дворов завязалась драка, отчаянная женщина, как могла, отбилась от очумевшего румынского воина. Получив отпор, обезумевший солдат переключился на другую жертву: увидев коня в балке, накинулся с кулаками на хозяина, пытаясь отобрать коня. Один из местных попытался даже хитростью приструнить солдата, надев оставленную немцами какую-то нарукавную повязку: мол, я здесь представитель власти, –

и потребовал оставить людей в покое. Но в этот момент в балке неожиданно появились несколько советских солдат с командиром. В горячке спора никто не заметил, как и откуда появились бойцы. Быстро выяснив, что здесь происходит, командир отвел румынского солдата к «глинищу» (место добычи глины. – **Прим. авт.**) на краю балки и расстрелял. За мародерство. Потом здесь же, на месте расстрела, местные его и похоронили. В середине 60-х годов эта история напомнила о себе. В очередной раз копая глину для строительных работ, один из местных наткнулся на останки расстрелянного румына. Больше в этом месте глину никогда не брали…

Продолжение следует



К 70-летию начала фашистской оккупации Одессы

Начало трагедии
Из дневника Б.Г. Деткова

Перед вами уникальные исторические свидетельства – страницы одесского дневника Б.Г. Деткова, описывающие первые шаги румынской оккупации нашего города (записи с 16 октября по 8 ноября 1941 г.).

Это документы без прикрас, без каких-либо уточнений и поправок.

Первые виселицы, первые униженные и оскорбленные, первая кровь и первые предательства, первые уроки мужества. Как оно есть…

Записи Б.Г. Деткова и сегодня доносят до нас дыхание черного октября 1941 г. Комментировать эти материалы бессмысленно.

Эти записи были обнаружены в случайно оказавшейся в моих руках папке с различными документами прошлых лет.

…Многие хотели бы изобразить румынских оккупантов «опереточными» солдатами. Эти «опереточные» солдаты вдоволь поиздевались над Одессой и одесситами. Пролитая кровь не измеряется цифрами, но мы должны помнить, что только за первые две недели оккупации в Одессе уничтожено порядка 50000, а за годы оккупации в одесском регионе – не менее 240000 евреев. За это никто так и не ответил…

Они считали, что пришли в Одессу навечно, хозяйским глазом осматривая наш порт, наши улицы и бульвары. Им было наплевать на нашу историю, наши традиции, наши человеческие ценности.

В итоге вышла фига…

Одесса не по зубам оккупантам любого рода – будь это военные или современные трактователи истории, пытающиеся диктовать нам свое понимание добра и зла, заставляющие шагать в ногу с идеями, в которые Одесса не верила и никогда не поверит.

Искренняя благодарность доктору искусствоведения Е.О. Лукашову за подготовку дневника Б.Г. Деткова к печати.

Михаил Пойзнер

16/X 1941 г.

Город горит. Город бомбят. Листовки, подписанные Колыбановым, об оставлении Одессы и что это временно из стратегических соображений.

На нефтегавани брошенные машины, орудия, расстрелянные лошади.

За нашим домом остановилась полуторка. Двое хмурых офицеров, повозившись у радиатора, подорвали мотор и, оставив машину, ушли в город.

На Жеваховой горе появились какие-то солдаты: «Румыны».

Под вечер на броневике проехал румынский офицер с браунингом в руке и, прокатившись на Ярмарочную, вернулся. Вскорости по Николаевской двинулись румынские войска.

17/X 1941 г.

Разбираются баррикады. Руководят работой румыны, работают русские. Всех проходящих задерживают и направляют на работы. Худощавый с сухим бледным лицом и болезненным синим носом посмотрел бумажку «Пескари», «Пешты» и сказал: «Нет харош, – и, подняв вверх палец, буркнул: – Один час работать!». Взяли мел, лопаты и стали ковыряться – ничего не поделаешь. Стали смотреть, как бы сорваться.

Наблюдал интересную картину.

Один паренек отбивался от подталкивающих его солдат и утверждал, что он немец. Злой офицер завизжал, топая ногами на солдат, и те стали энергично толкать немчика к баррикаде. Тот все же __?__ сопротивлялся. Тогда офицер подозвал румына-солдата и на своем языке сказал. Я понял содержание приказа: «Отведи его в полицию и скажи, что он коммунист». Немчик под штыками был отконвоирован в 4-й район. Вскоре солдат вернулся с сопровождавшим его штатским. Поговорили о чем-то с офицером, тот опять пошел в район. Дальнейшая судьба строптивого немца мне не известна.

Появился еще один офицер в каске, который хотя и не отпускал людей, но не кричал на них, не топал ногами.

Выждав, когда офицер в каске остался один, я показал ему справку из диспансера о том, что я болен. Тот прочитал. «Pneumothorax?» Спросил и отпустил меня.

Взорвали дамбу. Никакой пользы фронту это не дало, а принесло горе всем жителям Балтской дороги, пескам и всем улицам за Московской: Богатого, Щелакова, Зайцева и т. д. Люди бросили свои квартиры и стали захватывать все свободное на Московской, 2-м Лиманчике.

На Московской был затоплен садик-круг, и вода стояла аж до мясокомбината. Движение по Московской было пешеходное через проездные ворота (б. 1-е ворота з-да Гена и до 2-го Заливного переулка, места несколько возвышенные, по ним двигался поток пешеходов). На проходной завода стоял румынский солдат и шарил по котомкам. Искали вроде бы оружие. Залита была и 2-я Николаевская.

Итак, с передовой Одесса очутилась в глубоком тылу.

Румынский офицер открыл Комбикормовый завод, и вся округа потянула по домам ячменную муку, полову, зерно. Мы сделали несколько ходок, принесли ячменной муки. Не сдохнем с голода.

Вылез из норы, «кугут» зарос как медведь – пролежал там не менее 3-х месяцев.

На море в сторожку нашего невода к Володе зашел румын со скрипкой. Его Володя угостил сарделью. Поев, он трижды перекрестился и запил ужин водой из бутылки. Затем он взял скрипку и пропиликал «Казачок» в нескольких вариациях. Сыграл молдавского «Чабана» и запел гнусавым баритончиком, но сколько в эту песню было заложено чувства, что мы с Васькой, вслушиваясь, поддались под его настроение. И жалок он нам показался. Вспомнился Прут, поглотивший тысячи таких несчастных, гонимых ради интересов своих господ.

Тишина. Где-то догорают пожары.

18/X 1941 г.

Пошел в город в надежде зайти к Эрлихам и в диспансер. Очередное поддувание уже было давно пропущено. И это меня беспокоило.

На нефтяной гавани хозяйничали румыны. Шел, остерегаясь какого-нибудь произвола. Никто на меня не обращал внимания. За Сахарным заводом вагоны с колесами для ж. д. вагонов и буксами. Наткнулся на вагон с лабораторным оборудованием с маслозавода.

Вышел на Московскую у Качана (2-й Заливной переулок). Много румын. Часть мужчин – жителей стояла в строю под охраной солдат. Я понял – по улицам подхватывают.

Пытался пройти на Богатого – там все залито водой.

У клуба юных пионеров меня задержали и направили во двор. Там нас, наловленных, таких же, как и я, направили на Московскую, 87. Когда нас туда привели, я почему-то сразу не узнал этого дома, куда ходил к Шашину играть в шахматы на протяжении 5 лет. Если бы не Андрей, я еще долго был бы в неведении. Двор был буквально забит мужчинами.

Какая-то полная еврейка спрашивала у дочери, не убьют ли ее.

Зашел к Шашиным. Людмилы Андреевны не было дома. Тетя Манечка сказала, что у них остановился румынский офицер (я узнал в дальнейшем – майор Радулеску, батальонный командир). Я воспылал надеждой добиться освобождения, чтобы попасть к врачу.

Подошла Л. А. Стала рассказывать новости. Кстати, о девушке-еврейке, находящейся под арестом в их доме. Один румын предложил ей якобы стать его женой. На отказ пригрозил: все равно будешь – и убьем. Л. А. вынесла ей кусок хлеба с маслом.

– Румынские солдаты, – сказала Л. А., – голодны и воровиты. Сорвали замок у соседки – вдовы с детьми, ушедшей из дому, и забрали. Вдова в отчаянии – плачет.

Я группе солдат бросила с балкона хлеб. Они как звери набросились на него, нарезали на кусочки и стали делить. Это увидел офицер. Он вырвал у них хлеб и бросил в болото. Те захотели вынуть хлеб из болота. Офицер не разрешал.

Тогда группа вояк загородила офицера, и один вынул хлеб из лужи. После этого хлеб был разделен и съеден.

– Майор, – рассказывала Л. А., – тоже не шикарно живет: полбаночки консервов, горох с мясом. Это его завтрак. Хлеб, – она показала мне, низкий ячменный черный.

Денщик офицера, немец Пауль Бауэр, не служит предметом забот своего начальника в части питания, и в этом оставлен на свою инициативу.

Пауль – молодой паренек с редкими светлыми волосами, тонкий нос с горбинкой, разговорившись (я с трудом понимал его),

самодовольно рассказывал о взятии Крыма, Ростова, Киева и окружении Москвы. Об огромных потерях русских и о многих своих. О том, что с Россией будет покончено до декабря.

Я стал с нетерпением ожидать майора. Пообедал. Это мне очень помогло в дальнейшем.

Наконец явился майор. Плотный мужчина, лет 38, с близко посаженными слегка косящими черными глазами.

На меня он даже не взглянул. Л. А. заговорила с ним по-немецки. Обо мне. Он посмотрел на меня, слегка наклонился и спросил, чем я болен. Я сказал. Он посоветовал «скорей» пойти записаться внизу и с первой партией пойти к полицейскому, а там меня освободят, так как я невоеннообязанный.

Я поспешил вниз.

Писарь, услышав, что меня направил майор, растянул свое худощавое лицо в угодливую улыбку и, закончив заполнять очередного из толпы теснящихся возле него мужчин, записал мою фамилию.

Я снова хотел пойти к Шашиным, но румын в каске что-то быстро и удивленно заговорил и предложил мне стать в строй здесь же стоявшей партии мужчин.

Закончив писать, писарь вычеркнул из списка лиц немецкой национальности, и нас, 26 человек, вывели со двора. Выходя, я видел группу евреев, стоявших отдельно и с испугом наблюдавших происходящее.

Кто-то произнес: «Сколько осталось людей без всего и сколько осталось всего без людей».

Конвойных было трое, одного из них называли сержант. Как потом оказалось, они были простые беззлобные люди, хотя и строго наблюдали, чтобы кто-нибудь из нас не удрал.

К вечеру нас довели к мосту и повернули направо. Я недоумевал. Куда нас ведут? Дошли до 5-й улицы. И здесь наш сержант стал спрашивать, куда нам идти. Он даже не имел адреса, куда нас следовало доставить. Подошел офицер в очках, щеголевато одетый, говорил с апломбом, на ломаном русском языке. Что-то сказал сержанту и нам, что нас опросят и отпустят.

Пошли мы дальше. По дороге кто-то раздавал сардель. Конвойные набрали себе в тряпочки.

Поднялись поверх, по Херсонской. По дороге встретились знакомые и сказали, что они были на улице Буденного и их отпустили по домам до понедельника, без каких-либо отметок.

Подошли до Островидова. На каждом перекрестке стояли патрули. Совсем стемнело.

Мы объяснили сержанту, что нужно идти еще километров 6. Он испугался и свернул в какой-то штаб. Во дворе дома на Сенной площади постояли еще час. Вышел офицер. Он, видимо, направлял нас на Буденного. Он кое-как говорил по-русски, и мы все стали ему объяснять, что там людей отпустили. Он это не захотел понимать. Я спросил, понимает ли он по-немецки. Офицер, вдруг обозлившись, крикнул: «Ай, пшдян!» – и матерно выругался по-русски. Ему стали объяснять цель нашего вояжа на Буденного. Он понял, что мы хотим домой, и угодливо спросил: «Покушать?». «Да, конечно, покушать!» Вояка вдруг преобразился и, свирепо сунув мне под нос кулак, крикнул: «Вот кушать! В лагерь!». И снова длинно выругался.

Нас снова повели со двора штаба. Мы повернули направо. Но сержант закричал: «Но! Но!» – и мы вернулись обратно своей дорогой, которой недавно пришли к штабу.

По дороге патрули палили вверх из винтовок, и наши конвойные, видимо, для храбрости, стреляли и себе.

Так дошли до Московской, 71, и остановились у булочной. Хлеба там, конечно, уже не было, а была, как видимо, караулка. Нас, считая, как овец: уна, доей, трей, – пропустили в помещение. Обыскали долго и тщательно. Караульный к нам относился беззлобно, показал жестом, что мы здесь будем спать. А завтра майор распорядится, что нам делать. На просьбы «кушать» извинительно развел руками: «Нема». Воды же принесли, повторяя: «Апа».

Среди нас было много дезертиров, большинство из них одобряло поведение румын. ___?___ было фронтовиков. Жаловались на скверную кормежку в Красной Армии, на командиров, которые пьянствовали в Одессе. А фронт оставили на новоиспеченных лейтенантов, назначенных из нижних чинов. Один дезертир, заросший и с бледным от долгого сидения под землей лицом (В. Барильский), пояснил свое поведение тем, что много видел предательства, что наши укрепления у Беляевки были сда-

ны немцам без выстрела, что флот по сигналам предателя-корректировщика палил по своим матросам и побил их 2 тысячи, что наши же летчики бомбили Одессу.

Сержант румын, быстрый худощавый паренек, стал жестами объяснять нам политику: Германия, Италия, Румыния, Финляндия, Россия – фашисты. Жидан-большевики – капут!

Выразительный жест штыком. (Всеобщее подхалимное одобрение слушателей.)

Показывал свои шрамы от ран.

Жидовка за пулеметом, а я штыком. Она за штык руками, а я штык вырвал. Капут! (Опять одобрение.)

Заснул я на 3-й хлебной полке, подстелив под голову пачку хлебных уже никому не нужных купленных карточек. Под разговоры о тяжести жизни при советской власти.

19/X 1941 г.

Утром длительные переговоры сержанта-конвойного с сержантом-караульным и снова поход на Болгарскую – Буденного.

Пришли. Нас стали конвойные обыскивать, ища оружие или ножей. Между прочим, явно интересуясь содержимым карманов, бумажников, но ничего не взяли. Караульные были пожилые.

В школе, в которой я когда-то временно работал, помещался, видимо, комендант или полицейский чин. Сухой старик в чине майора, знающий русский язык.

Со всех концов снова прибывали большие группы молодых мужчин.

Очень много дезертиров, как их называл один из нашей группы, кривой на один глаз грузчик Мясного, – «валетов».

Долго мы стояли, ожидая своей судьбы, когда нас опросит майор-комендант. Но наша группа была маленькая, мы стояли в стороне, и нас не вызывали. А есть хотелось все сильней и сильней. Хорошо, что я пообедал у Шашиной, но уже прошли сутки, и живот поджимало. У меня была соленая сардель, но я ее не хотел есть.

Приводили группы евреев со стариками, старухами, детьми. Среди двора, разместившись на каких-то узлах, сидела еврейка и, держась руками за голову и хватая воздух, как в припадке, стонала.

Никто из румын на нее не обращал внимания. Двое хлопцев унесли ее на носилках. Одну группу евреев отпустили до среды. Они ободренные, возбужденно разговаривая, расходились по домам.

Выставили столы, видимо, желая регистрировать, но, видя невозможность проверки с одним писарем такой массы людей, сделали иначе.

Старый майор вышел на середину и выкрикнул: «Милитер!» – и указал, чтобы они присоединились к большой группе военнопленных. Таким образом, отделив военнослужащих. (Туда отправились несколько человек из нашей группы, бывшие в военной одежде.) Их куда-то отправили. Отделили бессарабцев и тоже отправили.

Одесситы были отпущены до пятницы, в том числе и я.

Все опросы производились на основе полного доверия. Каждый направлялся в свою группу, не испытывая своей судьбы.

Наблюдал интересную картину: половина мостовой у школы-коммендатуры была занята строем приведенных арестованных. Мимо медленно проезжала грузовая машина с 6-ю немецкими солдатами и, видимо, младшим комсоставом. Сзади также медленно на пикапе ехал румын, стараясь протесниться. Он ударил слегка машину с немцами, и последняя кувыркнулась набок, роняя перепуганных господ офицеров на глазах многочисленной толпы в пыль мостовой. Поднялся крик, все бросились поднимать машину, кое-кто стал кричать, чтоб не поднимать, пока не выключат продолжавшего работать мотора. Пользуясь суматохой, румын дал легкий газок и шибче, шибче, двинул наутек. Немцы опомнились, когда машина была далеко. Один бросился – «Gale! Gale! Rurush!» – выхватил браунинг, и пока яростно возился с предохранителем, румын уехал настолько, что его догонять и стрелять было уже совсем безнадежно. Немец рассвирепел еще больше, с гневом к нему присоединились и другие. На ком же догнать его? Подошел офицер в чине лейтенанта. Они бросились к нему и стали что-то яростно кричать, жестикулируя перед лицом смущенно, недовольно и обиженно слушавшего их румына. Но чем он виноват, что его соотечественник, солдат, возможно, и не его части, сделал преступление и бежал? Чтоб чем-нибудь угодить рассвирепевшим немцам, он стал разгонять с помощью

своих солдат собравшуюся толпу. Немец, который пытался преследовать румына-шофера, куда-то побежал и вскоре вернулся с машиной, везшей на буксире вторую. Тут наиболее пострадавший, видно, в старшем чине, уже успевший перевязать ушибленную руку, пощупывал ребра, стал истерически кричать на ни в чем не повинного нового румына-шофера. Все немцы метались в бессильной ярости. Наконец пострадавшая машина была заведена и двинулась восвояси.

Конвоир-румын был явно доволен, что румыну-шоферу удалось благополучно бежать от немцев.

Итак, я двинулся домой. Резиновые сапоги вдруг страшно отяжелели, ноги вспотели, подвертки чуть ли не хлюпали. Живот подвело от голода, растертые пятки нестерпимо болели. Злой, я медленно плелся по Преображенской.

Народа было много, по-воскресному. Много военных. Сновали машины, но город еще носил следы пережитого. По магазинам шныряли румынские солдаты, выламывая окна и двери. Тащили разное добро.

Несколько немецких солдат стояли возле парикмахерской, а один из них уже оттуда через окно подавал пудру и мазь.

Один на мотоцикле вез пару валенок, привязав их седлу, и домру.

На сердце становилось все тяжелее. Много офицеров с женами, какие-то штатские рассматривали разрушенные улицы.

Поплелся я к Ане.

Мне думалось: как может людей интересовать пудра и всякая дрянь, которую эти недолюдки тащили из магазинов?

На Дерибасовской, у баррикады, сидела группа мужчин, видимо, готовясь разбирать это сооружение. Их охраняли конвойные.

Сначала я побаивался, чтобы опять меня не подхватили, но видя, что не задерживают прохожих, двинулся мимо конвойных.

«Фанкони» сгорал. С замиранием сердца я обогнул угол. Да. Все здание сгорело, и Анина квартира тоже.

Пошел к Эрлихам. По дороге натолкнулся на приказ № 2 и 3 – под угрозой расстрела должны явиться служившие под советским режимом и руководители организаций. И под угрозой расстрела сдать все награбленное. Но голове волосы пошевелились.

Явиться велели врачам и медработникам. Явиться руководителям учреждений, завскладами, магазинами и т. д.

Пришел к Эрлихам – у них никого. Стекла в двери выбиты, обстановка цела.

Пошел домой голодный. По Московской зашел до Шуры Чавдар, хотел попросить хлеба. В воротах мне сказали, что пришел Александр Николаевич и только что пошел домой, и что я смогу его догнать.

Действительно, я его сразу увидел. Он шел, слегка сутулясь, в серой селянской куцовейке и таких же брюках. На голове торчала страшно засаленная кепка.

Я его окликнул, он радостно со мной поздоровался.

Шашин рассказал, что был взят в плен под Очаковом, отпущен и вот вернулся домой.

Я торопился домой, и мне было неудобно у него задерживаться, когда А. Н. даже еще не умывался. Попрощавшись, двинулся дальше.

Проходя мимо патруля у Гена, румыны обыскивали идущих в город.

Несколько немецких молодых солдат забавлялись, разбивая уцелевшие после взрыва окна в разрушенном заводе.

Поевши, пошел в курень нашего невода. Сторож Володя сидел, что-то зашивая.

– Вот, – говорит он. – Забрали полкорзины соленой сардели. Мою пайку, – он говорил о румынах.

– Надо было не давать.

– Что я, драться с ними буду?

Румынский солдат резал кодолу. Зачем-то ему понадобился канат. Заметив меня, он смутился, покраснел и направился ко мне.

Здесь я заметил, что у Володиной корзины свалка. Румыны чуть ли не дрались у Володиной сардели.

Я побежал туда. Солдаты выходили с узелками с рыбой и, заметив меня, смущенно расходились. Всю рыбу расхватали.

Володя обиженно смотрел на меня, словно я был виноват, что явились солдаты, что война и что он остался без всякого пропитания, старый, больной, одинокий, умирать голодной смертью.

А к куреню бежали новые и новые солдаты за «пештой». Последняя жменька была подобрана. Мы только удивленно переглядывались.

Но вот новые солдаты бегут за рыбой. Оказывается, на Николаевской остановилась какая-то часть, и солдаты ринулись тащить, что попадет под руку.

Володя вынес пустую корзину и показал – нема. Все забрали.

На дне корзины прилипли две маленькие рыбки. Солдат жадно схватил их и отправил в рот.

Пообедав дома, я снова пошел на берег. Кодолы, которую резал румын, уже не было. Остались две, сушившиеся на берегу. Я их схватил и перетащил на завод.

Володи не было. Курень был раскрыт. Замок сорван и с кольцами унесен. В курене они ничего не нашли.

Ходят слухи. Группа румын ворвалась к одному жителю, изнасиловали его дочь и уехали на повозке. Стало жутко – отлучился, а дома наделают черт знает чего.

Задержал румын-часовой. Под видом поиска оружия заинтересовался моим бумажником: «Копейки нет?» – спросил он. Я, не отвечая, пошел. Он меня не задерживал.

Слухи. На Ярмарочной избили русского, выдававшего себя за немца.

Якобы румын забрал часы у старика и хотел отнять пальто. Тот пожаловался проходящему немецкому солдату. Румын был застрелен на месте.

Встретил Алешку Бесесля.

Он рассказал, что участвовал в Финской кампании. Ему выписали воинский билет. Писарь заинтересовался, почему у Алешки немецкая фамилия. Алешка сказал, что отец у него был немец.

Так и было записано в воинском билете. В паспорте же значилось, что Алешка русский.

Но паспорт у него отняли при первой мобилизации. А по воинскому билету не взяли на военную службу. В 41-м и посадили, как и всех немцев.

Алешка сказал: «Раз я две недели страдал в тюрьме, теперь можно воспользоваться своим превосходством».

Рассказ дезертира

22/VIII был издан приказ о мобилизации всех мужчин от 18 до 50 лет.

Я явился, как и все наши, в Клуб юных пионеров (на Московской).

Во дворе у нас поотнимали воинские документы и паспорта.

После долгого ожидания вышел красноармеец и стал по документам вызывать нас по фамилиям.

Белобилетчиков было очень много, их на комиссии зачислили в запас 2-й категории. Слабосильных строили в 134-ю команду, отправляли для экипировки на 7-ю станцию, а оттуда на фронт.

Увидел я, что и я попаду в эту команду, а у меня сильный геморрой, и должна быть льгота. Решил пробиваться к начальнику.

В большой комнате с квадратными колоннами стоял длинный стол, за столом сидел капитан и начальник милиции по фамилии Ступка. Полный мужчина с заплывшими, словно от пьянства, глазами, отвисшей толстой нижней губой. С издевкой спрашивал высокого усатого рабочего:

– Ну, как здоровечко? – иронически осматривая его, спросил Ступка.

– Ничего, спасибо, – смущенно ответил рабочий, – только вот плохо вижу.

– Ну, как плохо? Меня видите?

– Ну, вас вижу.

– А Луну видите?

– Ну, Луну тоже, конечно, вижу, – еще больше смущаясь, говорит работяга.

– Значит, годен! В 134-ю команду, – заключает Ступка.

Я стал шуметь. Является здоровенный рябой милиционер. Затолкал меня в отдельную комнату. И, хлопнув за мной стеклянной дверью, крикнул:

– Расстреляю на месте, гада! Ты у меня не убежишь!

Тогда я быстро сбросил штаны и, нагнувшись, вывалил в его сторону свои шишки.

– На, смотри. Зараза!

Вид моего геморроя явно смутил рябого, и он не реагировал на мою выходку.

Оттуда я все-таки убежал.

Дома устроил себе далеко идущий выход из бомбоубежища и там прятался.

Поскольку на Пересыпи не ловили дезертиров, я первое время ходил не прячась.

Однажды я был на море, тряс канку и не заметил, как около меня очутился Ступка с одним еще милиционером.

– Документы! – явно узнав меня, потребовал Ступка.

– Дома.

– Ну, пойдешь за ними.

– Вот перетрясу сети – и пойдем! – не спеша я продолжал работу.

«Надо бежать, а то пропал», – возникло у меня отчаянное решение.

Закончив с сетью, я пошел к дому, за мной милиционеры.

Я стал прибавлять шагу, они заметно поотстали. И тут я как рванул от них! Пока Ступка возился с кобурой нагана, я перелетел через забор Сахарного завода. И, заметив большую бочку с водой, нырнул туда.

Вода холодная. Терпел. Вынырнул – никого не было. Канка плавала в бочке надо мной.

Я выбрался из бочки, перелез забор и Ставрам, а оттуда в артель, забился в помещение, где хранился цемент.

Вылез оттуда, как черт. Цемент налип на мокрую одежду. Какие-то дети, я слышал, говорили, что кто-то сюда забежал. Я замер. Но скоро все утихло снова. Так я в цементе пролежал часа два.

Добравшись домой, я три дня никуда не вылазил из-под земли.

Приходил Виноградов, участковый надзиратель, и Ступка ко мне домой. Зашли в квартиру.

Жена говорит:

– Ищите, его нет дома.

Виноградов говорит:

– Да. Мы знаем, что он дома. Но ничего, я с вами еще поговорю.

Ступка стоял и молчал. Злился.

Я знаю, кто это на меня сказал. Илюшка-парикмахер. Ну, поймаю я его!

Спирка не ушел от своей судьбы.

В 1944-м он уже не убежал от мобилизации и погиб под Бендерами, где прорывали фронт.

22/X 41 г.

Вернулся из плена один сосед, бывший на пароходе «Ленин». Много пережил во время катастрофы с ним.

На море увидел Ивана с Лобаза, работали с ним на неводе. Он длинно рассказывал, как у него румыны забрали соленую сардель и три ведра постного масла. Идя домой, увидел двух румынских солдат, шедших с нашего переулка по берегу к Тряпичной.

За ними шел старик, видимо, какой-то служащий. Он был очень взволнован.

– Простите, я хочу вас спросить, – обратился он ко мне. – Как мне быть? Зашли вот эти два румына ко мне, – он показал на удалявшихся 2-х солдат. – Нашли сахар. Там было 12 кило, и забрали. Ну что же это такое, я вас спрашиваю! Да еще угрожали расстрелом!

Что я ему мог посоветовать? Чем помочь? Шел как раз еще один солдат в каске. Мы ему пожаловались, что вот те солдаты забрали у старика сахар.

– Цукер? – заинтересовался румын и сразу повернул за уходящими.

Старик побежал за ним.

Я стал наблюдать за ними. Мне не было слышно, что они говорили, но я увидел, что солдат с винтовкой, повернул старика к себе спиной, закричал что-то на него и, ударив прикладом, погнал его от себя.

Старик, увидев, что я повернулся уходить, закричал мне, чтобы я его подождал, так как он боялся, что грабители с ним здесь на берегу расправятся.

Я подождал старика. Он, перепуганный насмерть, говорил:

– Я закричал, ибо солдат приказал мне молчать и пригрозил застрелить. Что же это делается? Что же это такое? – повторял несчастный.

Солдаты торопливо пошли по берегу к Тряпичной. Произвол, грубое насилие. От них можно ждать еще худшего.

23/X 41 г.

Собрался в город, чтобы там переночевать и пойти в пятницу на регистрацию, как нам велели. Заодно зайти к Лизе и отнести ей тюльки, крупы, муки.

Оделся поприличней, во что: пальто, белую манишку под галстук. А на ногах туфли – рвань.

У ворот – Саша Блюм, рассказал, что на Московской румыны расстреляли несколько человек евреев.

Наши бедные дворовые ходят как тени, не едят, не пьют. Яша Кравецкий держится стоически. Пытается спасти семью, он ради них дезертировал – бежал домой из порта. Он решил пустить в квартиру Карлушку Блюма, чтобы так облегчить свою участь, – немец все-таки!

До контрольки у Гена дошел свободно. Там меня обыскали. Румын показал на патронташ, объясняя, что он пуст.

Пошел дальше в переулок, у Эл. станции работают – копают канаву, выпустив воду из затопленных мест. Там же увидел Шашина А.Н. Пригласил меня переночевать и не советовал спешить с регистрацией.

Мы вышли на Московскую. Шедшие навстречу люди испуганно рассказывали о том, что видели на Московской у Конезавода. Страшная картина вскоре предстала предо мной. На трех виселицах, сколоченных из березовых бревен, висело 6 человек. Все, видимо, были евреи, одного я узнал – наш почтальон. Несчастные были белы. Здесь же на листе фанеры было написано: «Так будут наказан всякий, кто поджигает склады, дома и укрывает коммунистов».

Мой взгляд упал влево на землю. У стены в разных позах лежали расстрелянные человек 20. Лиц нельзя было узнать, они были окровавлены. Стена над ними носила следы пуль и крови. К стене была прислонена крючковатая палка, на которую, видимо, упирался какой-то несчастный. Рядом лежали вещи и куча одежды.

Я был, как во сне. К комендатуре подвезли ___?___ стариков. Среди них были Тартаковские и Дорфман. Как в тумане, я пошел дальше. По улице расхаживали патрули по 6 человек с винтовками. Я все время боялся, что меня задержат и отберут продукты.

Один заглянул в мою корзину. Порывшись, сказав: «На базар», – румын отпустил меня.

От Вали Мельгоф я узнал, что в диспансере работает Якубович уже 3 дня. Я очень обрадовался.

У Лизы застал румын, пытавшихся проникнуть в квартиру. Не помогал «deutsch», и едва их спровадили. Оставив ей продукты, я пошел назад.

Шашина я застал дома. Был, как всегда, радушно принят.

«Актер», – узнал меня румынский батальонный. Касаясь евреев, майор сказал, что это единовременная мера и что она может повториться.

«Калт инд зима и все карит», – спокойно закончил румын. Завели патефон. Слушали Шаляпина, Карузо и как злую иронию – «Еврейскую комсомольскую» Дунаевского.

Чувствовал себя очень плохо. Скверно спал ночью.

24/X 41 г.

Утром пошел в диспансер. Якубович хозяйничала. У нее в операционной сделали общую приемную для общей помощи. Туда стащили бинты, медикаменты. Здесь же сновал румын-врач в фуражке с широчайшей тульей. Низенький полный с красным крестом на рукаве (оказался евреем).

Получив поддувание, я получил от румынского врача справку о болезни и об освобождении от тяжелой физической работы – pneumothorax.

По дороге домой встретил большую группу евреев со скарбом, с чадами и домочадцами, все с Ярмарочной. Под конвоем.

Было страшно, но меня поразило стоическое поведение этих несчастных обреченных. На лицах у некоторых было отчаяние, но большинство были спокойны. Даже маленькие дети шагали серьезно и строго, как взрослые.

Наши домашние, как и все соседи, были подавлены, картина покидания своих жилищ несчастными была невыносимо тяжела.

Все же это не помешало оставшимся расхватывать имущество из оставленных квартир, то есть то, что не забрали конвойные. Расхватали также и квартиры уведенных.

Наши ничего не брали. Лишь полову, которую Миша Плетовник отдал сам.

Да Лилька получила на хранение от подруг (несчастные дети) куклы.

Рассказ Шашина

В конце июля (41) я был взят в числе прочих строителей-специалистов на противотанковое строительство укрепления. Все делалось наскоро, беспланово и, как теперь оказалось, совершенно напрасно, как и все работы внутри города (все улицы были перегорожены так называемыми «баррикадами»).

8/VIII 41. Ночью строительный батальон, состоящий из бессарабцев, где Шашин был в командно-техническом составе, был срочно переброшен в узловой пункт обороны села Нечаево, под Очаковым. Нужно было рыть противотанковый канал для обороны этого городка. «Для этой работы с наличными людьми, – говорит Шашин, – нужно было 200 дней».

Бездельность этой работы была уже тогда ясна. Немец к тому времени занял уже Вознесенск.

Майор, руководящий работами, пообещал подсобных рабочих из колхозов.

Действительно, согнали тысячи баб на подводах. Все в белых кофточках и косынках. Этот наряд был на них по «рекомендации» немцев, бросавших с самолетов листовки, «заботясь», чтобы спасти работающих от обстрела с самолетов.

11/VIII 41. Шашин видит, что бабы садятся на подводы и спешно покидают лагерь:

– Куда?

– Домой! Кушать! – отвечают.

А в действительности командование еще не знало, что немцы уже близко. На Нечаево, где было сосредоточено много наших частей, был произведен сильный налет авиации. Началась пуле-

метная и минометная стрельба. Немецкие передовые части на 10 танках и 2-х броневиках отрезали дорогу на Николаев и двинулись туда по Николаевской дороге.

Войска спешно стали отступать на Очаков, и Шашин с возницей-стариком на двуколке двинулся в обратном направлении.

Подъезжая к какой-то деревне в 24 км от Нечаево, Шашин наших частей там уже не застал.

Остались только завскладами, их было два: 1-й – батальона, второй авиаотряда – богатый, с вином и шоколадом. Там была охрана из 3-х красноармейцев.

Шашин нагрузил свою двуколку продуктами: масло, хлеб, консервы селедки – и двинулись по направлению к Одессе. Здесь же находился весь батальон бессарабцев.

На вопрос «Куда вы теперь?» они нагло открыто заявили: «К Гитлеру».

Итак, Шашин двинулся на Одессу, а от Нечаево к Николаеву, уже было видно, шли машины с немецкими солдатами и броневики.

Шашин побаивался, каково теперь будет ему у немцев.

Вот на дороге стоит машина, около нее возилась группа немцев. У А. Шашина замерло сердце. Но немцы даже не взглянули на русских.

Лишь один крикнул – «Счастливого путешествия!».

Немцы шли налегке, без амуниций, с расстегнутыми воротниками и подкаченными рукавами рубах. Все их снаряжение лежало на следовавших за ними машинах. Так их командование заботилось о солдатах в жару.

«А наши, – рассказывал Шашин, – делали с полной выкладкой в 3 пуда по 60 км в день. Как же они могли после этого воевать?»

Это же мне рассказывал и Щекин.

Бессарабцев немцы согнали с подводов. Шашинскую двуколку тоже отобрали.

Бессарабцы и немцы расхватали продукты с Шашинской двуколки. Дальше он пошел пешком. У Сычавки Шашин наткнулся на большую часть красноармейцев дивизии, разбитой у Поповки.

Вскоре появилась машина с немцами, у которых были повязки teld politusch, которые построили всю группу бессарабцев, крас-

ноармейцев и Шашина в их числе и направили вверх по лиману на регистрацию, предварительно выделив евреев. Ход был очень быстрый. Шашин задыхался. Офицер отобрал стариков и отпустил, но предупредил, чтобы не ночевали в поле, ибо это может их погубить.

Так они добрались до немецкой деревни Люстдорф и там пробыли с августа до 16/X 41 г. – до взятия Одессы. Там было пытались хозяйничать румыны, все население ушло из деревни, но при содействии немцев опять вернулись.

Попал на перерегистрацию. Я в Одессу попасть не смог – не была еще занята. И узнал я, что одесситов гонят на работу черт знает куда. Называю я ради жительства своей Любашевку – немцы верят и дают документ мне на Любашевку. Пошел я не на Любашевку, конечно, а на Сычавку, а там коменданту заявлю: думал, мол, на Любашевку к родичам идти, да передумал – тут заработаю себе хлеба. Согласились и дали сычавский документ.

Заработал себе хлеба. За неделю 9 пудов пшеницы, 6 пудов картофеля, 20 пудов кукурузы и 6 пудов семечек.

Зашли раз мы на аэродром. Охраны никакой, летчики в футбол играют. Перешли через него. Никто не спросил: «Куда идешь? Зачем?».

25/X 41 г.

Сидел дома портняжничал – шил теплую безрукавку себе. Наши дворовые после слёз за забранными евреями поспешно и жадно растащили добро из их квартир. Я приказал своим ничего не брать.

Встретил случайно Илюшку Фаермана. Он рассказал, что его вернули с дороги, так как по приказу Антонеску прекратили уничтожать евреев и всех распустили по домам.

Вот будет сюрприз для тех, кто устроился в еврейских квартирах! Я сказал об этом Карлушке Блюму. У него вытянулось лицо и округлились глаза! Но он сказал, переводя дыхание: «Ну, и слава Богу!».

У заставы, рассказывал Илюша Фаерман, стояли русские бабы и стаскивали с проходящих евреев шарфы, кофточки и прочее – грабили. Румыны-конвойные – ничего не отбирали.

Когда стемнело, нам в ворота долго стучали румыны, но им никто не открыл. Ломиться они, видимо, не решились, и ночь прошла спокойно, против ожидания.

Утром (26/X) действительно стали возвращаться наши репрессированные, правда, пока одни дети. Был час дня. Мои позвали детей покушать картофель и сардель.

Девочка лет 10-11, мальчик тоже такого возраста и второй мальчик лет 8.

Они ели (дети остаются детьми) и, смеясь, рассказывали: их группу согнали в погреб под сберкассой у моста. Списали фамилии и потребовали деньги и ценные вещи. Обыскали и отобрали сахар и продукты, а ночью приходили группами и уводили наверх молодых женщин и девушек, а оттуда, сверху, доносились крики и выстрелы.

Одна женщина, когда явился со свечой один из варваров 20-го века, кормила грудью ребенка. Румын приказал ей следовать за собой. Несчастная положила дитя и пошла наверх. Ребенок заплакал, тогда проходящий румынский солдат наступил ребенку сапогом на лицо.

Молке, молодой красивой женщине, приказал один идти наверх, она отказалась. Румын направил на нее винтовку, грозил убить. Отважная женщина предпочла смерть позору. Но румын убить ее не отважился.

Одну девушку отстояли общими криками, испугавшийся солдат ее оставил.

Хайку Брондес (16-летнюю) спрятала Хона, ее мать, спрятав узлами и собственным телом.

Все это дети рассказывали и смеялись. Не понимая всего пережитого ими ужаса.

Один пьяный офицер, раздев сапоги, вызывал кого-нибудь с ним бороться. Никто, конечно, не шел. Тогда бандит стал бить сапогами женщин, детей.

31/X 41 г.

Был у Шашина, был у Лизы, достал ботинки. Зашел в Украинский к актерам Твердохлебу и Хорошу.

Хорош рассказал свои приключения. После бомбежки Минска Хорош бежал с женой и родными в Знаменку. Вскоре все мужское население мобилизовали и на фронт.

Но немец был близко. Построили. Кто не хотел, насильно выгоняли из щелей, погребов. Вывели на дороги, и колонна была обстреляна пулеметом с самолета.

Кто куда – спрятались в лес. В лесу была колонна, командир собрал всех. Там были больные, нестроевики, старики. Зачислил к себе в часть. Раздал по винтовке и по 2 гранаты.

Хорошу, так как он был представителен и в гражданском костюме, было задание поджечь головной танк противника бутылкой с бензином. На возражение, что он, мол, гражданский и никогда не воевал, – угроза револьвером – расстреляю.

Взял гранату. Прошел с Хорошем лейтенант и три бойца. Залегли у дороги. Мчатся танки. У Хороша душа ушла в пятки.

Передний танк остановился и стал палить по лесу из пулемета. Хорош этот момент расценивал как счастливый в его жизни. Он оглянулся на лейтенанта, тот лежит в канаве и голову спрятал за дерево. Тут Хорош решился. Бросился вперед по канаве, пробежал метров двести, уже по дороге мчались машины и мотоциклы с немцами. Хорош поднял руки.

Лейтенант немец остановился:

– Рус мелитер, – спросил. – Комиссар?

– Нет. Нет.

– Ступай.

Хорош боялся выстрела из леса от своих за измену. Когда смотрит, а из леса идут все остальные с поднятыми руками. Немец командует – все по домам!

По Украине добрался до Одессы.

Не жизнь, а малина. 25% хлеба немец забирал, а остальное оставалось у __?__. Но 400 пудов хлеба имеют, живут припеваючи.

– Украина, – говорят, – самостоятельное государство под управлением галичан.

В Кировограде нормальная жизнь. Украинский театр работает, все начальство из местных воротил.

Простился с ними. Просили заходить.

Отпущенные 25/Х евреи опять задерживаются. Идут случайные расстрелы: отпущенных хватают, выводят из дома и расстреливают.

Так было с дочерью шорника Черного, она была расстреляна с 3-мя детьми.

Илюшка Фаерман был взят в первую ночь после освобождения из дома, отведен с полквартала, и поставили к стене. «Ну, конец», – подумал он, закрыл глаза и ждал смерти. «Галло! – кричит конвойный. – Идем», – потом закурили, а на следующем квартале снова поставили к стене.

«Хоть бы смерть, чем так мучаться», – подумал Илюшка. Снова не убивают его румыны. И так несколько раз. Затем запирают его в отдельной комнате на Тряпичной. А наутро выпускают.

Пришли, наконец, наши соседи Кравецкие, Брандесы, Платовники, побыли сутки, а затем их снова забрали. Кое-кого из женщин отпустили, а мужчин заперли.

Прошлой ночью была зенитная стрельба. Прожектора ловили самолет.

Слухи: Турция объявила Германии войну!

Пробовали рыбачить, но с жалким результатом: пришлось по две глоськи. Собираемся на лиман. Нашелся над нами хозяин – роокотенент-лейтенант. Работал по направлению невода – переставляли марлю на более крупное очко. Зашел Миша, он работал на баррикадах. Конвойные нарочно работу обращали в пытки. Заставляли лезть в воду выше колен. Избивали палками, кое-кого до смерти. Йойну Ж. за то, что он завяз в песке и упал. Конвоир-надсмотрщик ударил по спине лопатой так, что я думал, что гад сломал ему позвоночник.

Йойна не привык к такому обращению. Бедняк, который всю жизнь работал ради хлеба, терпел нужду, к этому новые испытания привели его к мыслям о самоубийстве.

Вот уже две недели хлеба нет – печем ячменные коржи. Немцам городским дают белый хлеб. Это первая их привилегия над русскими. Ждали и мы – люди 3-го сорта – хлеба. Подать есть, но все на обмен. За деньги ничего не купишь.

На море

Васька Павленко позвал меня:

– Там, – говорит, – выбросило на берег ялик. Надо забрать.

Я с удовольствием принял его предложение.

На море было неспокойно. Погода пасмурная. Дул низовый. Васька в такие погоды всегда ходил на добычу. Беспокойная стихия всегда бросает на берег свои подачки: дрова, порожние ящики, а теперь прибивает более ценные вещи. Кто знает, какими несчастными и при каких обстоятельствах ими покинутые. Подарок был сегодня обильный – в морской тине, обрамлявшей все побережье, бился бортом о песок великолепный шлюп. Правда, грязная, запущенная, но крепко сбитая, почти новая.

Я предложил пригнать ее канатом и вытащить на сушу у самого нашего дома. Васька колебался. Позвали Сашку Блюма и Карла. Откачали воду, набравшуюся от брызг. Вместо шполика пользовались противогазными сумками, в изобилии валявшимися по берегу вместе с противогазами, совершенно новыми, без употребления, брошенными в море при отступлении нашей армии.

Посуда не имела снастей, один руль валялся на дне, два паела и одна уключина одиноко торчала на борту.

Подошли еще ребята. Лодка была перетащена через вал и спущена в канал, прорытый для спуска воды из лимана.

Кроме лодки прибило крышу от палубной надстройки – большой дощатый четырехугольник, крытый железом.

Щит разобрали и стащили домой. Повытаскивали выброшенные давно, но никем не подбираемые из-за своего большого веса деревянные колоды.

Все полезное было подобрано.

Лишь вздутые тела побитых лошадей чернели по сумрачному побережью. Прошло уже 2 недели после эвакуации, а битые лошади все еще прибывали морем, да головы рогатого скота, нашедшего свой конец под ножом мясников на бойне.

6 ноября

Погода осенняя. Моросит. Туман. Одел плащ, сапоги и пошел к Алексею. Его не застал. Пошел к художнице-генеральше. Долго бродил по залитой лиманской водой, хлынувшей от взрыва дамбы аж на 2-ю Николаевскую, пустынной улице. Вода местами доходила выше колен.

Переходя из дома в дом, я полностью прочувствовал, насколько велико несчастье людей этого залитого района. __?__ от моста

Московской чуть ли до Лузановки от __?__ Пески, Лиманчик, вся Балтская дорога, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я улицы Пересыпи.

Десятки тысяч домишек, построенных на трудовые копейки, ценой недоеданий, недосыпаний и долгого изнурительного труда, гибнут – замокают, разваливаются. Проклятый Гитлер! Гнусная война!

А наши хороши. «Война на чужой территории». «Ворошиловские залпы». «Любимый город может спать спокойно!»

Десятки тысяч людей покинули свои несчастные жилища и ютятся в конторах фабрик, общежитиях, школах и в освободившихся еврейских квартирах, все еще выжидая: «А может быть, упадет вода и можно будет вернуться в свои насиженные гнезда».

Дом «генеральши» тоже залит. Каменная ограда рухнула. Деревянная лестница, привязанная проволокой, чтобы не уплыла, видимо, выполняла функции моста. Заколоченные двери, разбитые стекла окон. Ветер свистел, нагнетая досаду и тоску. Женщина с клумаками, видимо, перетаскивала на более пригодное жилье, сказала мне, что «генеральша» перебралась на 2-ю Николаевскую. Побрел я туда. Проходил мимо сгоревшего завода элеваторного оборудования. Пожар, видимо, потушили, но от него мало что осталось: обугленные стропила. Мокнут и прогнивают покинутые деревообделочные станки.

Вышел на мокрую и заглохшую Николаевскую. Пусто. Народа ни души. Лишь изредка пройдет румын, солдат-шатун. Да проедет машина с немцами.

Попался худой взъерошенный мальчонка-подросток, ощетинившийся на меня, покуда разобрал, что я разыскиваю, и указал на склады заготзерно, что там, мол, она живет.

Художница поселилась в бане. Вышла ко мне в грязном оборванном платье, худая, бледная. С ней мы условились о дальнейшей встрече (она мне давала консультации по работе над портретом).

Выходя от нее – натолкнулся на группу пленных в сопровождении конвойных румын, шедших с лопатами на разборку баррикад. Я их на всякий случай обошел два квартала, три «крюка».

7 ноября

Год тому назад я, утомленный, исхудавший, с болью во всем теле, отсыпался до полудня, а потом слонялся в ожидании элект-

роэнергии, чтобы включить приемник. В доме стоял волнующий запах печенья и снеди, которую обычно готовили к 8-му – Лилькиным именинам. А сегодня? Я пишу при свете коптилки на кухонном столе. Маруся катает тесто и тоже пахнет печеньем. Но о былом празднике только воспоминания. Многие и многие потеряли веру и надежду на возвращение прежней жизни. Нельзя сказать, чтобы оправдались надежды кое-кого ожидавшего «смены власти».

Почувствовав на своей шкуре перемены жизни при оккупациях, они стали роптать и на новую власть.

Хозяйничание румын, грабящих наше добро и тащащих его к себе, не обещает ничего хорошего на будущее.

Хлеба еще нет и не предвидится. Торговли никакой нет. Крестьяне только меняют на продукты, картофель, муку и жиры, на одежду, мыло, синьку, обувь и прочее. Кино, театры не работают, электроэнергии нет.

Вода только появилась в нижних частях города самотеком. Пересыпь отрезана водой.

Трамвай пошел по 2-й Линии.

8 ноября

Сотни людей движутся по утрам мимо нас в поле за картофелем, морковкой, луком, кукурузой, свеклой, а к вечеру с клумаками на плечах тянутся домой в город. Деньги отсутствуют. Теперь их очень много, но они не имеют хождения, хоть и не аннулированы.

Пошел к Станиславу. Поболтав, разошлись. У него дело закрутилось: несколько человек на полный ход штампуют зажигалки из патронных гильз.

Алексей отправился в город, а я к Шашину. Условились сойтись на «гуся», которого привезла из деревни __?__ молодуха, вторая жена Станислава (при нем их две): старая – законная, и вторая – молодая, на официальном положении компаньона, «завснаба и завсбыта».

Пообедали. Я с таким аппетитом набросился на еду, что чуть не вывихнул скулу.

Домой шел – уже темнело.

У Казанской церкви стояла толпа, и играл оркестр. Рота румын промаршировала с пафосом и гордостью. Мне они казались смешными в их напыщенности.

Румынская армия питается скверно. А пленные жестоко голодают, живут на подачках сердобольных, делящихся с ними последним.

Зашел в муниципалитет. Здесь кипит деятельность. Разбираются тысячи заявлений на открытие кустарных и промышленных предприятий. Много подано прошений(!) на аренду помещений под торговлю. Виды на то, что жизнь развернется, и разруха и застой – дело временное. Но для открытия любого дела нужны деньги. Алексей хочет наладить промысел на возросший спрос «верующих», мне предлагает участие. Я ему согласия еще не дал, но и не отказал. Интересуюсь, в чем суть.

Но нас там охладили. Решили временно от своего намерения отказаться.

У Станислава остановился молодой деревенский парень лет 24-х, у него на рукаве была желто-блакитная повязка.

– Вы нацист? – спросил его я.

– Национал-социалист, начальник полиции деревни Радужная.

– С Красной Армии прямо в начальники полиции, – едко вставила младшая жена Станислава Ольга.

Я попросил рассказать, как он достиг такого «высокого» поста…

Борис Георгиевич Детков родился 23 октября 1910 года в семье художника (последние годы работал бухгалтером).

Б.Г. Детков был активным комсомольцем. Работал в драмкружках, а впоследствии – в Одесском ТЮЗе. По путевке комсомола был направлен в села Одесской области с актерской бригадой для проведения коллективизации.

В 30-е годы окончил рабфак. На соревнованиях по плаванию глубокой осенью простудился, заболел туберкулезом. Был признан непригодным к военной службе. Во время Великой Отечественной войны жил в Одессе, работал маляром.

После освобождения Одессы, буквально на следующий день, писал плакаты и лозунги для Ленинского района г. Одессы.

Всю последующую жизнь проработал на заводе Октябрьской революции художником-оформителем.

Собирал материалы о знаменитых одесситах.

После выхода на пенсию устраивал выставки, писал стихи.

По его материалам в Одессе организован музей футбола.

Умер 29 марта 1996 г.



Геннадий Гребенник

Записки обитателя одесского истфака*

5

Историю Средних веков нам преподавала незабвенная Ирина Владимировна Завьялова, женщина серьезного возраста, о чем говорило ее прозвище – Старушка. Стройная, старомодная, даже чопорная, с необычайно голубыми живыми глазами, она была по отношению к студентам требовательной, энергичной, местами даже суровой. Она не терпела разгильдяйства, неорганизованности, безразличия. Ее резких определений боялись. Она могла сказать обидные слова, но обижаться на нее было не принято. «Вам надо в зоопарк жирафа смотреть!» – кричала она нерадивому студенту. Такой она мне запомнилась.

Она учила нас анализировать первоисточники, организовывать свою самостоятельную работу. С этой целью она не жалела времени на проверку наших конспектов. Она давала нам творческие задания, которые требовали от нас как бы вживаться в эпохи раннего европейского феодализма, крестовых походов, итальянского Возрождения. Ее семинары были, пожалуй, интереснее, чем ее лекции, хотя и к тем у меня нет претензий. И вот когда встречаешь такой уровень преподавания, когда требовательность сочетается с глубоким знанием предмета, то включаешься в работу, чтобы соответствовать этому уровню, начинаешь самостоятельно читать и конспектировать вещи сверх обязательной программы.

С Ириной Владимировной связаны два ярких впечатления моей учебы на истфаке.

---

* Продолжение. Начало в кн. 45, 46

Первое – это написание мной курсовой работы о флорентийских художниках Джотто и Мазаччо. В течение учебы на истфаке я писал несколько курсовых работ, но запомнил только эту. Почему я выбрал культурологическую тему? Исключительно потому, что ничего не знал об этих художниках, кроме того, что они были предшественниками великого Леонардо. Я был рад погрузиться в великолепнейшую эпоху Возрождения, которая породила целое скопление суперзвезд живописи и скульптуры на ничтожном клочке земли под названием Италия. Они действительно возродили античный культ красоты, но вложили в него свое, христианское мироощущение. Главным моим экспертом по теме работы стал автор трактата «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари (1511-1574). Свой очерк о Джотто он начал так: «Мы должны, как мне думается, быть обязанными Джотто, живописцу флорентийскому, ибо <…> поистине чудом величайшим было то, что век тот, и грубый, и неумелый, возымел силу проявить себя через Джотто столь мудро, что рисунок, о котором люди того времени имели немного или вовсе никакого понятия, благодаря ему полностью вернулся к жизни».

Почувствуйте вкус, как почувствовал его я, к средневековому письму и манере мыслить, в нем адекватно выразившейся! С одной стороны – витиевато, пышно, пафосно, велеречиво, цветисто, с выкрутасами… А с другой – сразу же, без разгона – быка за рога: чем мы обязаны художнику Джотто, жившему в конце XIII – первой трети XIV в. Действительно, если мы ему ничем не обязаны, то зачем о нем писать? А мы ему обязаны ни много ни мало тем, что он заново научил нас рисовать. А чем мы обязаны Мазаччо? Мы ему обязаны «доброй манерой живописи». Итак, Джотто научил нас рисовать, а Мазаччо раскрашивать рисунок красками, живописать.

Для меня было очевидно, что наука – это то, что европейское человечество приобрело в Новое время, а культура – это то, чем оно располагало в эпоху Средневековья. Именно тогда был выработан идеал совершенной духовной личности, и с тех пор он остается для нас недосягаемым. Если вы хотите повысить свой культурный уровень, то вы просто обязаны обратить свой взор в Средневековье. Оттуда происходят образы, понятия, критерии и смыслы, образующие каркас современной европейской культуры.

Второе впечатление связано с одним заседанием кружка по истории Средневековья, который вела И.В. Завьялова. Я учился на третьем курсе. Экзамен Завьяловой мы сдали в летнюю сессию за второй курс. Поэтому студентов было мало. Увы, и в наше время студенты были неприлично прагматичны. Из настоящих кружковцев я запомнил Иру Немченко. (Ныне Ирина Викторовна заведует кафедрой древнего мира и Средних веков на истфаке.) Она училась на курс старше, была старостой кружка. Сидела вместе со своей подружкой. Имени последней я не помню. Помоему, ее фамилия была Жебеленко. В тот раз темой заседания был Вольтер, тот самый – Франсуа Мария Аруэ. И докладчиком был не кто-нибудь, а сам Петр Осипович Карышковский. На заседание кружка пришел доцент Вадим Сергеевич Алексеев-Попов, признанный знаток эпохи Просвещения.

Петр Осипович поставил на трибунку перед собой знаменитый бюстик Вольтера: старик с объемным лысым черепом и худой жилистой шеей, в античных одеяниях, смотрящий на мир всепонимающими глазами и при этом язвительно улыбающийся тонкими губами. Эта змеиная улыбка Вольтера не менее загадочна и притягательна, чем улыбка Джоконды. ПэО на пару с Вольтером смотрелись неплохо.

Начал Петр Осипович свой доклад с того, что дал широкую панораму Европы середины XVIII в. вплоть до гиперборейских далей вечно снежной России. И вся она, Европа, была скована сном разума, который кое-где подсвечивался кострами инквизиции. Затем он сосредоточился на Франции. В отсутствие свободных установлений страдают не только низшие, но и высшие сословия. Аристократия в салонах начала критику режима абсолютизма. Вольтер подхватил ее и сделал достоянием общественного мнения всей Франции, более того – всей Европы. Собственно говоря, общественное мнение как феномен гражданского общества формировалось вокруг того, о чем писал и говорил Вольтер. Он разработал и провел успешные испытания нового оружия – оружия критики словом, саркастическим смехом, аргументом здравого смысла. Вся Франция смеялась над тем, над чем он смеялся. Он бесстрашно указал на могущественную католическую церковь и бросил клич: «Раздавите гадину!».

В аудитории была ниша, в ней стояла маленькая колонка с бюстом Ленина. Войдя в раж, большой и нескладный Петр Осипович умудрился влезть в эту нишу за колонку и оттуда, возвышаясь над бюстом вождя, выпучив глаза, бросал страшные слова. Он явно был в крайнем эмоциональном возбуждении и говорил вещи, лично его задевавшие. Он восхищался Вольтером, его свободой во всех ее аспектах: жизнелюбием, духовной энергией, колоссальной работоспособностью, разнообразием интересов, независимостью от мнения королей. Наоборот, это их репутация зависела от его мнения. Не он был на уровне века, а век подтягивался до его уровня. Он стал истинным королем Франции, поскольку был королем общественного мнения, от которого и венценосные особы зависели явным образом. Петр Осипович достиг апофеоза в своем экстазе. Ему нравился Вольтер как человек, живший полнокровной жизнью, не боявшийся «грешить», презревший предрассудки и лицемерие своего века. На его стороне были только сила разума и таланта. Он вступил в, казалось, абсолютно безнадежный поединок с могущественной католической церковью, осуществлявшей тотальный идеологический контроль над словами и мыслями людей. В этом отношении историка к Вольтеру сквозило много личного и… общественного, если вспомнить, что роль КПСС была аналогична роли средневековой католической церкви в Европе. Я взглянул в этот момент на Ирину Владимировну. Она улыбалась. Она тихо восторгалась. В ее глазах читалась влюбленность.

Но это была только прелюдия. В разговор вступил Вадим Сергеевич. И закрутилось! Все знали, что он был поклонник Жан-Жака Руссо. Вольтер или Руссо – «кто более матери-истории дорог»? Разгорелся нешуточный спор. Два главных идеолога эпохи французского Просвещения при жизни ненавидели друг друга. Вольтер смотрел на Руссо как на злобного сумасшедшего. Руссо говорил о Вольтере, что это «прекрасный ум и низкая душа». В персонах Карышковского и Алексеева-Попова они обрели прекрасных адвокатов.

Кто-то должен был расплатиться за набеги барских кроликов на поля фермеров, за королевский фаворитизм и прочие «шалости» дворянского класса. Привилегии, все до единой, противны веленьям человеческого разума – такой вывод философов-

энциклопедистов был приговором для феодальной системы власти, основанной на принципе привилегии. Именно с этого момента обретает силу философия Руссо с ее центральным принципом Справедливости и Равенства.

Если бы не было аристократии, не было бы и Вольтера. Он всей душой принадлежал этому сословию – не по происхождению, а по своему духу, по своей культурной интенции. Руссо ненавидел аристократию, она оскорбляла его чувство равенства. Руссо под именем «общей воли» возвел народ в божество. Вольтер в народе прозревал чернь, которую опасно распалять революционными призывами. По идеологическому рисунку Вольтер был протолиберал, а Руссо – протосоциалист, причем большевистского толка.

Карышковскому решительно не нравился Руссо и как мыслитель, и как человек: сентиментальный, плаксивый, вечно жалующийся на свою судьбу, склонный к мизантропии старик. Видевший в предметах цивилизации лишь инструменты разврата и культурного вырождения, Руссо в принципе не мог радоваться жизни.

Можно только подивиться иронии истории. «Человек со Слободки» Петр Осипович оказался «вольтерьянцем», поклонником аристократического начала, а урожденный дворянин Вадим Сергеевич – руссоистом, сторонником демократического принципа.

Конкретных реплик спорщиков и чем, собственно, закончился спор, я, конечно, не запомнил. Да это и неважно, важно то потрясающее впечатление, которое я получил от столкновения умов и характеров двух ученых мужей. Это был настоящий агон в античном понимании этого слова. И мне, признаюсь, ужасно захотелось стать таким же поединщиком, вооруженным до зубов фактами и аргументами.

6

Упомянутый Вадим Сергеевич Алексеев-Попов (1912-1982) был еще одним выдающимся персонажем старшей плеяды истфаковских преподавателей. О нем мы были весьма наслышаны и заранее трепетали. Он пришел к нам на третьем курсе. От предыдущих поколений студентов ему досталось прозвище «Алеша Попович». Впрочем, в нашем кругу мы его так не называли. Маленький,

сухонький, с хохолком редких непричесанных волос на голове, он походил на Суворова в цивильном. Он не считал нужным скрывать своего раздражения и бурно возмущался, если мы недорабатывали. Почтенный возраст (ему было больше 60-ти лет) давал ему на это законное право. Рассказывали, что однажды, находясь в нервном возбуждении, Вадим Сергеевич вытащил из внутреннего кармана пиджака только что полученную зарплату и со словами «зачем мне государство платит, если я не могу вас ничему научить!» бросил деньги так, что они веером разлетелись по аудитории. Зато если он выделял кого-то из нас в лучшую сторону, то одаривал своим доверием. Я сам испытал на себе это доверие. Два-три удачных ответа на семинаре, конспект, который он оценил на «отлично», – этого оказалось достаточно, чтобы он зачислил меня в «свои» студенты. В результате я был приглашен к нему домой. Он показал мне свою обширную библиотеку, дал из нее книги почитать. На экзамене мне попался билет, третьего вопроса которого я практически не знал. Но кредит доверия со стороны Вадима Сергеевича был ко мне так велик, что до третьего вопроса дело не дошло.

Урок братьям нашим младшим, студентам: в течение семестра учитесь так, чтобы на экзамене в трудной ситуации к вам на выручку пришел сам экзаменатор. Причем желательно, чтобы он об этом даже не подозревал.

В.С. Алексеев-Попов читал нам, как сейчас принято говорить, свой авторский курс. О, тогда это была большая ересь! В нарушение жесткого требования неукоснительно придерживаться министерской программы курса большую часть лекционного времени он отводил освещению идеологии эпохи французского Просвещения и Великой Французской революции, ее основным линиям – консервативной, жирондистской и якобинской. Судя по всему, его самого интересовал феномен идеологии. Помню, на семинарах он ставил нам задачу провести сравнение английской и французской революций и объяснить, почему первая осуществлялась, как он выражался, «в религиозной рубашке», а вторая носила ярко выраженный атеистический характер и проходила под лозунгом «Долой религию, да здравствует разум!». Для анализа революций Вадим Сергеевич применял методологию, почерпнутую в работах К. Маркса. Последний в его глазах был великим мыслителем.

Конечно, на первом месте у него шел его любимый Жан-Жак Руссо. Надо сказать, что Алексеев-Попов был весьма учен в этом вопросе. Он перевел с французского трактаты Ж.-Ж. Руссо, дал комментарий к ним, написал большую вступительную статью*. Известно, что ему помогал работать над переводом эмигрировавший из Франции Николай Алексеевич Полторацкий (1909-1991). До сих пор эта книга переиздается в России в его переводе и с его комментариями. Собственно говоря, это его главный вклад в науку. По неизвестным мне причинам Вадим Сергеевич, к сожалению, очень редко публиковался. Я считал и до сих пор так считаю, что причиной тому – высокая требовательность к себе как ученому. Между тем он располагал авторитетом среди своих коллег-специалистов как в Союзе, так и во Франции. Его знали, с ним считались, спрашивали его совета крупные научные авторитеты. Я полагаю, что исследовательский и педагогический аспекты в преподавательской работе В.С. Алексеева-Попова были удачно сбалансированы.

Вадим Сергеевич возглавлял в Одессе отделение Общества советско-французской дружбы, неоднократно бывал во Франции, конечно, имел личные знакомства с тамошними специалистами по истории Французской революции, поддерживал с ними переписку. Однажды после занятий он показал нам в аудитории привезенный из Франции фильм об этой революции. Фильм не был дублирован. По ходу показа он несколько раз прерывал его и комментировал только что увиденное. Фильм был игровой, но с соблюдением всех исторических деталей, с тщательным подбором актеров на роли главных исторических персонажей – Марата, Дантона, Робеспьера, Сен-Жюста, Демулена, Кутона, Ролана и его жены, молодого Наполеона. У меня с тех пор такое чувство, что я лично был знаком с ними. В фильме были мастерски воссозданы дух революции, ее бешеный темпоритм, изломы, моменты торжества, предательства и трагедии. То есть передано величие Революции, изменившей раз и навсегда историю Европы. Я утверждаю, что без кровавой Французской революции, десятилетий наполеоновских войн, истощивших французскую нацию донельзя,

* Алексеев-Попов В.С. О социальных и политических идеях Руссо // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.

не было бы современной цивилизованной Европы, в которую так стремятся попасть сегодня некоторые наши соотечественники, что даже штаны на коленях порвали. Потому что в другой позе их туда не пускают.

Вадим Сергеевич думал, что история как наука сильно зависит от искусства писательства. Историк должен выражать свою мысль так, чтобы в голове возникал яркий образ. Собственно, от Алексеева-Попова я впервые услышал это слово – мыслеобраз. В качестве образца мыслеобраза В.С. Алексеев-Попов цитировал нам из «Манифеста Коммунистической партии»:

«Буржуазия повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой».

А действительно, здорово писал К. Маркс! И как точно этот мыслеобраз ложится на, к сожалению, нашу современную буржуазную действительность… Вадим Сергеевич советовал нам, тогдашним студентам: не откладывая на потом, читать классическую литературу. «Если вы сейчас не прочтете Расина и Мольера, вы никогда в жизни их уже не прочтете», – говорил Алексеев-Попов. Как он был прав! Если Мольер еще где-то и как-то, то Расин нигде и никак. А между прочим, надо еще понять, почему Расин, ныне совершенно неинтересный и невостребованный, был в свое время властителем дум. Тексты его произведений являются культурным ключом к пониманию его эпохи.

Вадим Сергеевич был, в сущности, одинокий человек. Университет, работа держали его в этой жизни. Я уже тогда понял, что Алексеев-Попов отнюдь не брюзжащий вредный старик, а но-

ситель огромных знаний, озабоченный проблемой кому-то их передать. Он переживал, потому что времени у него оставалось совсем немного. Здоровье его подводило. Он часто болел. Пару раз во время лекции с ним случался обморок, и его под руки выводили из аудитории.

Он был не только одесским историком, но и историком культуры Одессы. Главным ее разделом является, безусловно, одесская пушкинистика. В книге «Вьеварум» (М., 1975) Натан Эйдельман описывает свои поиски пушкинских связей и, чем черт не шутит, вещей в Одессе в 1968 году. Вот выдержка оттуда:

«6 мая. Целый день – в научной библиотеке. Копирую записки Еропкиной. Знакомлюсь с приятнейшими людьми, одесскими историками Вадимом Сергеевичем Алексеевым-Поповым и Саулом Яковлевичем Боровым. Их адреса мне дали в Москве (мой пароль: «Пушкин. Цявловские, Еропкина, Сомовы»). <…> В.С. Алексеев-Попов – коллекционер. Он показывает мне портрет Надежды Михайловны Еропкиной очень недурной работы. Разговор заходит об искусстве, и вдруг С.Я. Боровой предлагает отправиться на одну старую квартиру. Если уж там ничего не скажут о Воронцове и саранче, то не скажут нигде в Одессе, «а за Херсон и Николаев мы, конечно, не ручаемся».

Одесский краевед Михаил Бинов также ссылался на В.С. Алексеева-Попова как на «истого интеллигента, энциклопедически образованного человека», специально исследовавшего многочисленные культурные и родственные связи известных одесситов.

И последний сюжет. Вадим Сергеевич был интеллигент. Здесь, прежде всего, имеется в виду, что интеллигент – это человек, который постоянно решает для себя проблему достойного существования, нравственного комфорта, согласия со своей совестью.

Ниже я коснусь фактов и событий, о которых в их бытность я ничего не знал. Речь пойдет о «деле» группы одесских студентов, которых арестовали в 1974 г. по обвинению в хранении и распространении запрещенной литературы (самиздата). Среди них был известный ныне кремлевский политтехнолог Глеб Павловский. Он учился на истфаке как раз до моего поступления и был старостой кружка по новой истории, которым руководил В.С. Алексеев-

Попов. И после окончания университета Павловский поддерживал отношения с Вадимом Сергеевичем.

В начале августа 1974 г. Алексеева-Попова остановили на улице сотрудники КГБ. «Нам известно, – сказали ему, – что у вас есть экземпляр «Архипелага ГУЛАГ». Вы должны немедленно сдать его в Комитет госбезопасности». Он так и сделал. При этом ему пришлось сделать признание, что книгу дал Г. Павловский. На процессе по делу другого участника этой группы, Вячеслава Игрунова, в марте 1975 г. Г. Павловский заявил, что он без ведома Игрунова дал прочесть книгу Алексееву-Попову, чтобы услышать его мнение как историка. Сам Вадим Сергеевич к суду в связи с болезнью привлечен не был и проходил только в качестве свидетеля. В суде были приведены его показания. В частности, о книге Солженицына он отозвался как о «тенденциозной», «злостно искажавшей жизнь страны».

Судебный процесс над В. Игруновым шел в 1975 году, то есть именно в том году, в котором мы слушали курс лекций В.С. Алексеева-Попова. Как эта диссидентская история повлияла на старого преподавателя? «Убийственно», – считает Ольга Ильницкая, бывшая в то время женой Г. Павловского. На вопрос, кого она вспоминает из круга людей 70-х – начала 80-х годов, О. Ильницкая отвечала так:

– Вадим Сергеевич Алексеев-Попов. Это доцент Одесского университета. Он преподавал у нас новую и новейшую историю и был очень сложным преподавателем – у него сложно было получить положительную оценку. И очень трудно было сдавать экзамены. И мы как-то сразу его заметили, потому что это был человек очень высокой культуры. Мне казалось, что мы правильно его сосчитали. Потому что те люди, которых выбирали СИДовцы, эти люди оказывались связаны. Оказалось, что Вадим Сергеевич дружил с Михаилом Яковлевичем (Гефтером. – **Г. Г.**). И цепь замкнулась. И поэтому мы обрели сразу таких прекрасных старших людей. Он очень пострадал в связи с нами, потому что это из нашего дома ушел «Архипелаг ГУЛАГ», который попал от Вячека к нам. И вот эта цепь Вячек – Алексеев-Попов и наш дом с Глебом – это то, что привело, с моей точки зрения, Вадима Сергеевича к смерти. Ни больше, ни меньше.

…Люди просто сами не умирают, их жизнь убивает, а жизнь убивает посредством других людей. Вадим Сергеевич очень остро переживал все, что случилось тогда с ним. Когда у него изъяли во время обыска книгу, он жутко переживал – он не мог не ответить на вопрос, где он взял. Честный человек, который при всем понимании, чем это чревато… Вероятно, он никак не придумал, как выйти из этого положения, – ну, не с неба же свалилось. И он очень мучительно переживал тот факт, что он сказал, откуда эта книга. Он очень мучился, я с ним разговаривала. А он был астматиком, вообще, человеком не очень крепкого здоровья. И вот он как-то стал угасать после этого. Он очень быстро после этого умер. У меня было такое чувство вины перед Вадимом Сергеевичем, что я даже не смогла прийти на его поминки. Я все время чувствовала нашу причастность к его гибели, хотя человек просто умер от болезни*.

Думаю, Ольга Ильницкая напрасно себя корит. Напомню, суд состоялся в 1975 году, а Алексеев-Попов ушел из жизни в 1982-м, то есть спустя семь лет. Многие вещи навсегда покрыты мраком тайны. У В.С. Алексеева-Попова были, кажется, весьма «интересные» взаимоотношения с нашими бдительными органами. Они подозревали его в «скрытом троцкизме и космополитизме». Тем не менее, его выпускали за границу, и не куда-нибудь, а в Берлин и Марсель, где он участвовал в научных семинарах. Впрочем, я нисколько не намерен отрицать нравственных переживаний Вадима Сергеевича, усугубивших его нездоровье. Более того, хочу подчеркнуть, что эти переживания были чисто интеллигентского свойства, поскольку он не мог не понимать, что не он вывел органы госбезопасности на Павловского, а наоборот, – к нему пришли, потому что доподлинно знали, что запрещенная книга у него. Но простить себе самому слабости, растерянности и страха он не мог.

Продолжение следует

* Режим доступа: http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-names/others/odessa/69_75/ilnitsk/prose/vchk-cat-names-other-o_ilnitsk-prose-razlom.html

Валентина Коган

Одесский переводчик Фрейда

Яков Моисеевич Коган – врач-психиатр, психоаналитик, кандидат медицинских наук. Заведовал медицинской частью Одесской психиатрической больницы, работал доцентом на кафедре психиатрии Одесского медицинского института, организовал амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу в Одессе, участвовал в Великой Отечественной войне в звании майора медицинской службы. Являлся переводчиком ряда наиболее значительных работ З. Фрейда, а также одним из представителей классического психоанализа в России.

Как ни странно, но это оказалось трудно – писать об отце, которого я беззаветно любила, которым гордилась, мнение и авторитет которого были для меня непреложными, а природный ум и его профессиональная состоятельность признавались всеми, кому довелось в разном качестве общаться с ним.

Эти строки – не историческая справка, не профессиональные размышления на тему теории и практики психиатрии и психоанализа, в которых отец реализовал свое бесспорное призвание. Такая задача была бы мне не по плечу, тем более что моя профессия далека от этой науки, причастность к которой определяется лишь тем, что судьба уготовила мне счастливую участь быть дочерью своего отца, доктора Якова Моисеевича Когана. Я могу лишь свидетельствовать об известных мне фактах профессиональной деятельности отца, приводить суждения его коллег, друзей и соавторов (хотя последних практически не было) и говорить о том, чему сама была свидетельницей.

Мой отец Яков Моисеевич Коган родился 2 марта 1898 года на Украине в городе Тульчин Винницкой области в семье пи-

саря Мещанской управы. Рано лишившись отца, еще обучаясь в гимназии, он занимался репетиторством, зарабатывая средства к существованию. А дальше, до поступления в 1918 г. в медицинский институт, – пестрая череда самых разных и несхожих занятий и профессий: служба в пехотном полку старой армии, затем – истопник, швейцар, билетер в кинотеатре научно-популярных фильмов, библиотекарь, заведующий реформаторием для несовершеннолетних правонарушителей, лекпом ДОПР'а.

В промежутках между работой и учебой урывками изучал без специальных пособий (и изучил в совершенстве!) немецкий язык, переводя до изнеможения раздобытую где-то немецкую машиностроительную энциклопедию, написанную готическим шрифтом. Последующая жизнь вознаградила отца за это упорство, предоставив ему возможность использовать это знание в профессии, принесшей ему известность как знатоку и переводчику наиболее значимых трудов З. Фрейда и других авторов, писавших на немецком языке. В редакционной статье вышедшего в Харькове в 1996 г. сборника «История психоанализа в Украине» написано, что по количеству работ З. Фрейда, переведенных на русский язык, Я.М. Коган занимает второе место после М.В. Вульфа. Не могу отказать себе в удовольствии привести суждение одного из авторов этого сборника, в котором высказывается мнение, что опубликованная в 1927 году статья, где «Я.М. Коган обосновывает и развивает фрейдовскую концепцию единства онтогенеза и филогенеза, совершенно свободна от какого-либо идеологического или политического влияния… Видение Я.М. Когана этой проблемы шире, чем фрейдовское…».

Группой, состоявшей из семи молодых психиатров-психоаналитиков, в 20-х годах руководил известный психиатр профессор Е.А. Шевалев, высокообразованный специалист, человек высокой культуры и гуманистических убеждений. Увлеченность общей идеей объединяла всех семерых членов группы. Они дружили и охотно общались в свободное от работы время и беззлобно подтрунивали друг над другом, делая это порой в стихотворной форме. В музее одесской психиатрической больницы сохранилось написанное Е.А. Шевалевым «Письмо З. Фрейда по поводу избрания в ассистенты доктора Я.М. Когана и открытия пси-

хиатрической клиники». От имени З. Фрейда Е.А. Шевалев приветствует Я.М. Когана.

Я поздравляю Вас сердечно
И убежден, что выбор Ваш
Особый вид теперь, конечно,
Психоанализу придаст.
Для нас не будет в том обиды,
Если отныне в свой черед
Ваш ассистент свое Либидо
На клинику перенесет.
В словах сиих – мое почтенье,
Я очень рад – мой близкий друг,
Шлю свой привет Вам в заключенье
И с уваженьем, Зигмунд Фрейд.

А вот строки из написанной Е.А. Шевалевым «Поэмы о семи грешниках, двое из которых предстали перед высшим судьей»:

Архангел молвил: здесь пред вами
Халецкий с Коганом не вдруг:
Психоанализ их недуг,
От их речей краснеют дамы,
Им был неведом путь Господний,
Они с усердьем червяка
Копались в душных преисподнях.
Они назойливей Чека.

К счастью, эти отчаянно смелые строки не имели возможных серьезных последствий.

В 1925 году в Москве была издана на русском языке одна из наиболее выдающихся работ З. Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному», признанная шедевром даже самыми решительными противниками З. Фрейда, не разделяющими целиком его учения. Перевод был выполнен моим отцом с третьего немецкого издания с предисловием к русскому изданию профессора Е.А. Шевалева, который отмечает значительную трудность самого перевода наличием в оригинале целого ряда выражений, каламбуров, острот, трудно переводимых на русский язык ввиду их чисто национального своеобразия. Этим объясняется то, что, в противоположность другим произ-



Яков Моисеевич Коган

ведениям Фрейда, эта работа долго не переводилась на русский язык. Несколько лет тому назад среди немногочисленных сохранившихся у меня книг из некогда большой библиотеки отца я нашла небольшую книжку Я. Шафира «От остроты до памфлета», изданную в Москве в 1925 году. Приведу один из абзацев в самом начале книжки, обведенный черными чернилами толстой, жирной линией: «Книга эта (речь идет о вышеупомянутой работе З. Фрейда) до сих пор не переведена на русский язык, возможно, потому, что перевод приводимых и анализируемых Фрейдом острот очень труден, почти невозможен. Для русского читателя пришлось бы в качестве иллюстраций фрейдовских положений брать русские остроты, так как игра слов, двусмысленности, связанные с различным употреблением одного и того же слова, различные модификации слова совершенно пропадают при переводах. Изменение же иллюстративного материала предполагает не механический перевод, а соответствующую переработку книги Фрейда, посильную лишь большому знатоку вопросов психоанализа. Будем надеяться, что в ближайшее время у нас окажется такой специалист-психолог, который даст нам перевод этой замечательной книги». Не знаю, как совместить во времени эту публикацию и работу отца над переводом, но у меня нет сомнений в том, что выделенные отцом строки если и не были единственным и решающим фактором, побудившим его к переводу «Остроумия», то, во всяком случае, они могли вызвать некий профессиональный творческий азарт, увенчавшийся переводом, достойным оригинала, как о том сви-

детельствуют специалисты и те, кому была интересна и полезна в творчестве эта книга (в их числе И. Губерман и В. Гафт).

Непростая судьба ждала и издание перевода еще одной значительной работы Фрейда «Толкование сновидений», уже подготовленный к изданию набор которой был в свое время рассыпан. Но книга все же увидела свет в 1991 году в ранее исправленном и дополненном отцом виде.

Могу лишь с запоздалым огорчением свидетельствовать, что в свое время, при жизни отца, я со свойственной молодости (мне было 25 лет, когда он умер) расточительной безоглядностью не очень интересовалась психоанализом и теорией Фрейда. В то время меня больше занимали вопросы мотивации поведенческих особенностей разных людей (от выдающихся, публичных и широко известных до самых простых и заурядных). Вот об этом я часто беседовала с отцом, мнение и оценки которого для меня были непреложны.

Позволю себе лишь заметить, что с помощью психоаналитической практики отец выводил из тягостных состояний неврозов, фобий и разных комплексов многочисленных пациентов, обращавшихся к нему за помощью. Я слышала, как один из таких пациентов, придя к отцу для очередной беседы, с подъемом и воодушевлением в голос воскликнул: «Подобно цыпленку, пребывающему в яичной скорлупе накануне появления на свет, я начал с вашей помощью проклевывать свою скорлупу, во тьму которой я был до сих пор заключен. Мне необходимо немедленно продолжить с вами общение!». Такие случаи одна папина коллега называла результатом ювелирной работы психоаналитика.

Достижения отца в этой области позволили авторам раздела «психоанализ» назвать его имя в Большой советской медицинской энциклопедии, изданной в 30-х годах минувшего века, в качестве одного из представителей классического психоанализа в России.

Увлечение переводами психоаналитической литературы и самим психоанализом не мешали отцу заниматься наукой, писать книги (ему принадлежит монография «О структуре парафренических заболеваний», «Отождествление и его роль в художественном творчестве», «Татуировка у преступников» и др.),

возглавлять медицинскую службу в Одесской психиатрической больнице, работать доцентом на кафедре Одесского медицинского института, читать курс лекций по судебной психиатрии на юридическом факультете Одесского университета и Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), заниматься повышением квалификации врачей психбольницы, писать руководство для среднего и младшего персонала психиатрических больниц и подготовить в нескольких небольших томах краткое руководство по общей психиатрии под названием «Психиатрия в определениях, схемах и таблицах», вызывавшее неизменную заинтересованность студентов, остроумно назвавших это пособие лаконичным словом «Выжимки».

Лектором отец был блестящим. На его лекции в университете приходили студенты не только юридического, но и других факультетов и даже из других вузов. Слушавшие в свое время лекции отца и ставшие впоследствии маститыми докторами, бывшие студенты медина говорили мне о поразительном сочетании необыкновенной содержательности и удивительной легкости восприятия и даже занимательности этих лекций. Не так давно я обнаружила подаренное отцу немецкое издание «Клинического словаря» с дарственной надписью, начинающейся словами: «На Ваших замечательных лекциях я любовался красотой и силой человеческого разума, познающего самое сложное – человеческое «Я»…» Обнаружила я и двухтомник Отто Фенихеля на языке оригинала «Истерия и неврозы. Психоаналитические особенности учения о неврозах», изданный в 1931 г. в Вене и присланный отцу в 1932 году из Берлина с дарственной надписью автора: «Доктору Когану с благодарностью за вдвойне прекрасный день в Одессе в сентябре 1932 года. 15 октября 1932 г. Отто Фенихель».

Неожиданной находкой стала и книга Фрейда с его автографом. Свою фамилию по своей известной прихоти он написал со строчной буквы «f». Сохранилась и книга «дедушки Дурова», отца известной династии легендарных русских дрессировщиков, с его дарственной надписью. Нашла я и одну книгу (а было их несколько) выдающегося психолога Л.С. Выготского, снискавшего известность своими работами по исследованию детской психологии, с необыкновенно теплой, дружеской дарственной надписью.

При всех своих многочисленных обязанностях отец легко откликался на просьбы о чтении публичных лекций, докладов о международном положении и внешней политике, в которых он хорошо разбирался. Уезжая накануне начала войны в Днепропетровск на научную конференцию и безошибочно оценивая напряженность политической ситуации в мире, отец произнес провидческие слова: «Я уезжаю в мирное время, а вернусь – в военное». Так и произошло. На фронт он ушел в первые дни войны в звании майора медицинской службы. Он был тяжело ранен и после излечения получил назначение на должность начальника военного эвакогоспиталя № 983 в Красноярске. История о том, как мы с мамой в сутолоке войны разыскали отца и приехали к нему в Красноярск, заслуживает отдельного рассказа. До конца войны госпиталь стал для него предметом постоянных забот, связанных не только с организацией медицинской помощи раненым, но и с многочисленными проблемами, далекими от медицины, но неразрывно с ней связанными. В этом новом для него качестве в отце обнаружились способности заправского хозяйственника – от снабженца до строителя. Со свойственной отцу энергией он привлек к шефской помощи госпиталю соседствующий с ним военный завод. Воспользовавшись бесплатными дарами тайги, он вместе с поваром придумал горьковатый, но очень полезный напиток из хвои, который варил на госпитальной кухне для раненых. В поисках усиленного питания для тяжелораненых отец решил обратиться к местному населению за помощью. Эту его инициативу разделяли в госпитале далеко не все, полагая такую попытку тщетной, учитывая тяготы военного времени. Но отец знал, что хотя Сибирь и не пострадала от бомбежек и разрушений фашистского военного вторжения, из каждой семьи на фронт ушли мужчины, судьба которых стала общей тревогой для всех, и поэтому верил, что его обращение не оставит людей безучастными. И он решился! На телегу, запряженную гнедым жеребцом (госпиталь располагал только гужевым транспортом – тремя замечательными лошадьми), возчик погрузил огромную деревянную клетку, и в сопровождении отца, самостоятельно лихо управлявшего своим «персональным двухместным выездом» – легкой двухместной двуколкой, тоже запряженной лошад-

кой, миссия направилась в ближайшее село и остановилась в его центре. Местные мальчишки, мигом окружившие гостей, тут же разнесли по деревне известие о том, зачем сюда приехал «сам товарищ майор». Вскоре с постепенно нарастающей активностью к стоявшему кортежу устремились женщины, которые с молчаливой суровой готовностью несли все, что могли отдать из своих скудных запасов: домашнюю птицу, сало, мясо, яйца, мед, молочные продукты, картошку, хлеб и др. При этом многие из них вытирали слезы, невольно отождествляя в своем сознании тех, для кого они несли продукты, со своими находившимися на фронтах родными. Так происходило в каждом селе, куда бы они ни приехали, и к вечеру клетка была полна птицы, а подвода и двуколка были горой заполнены свежими домашними продуктами, отданными с искренней готовностью и от чистого сердца. В очередной раз отца не подвело умение понимать и предвидеть движения человеческой души вопреки осторожному недоверию скептиков. Позднее, когда госпиталь перевели в разрушенную войной Белоруссию, надо было благоустраивать его на новом месте. Под госпиталь отвели сильно поврежденное бомбежками далеко не приспособленное для медицинского назначения здание, которое восстанавливали сами сотрудники госпиталя. В числе первоочередных задач была организация возможности купания раненых. И тогда отец на своей неизменной двуколке стал объезжать уже нежилые разрушенные городские здания в надежде обнаружить в каком-нибудь из них хоть что-то, пригодное для этой цели. И нашел! В развале одного дома он увидел большую емкость с топочным устройством, которую на следующий же день сотрудники демонтировали и доставили в госпиталь, где и установили ее без всяких разрешений и согласований, нарушив, возможно, при этом какие-то условия техники безопасности, но зато обеспечив всех долгожданной баней.

После окончания войны отец вернулся в Одессу и приступил к своим прежним обязанностям. Но волна смутного времени «лысенковщины», «безродного космополитизма», «врачей-убийц», всеобщего доносительства и предательства накрыла и отца своей мрачной тенью. Дважды усилиями конъюнктурщиков и завистников его пытались оклеветать, дискредитировать и ли-

шить работы. К счастью, его безупречная человеческая и деловая репутация оказалась сильнее и действеннее этих происков, вопреки которым ему были доверены организация и руководство амбулаторной судебно-психиатрической экспертизой, ставшей главным делом последних лет его жизни. Отец умер в 1960 году в возрасте 62 лет, не успев написать давно задуманную им работу «100 случаев патологического опьянения», материалы для которой собрались в большом багаже его судебно-психиатрической практики.

Был случай, когда следователь с недоверием отнесся к заключению судебной экспертизы, признавшей невменяемым подозреваемого, находившегося в состоянии патологического опьянения в момент совершения им преступления. Воспользовавшись своим правом, следователь вынес решение о проведении повторной экспертизы в Москве в Институте судебной психиатрии им. Сербского и получил заключение, подтверждавшее выводы первой экспертизы. В дальнейшем, на лекции для студентов Всесоюзного юридического заочного института (а в качестве слушателей там были уже практикующие юристы), излагая слушателям вопросы вменяемости и невменяемости и особенности диагностики этих состояний, в качестве примера отец привел этот случай, упомянув и о сомнениях следователя. И тогда в зале поднялся с места человек, который во всеуслышание покаянно заявил: «Этот следователь – я!». Много позже, когда отца уже не было в живых, его коллега по этой работе рассказывала, что иногда к отцу за советом и помощью обращались следователи, если в процессе следственных действий они оказывались в тупике, сталкиваясь с логически не объяснимым и, казалось бы, психологически не мотивированным поведением участников уголовного дела. И бывало, что, основываясь на второстепенных и, на первый взгляд, малозначительных деталях дела, мимо которых прошло следствие, отец мог построить достоверную и доказательную версию событий.

Отец дома рассказывал о сложных экспертизах, когда подэкспертный был замкнут и недоступен контакту или, наоборот, активно старался ввести врачей в заблуждение, симулируя душевное заболевание, или когда требовалось установить посмертно

психическое состояние человека в момент совершения им преступления или акта суицида, от чего напрямую зависело судебное решение по уголовному делу. Суицидальные попытки часто совершались на военной службе, и об особенностях экспертизы в нескольких таких случаях отец написал статью в журнал «Судебная медицина» (кажется, так он тогда назывался). От главного редактора журнала пришел такой ответ: «Вы прислали потрясающе интересную статью, но я, увы, не могу ее опубликовать». Время таких публикаций пришло много позже, но все-таки оно наступило.

Однажды совершенно случайно я попала на открытые слушания гражданского дела, где в процессе судебного заседания от эксперта требовалось дать заключение о вменяемости умершей от тяжелого сосудистого поражения мозга женщины, которая непосредственно перед смертью якобы сделала свои завещательные распоряжения, опротестования которых требовала часть ее неудовлетворенных завещанием наследников. В зале прямо позади меня сидела группа пожилых людей, видимо, пенсионеров, коротавших свой досуг посещением открытых судебных процессов. Они живо комментировали происходящее, не переставая при этом активно утверждать, что «никто сейчас не может знать, соображала она или нет на смертном одре». И тогда один из них авторитетно заявил: «Коган знает! Коган – химик!». Трудно комментировать логику такого определения, но я долго после этого случая называла отца химиком.

Однажды летом во время студенческих каникул я поехала с отцом в Киев на проходивший там в это время какой-то тематический «психиатрический» съезд. Во время перерыва в заседаниях мы зашли в ближайшую столовую пообедать. Там было шумно и многолюдно. В центре столовой за столиком одиноко сидела молодая женщина, казавшаяся пьяной: она произносила какие-то слова, ни к кому не обращаясь и сопровождая их неопределенными плавными жестами. Кто-то над ней потешался, иные требовали вывести пьяную из зала. До нас долетали лишь ее неразборчивые отдельные возгласы, но я хорошо видела ее, а отец сидел к ней спиной. «Она пьяная?» – спросила я отца. Он оглянулся, коротко и пристально посмотрел в ее сторону и, повернувшись ко мне, уве-

ренно ответил: «Она не пьяная. Она – нашенская». Было ясно, что означал его ответ. Я была потрясена тем, как мало ему потребовалось времени, чтобы оценить состояние этой женщины.

Ко мне часто обращались знакомые (а иногда и вовсе малознакомые люди) с просьбой о консультации и иной помощи отца. Не было случая, чтобы под каким-либо предлогом он отказал в такой помощи, если она была в пределах его возможностей, и делал это абсолютно бескорыстно. Однажды моя преподаватель английского языка попросила проконсультировать ее коллегу по кафедре, молодую женщину, страдавшую измучившей ее бессонницей. После ее посещения отец рассказал мне, что, побеседовав с ней, он просто содрогнулся, узнав, какое огромное количество медикаментов от бессонницы она принимает, и решительно отменив все, уверенно сказал: «Ничего сегодня не принимайте на ночь. Спокойно ложитесь спать». И впервые за долгое время она действительно заснула, о чем с восторгом мне на следующий день сообщила моя преподаватель, после этого случая адресуя через меня отцу все вопросы по своим медицинским проблемам, даже если они были далеки от психиатрии. Велика и действенна сила внушения и доверия к врачу!

Отец был жестким администратором и очень требовательным педагогом: насколько студенты любили его лекции, настолько боялись сдавать ему экзамены. При этом он был человеком добрым, по-настоящему добрым, а не слащаво «добреньким». Уже после его смерти, когда мне доводилось встречать старых сотрудников больницы, они мне рассказывали, как часто они обращались к отцу за помощью и как участливо он им помогал даже в самых серьезных вопросах, делая это порой и по собственной инициативе.

Немногие знали о том, что была у него такая слабость: он не переносил женских слез. Притом, что он не был человеком сентиментальным, плачущая женщина неизменно делала его уступчивым и снисходительным. И тот, кто об этом знал, умело пользовался этим: с помощью женских слез все административные проблемы просительниц решались положительно и быстро.

Вне деловой жизни в нем было много какой-то мальчишеской раскрепощенности, непосредственности и задора. Моя приятель-

ница, познакомившаяся с ним, когда отцу уже было около 60-ти лет, сказала мне: «Папа у тебя – мировой мальчишка!». С присущим ему чувством радости бытия он получал удовольствие от каламбуров и розыгрышей, с увлечением играл в покер и преферанс, ходил на рыбалку, переписывался стихами с десятилетним сыном друзей нашей семьи, был неистощимым выдумщиком детских игр и развлечений на моих детских именинах, слыл завзятым голубятником и любителем живой природы; вместе с детьми и племянниками своего ближайшего друга профессора А.М. Халецкого устраивал домашние спектакли с декорациями и переодеванием, получая от этого не меньше удовольствия, чем дети, нежно и трогательно называвшие его Дядькой. У него было еще одно прозвище – Лапа. Не знаю, кто и когда его придумал. Наверное, это было связано с тем, что у него были большие красивые и сильные руки.

И еще. Отец хорошо знал, понимал и любил поэзию Бориса Пастернака. Во время войны, перед самым ее победным окончанием, для своих коллег по военному госпиталю отец устроил вечер поэзии поэта под шутливым девизом «Вечер с маком, с Пастернаком», поскольку в качестве угощения к вечеру был испечен пирог с маком. Чуть позже, будучи по делам госпиталя в Москве, отец увидел афишу, извещавшую о вечере поэзии Б. Пастернака, и пошел на этот вечер со старшей двадцатилетней дочерью профессора А.М. Халецкого. Зал был заполнен до отказа. Отец был поражен тем, что значительную часть зрительской аудитории составляла молодежь, среди которой было много парней в военной форме – кто с погонами, а кто уже без, успев демобилизоваться. Пастернак сам читал свои стихи, часто при этом останавливался, забыв текст, и, напрягая память, прикрывал глаза тыльной стороной ладони. И тогда из разных концов зала люди наперебой с воодушевлением на память продолжали прерванный поэтом текст. Много позже «Доктор Живаго» и многострадальная история с Нобелевской премией принесли Пастернаку еще более широкую и, увы, печальную известность.

Тогда же, возвращаясь из Москвы в госпиталь, отец увез к нам погостить дочь профессора А.М. Халецкого. Это решение было принято в последний момент перед отъездом, когда времени на

приобретение для нее билета уже не оставалось, и она села в поезд «зайцем». Как назло, в пути в вагон зашел контролер. Он сначала обратился к ехавшему с ними в одном купе капитану. Тот вступил с контролером в конфликт, возмутившись почему-то законным требованием предъявить билет, очевидно, усмотрев в этом ущемление его офицерского достоинства. Быстро оценив ситуацию, отец начал демонстративно открывать свой планшет, не дожидаясь требований контролера, выражая этим готовность, в отличие от своего взбунтовавшегося соседа, предъявить свои билеты, заведомо зная, что один из них отсутствует. Расчет оказался точным. Сработало! Польщенный таким смирением, контролер по-военному вытянулся в струнку и, откозыряв, воскликнул: «Не извольте беспокоиться, товарищ майор! Я вам верю!».

Отец очень много и напряженно работал, и даже в те редкие годы, когда он уходил в отпуск, использовал его по частям, возвращаясь в промежутках к своей обязательной и неотложной работе. Я не помню, чтобы он когда-нибудь жаловался на усталость, хотя при его нагрузке ее не могло не быть. Вероятно, многоплановая насыщенность жизни и полнота мироощущения позволяли легко с ней справляться, не испытывая ее изнуряющего воздействия.

Однажды по случаю на каком-то стихийном рынке отец купил набор из пяти старинных цветных открыток, на которых художник в слегка шаржированном виде изобразил врачей пяти специальностей (хирурга, гинеколога, стоматолога, терапевта и психиатра), снабдив их теми внешними особенностями, по которым можно было безошибочно определить профессиональную принадлежность каждого из них. Общеизвестна бытующая в народе добродушно-снисходительная байка, в соответствии с которой врачей-психиатров считают страдающими в известной мере недугами своих пациентов в результате тесного общения с последними. Кстати, словно в подтверждение этой байки, однажды, выписываясь из психбольницы, благодарный пациент прислал лечившим его врачам торт с коротким посвящением: «Врачам психиатрикам и неврастеникам», чем очень их позабавил. Очевидно, художник, оказавшись во власти такого домысла, и воплотил его в своем изображении: глубокое мягкое кресло, поношенный тем-

ный костюм, почти сплетенные худые длинные ноги, заброшенные одна на другую; многозначительно зажатый в кулак выдающийся вперед острый подбородок; устремленный в никуда то ли глубокомысленный, то ли отрешенный взгляд выпученных глаз; малочисленные короткие торчащие волосы на почти лысой голове и венчающий этот типичный набор «выразительных» черт сократовский лоб как материальное вместилище источника профессиональной проницательности.

Трудно было себе представить что-либо более контрастное облику отца: спокойный внимательный взгляд, ровный негромкий голос, четкая речь, красивые белоснежные седые волосы (отец начал рано седеть, а после контузии на фронте стал и вовсе абсолютно седым), подтянутый и аккуратный. Все это соответствовало портрету его коллеги с открытки с точностью до наоборот. Как-то, вне связи с портретом на открытке, я спросила у отца, имеет ли значение для профессионала, занимающегося психиатрией, психоанализом и психотерапией, его внешность. На что отец без раздумий сразу ответил мне утвердительно и объяснил: «Ничто во внешности врача нашей специальности не должно раздражать пациента, вызывая у него некое неприятие врача. При этом часто оба эти чувства возникают у пациента безотчетно, подсознательно, и это мешает общению с ним».

То, что мной написано об отце, – это далеко не все о нем, хотя бы уже потому, что в моем повествовании он предстает идеальным, а таким не может быть никто. Но я знаю и помню его таким, как о нем написала. И мне в оправдание – то, что все мной написанное – сущая правда.

Одесский календарь

122 **Сергей Решетов**
Дома семьи Маразли на улице Пушкинской, №№ 2 и 4

Сергей Решетов

Дома семьи Маразли на улице Пушкинской, №№ 2 и 4

Известно, что первые два дома по четной стороне улицы Пушкинской (до 1880 г. – Итальянской улицы) принадлежали в XIX-XX веках известной одесской семье греческого происхождения Маразли. В большом деле под названием «Собрание семейных документов баронов Фредериксов»[1], хранящемся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-



Дом Маразли на Пушкинской

Петербурге, приложены документы о вводе в 1909 г. во владение заповедным имением одного из наследников Григория Григорьевича Маразли – барона Георгия Владимировича Фредерикса (который с декабря 1910 г. носил двойную фамилию Фредерикс-Маразли)[2]. В это заповедное имение (или майорат)*, созданный по ходатайству Г.Г. Маразли указами императора Александра III от 13 февраля 1889 г. и 11 февраля 1891 гг.,[3] входили в числе прочего: «3 дома в г. Одессе, 1 часть, первый – в 1 квартале, на углу Пушкинской и Ланжеронской улиц, № 15 и 16, со стоящими при оном строениями и землей, пространством 617,5 квадратных сажен. Второй – 3 квартал, на военном форштате, под № 13 и 14, на углу Дерибасовской и Пушкинской улиц, со стоящими при оном строениями и двором, пространством 600 кв. сажен земли и третий – в Железном ряду, что ныне Красный (Греческий) переулок, в 3 отделении, под № 7…». В этом же деле приложены купчие, по которым Григорий Иванович Маразли приобрел данную недвижимость.

Так, дом с современным адресом Пушкинская, 4, угол ул. Дерибасовской, 8, а согласно тексту купчей, «состоящий в г. Одессе, Военном форштате, в 3-м квартале, № 13 и 14, со всеми принадлежащими к нему строениями и местом: в длину – 30, в ширину 20 аршин. саженей [так в тексте]» был приобретен Г.И. Маразли 5 декабря 1822 г. у одесского 1-й гильдии купца Василия Спиро-Ксениса за 86500 руб. ассигнациями, а соседний дом с современным адресом Пушкинская, 2, угол Ланжероновской, 9, согласно купчей, «состоящий в г. Одессе, в 1-й квартал, №№ 15 и 16, со всеми имеющимся при нем строением и землей, мерой: длину – 30, ширину – 19 саженей» был приобретен им же 3 марта 1830 г. за 24500 руб. ассигнациями у отставного поручика барона Осипа Григорьевича Миллер фон Рефенштейна по доверенностям, выданным ему родными братом и сестрой – бароном Александром Григорьевичем Миллер фон Рефенштейн и коллежской асессоршей Агнией Нечаевой[4].

* Создание заповедного имения или майората подразумевало, что определенное заранее недвижимое имущество – имения и дома – после смерти владельца такого заповедного имения наследует лицо из числа его потомков или родственников, заранее определенное учредителем майората и обозначенное в соответствующем императорском указе.



Список памятников архитектуры приводит сведения об этих домах: «Будинок Маразлі (готель «Європейський»), 1835, арх. Ф.К. Боффо, Пушкінська, 2, ріг Ланжеронівської» и «Будинок Маразлі, 1856, арх. Л.Ц. Оттон, Пушкінська, 4, ріг Дерибасівської, 8». Принятый 23 сентября 2008 г. Закон Украины № 574-VI «О перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации» (вступил в силу 17 октября того же года), определивший перечень таковых памятников по городам и областям Украины, включает и «Жилой дом Маразли», находящийся на ул. Пушкинской, 4. В графе «время создания» вышеуказанного дома значится дата – 1856 г. Архитектор В.А. Пилявский в справочнике «Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие» сообщает, что по этому адресу располагался особняк Г. Маразли, построенный в 1835 г. арх. Боффо и реконструированный в 1856-1857 гг. арх. Л.Ц. Оттоном. В «Деле о выдаче свидетельства одесскому 1-й гильдии купцу Григорию Маразли в каком квартале и под каким номером дом его состоит на военном форштате»[5] хранится прошение в Одесский строительный комитет содержателя питейных откупов одесского 1-й гильдии купца Григория Ивановича Маразли от 1 апреля 1826 г., в котором он писал: «Покорнейше прошу комитета выдать мне свидетельство что принадлежащий мне дом находится в Одессе оцененный в 107,350 р. состоит на военном форштате в III квартале под № 13 и 14-м. Поелику по страховому документу от Гамбургской огневой кассы мною полученному оный показан на Италианской улице под № 31 включив в оное свидетельство, и то, что сие замешательство произошло от того, что для названия улиц города построены новые таблицы,

по которым та улица, в коей состоит сей дом наименована Италианскою а номер выставлен оному по таблицам сделанным со стороны полиции для счета в городе домов. Содержатель питейных откупов Григорий Маразли». Одесский строительный комитет в резолюции от 5 апреля определил: «архитектору Боффо освидетельствовать в натуре и по городскому плану в каком квартале и под каким номером состоит объявленный дом г. Маразли и донести комитету». В рапорте от 10 мая Боффо сообщал комитету, что дело обстоит именно так, как указывал Маразли, и «что замешательство сие произошло действительно от того г. Маразли объясняет в своем прошении». Также в другом источнике за 1827 год, «Сенатских объявлениях», упоминается дом одесского купца 1 гильдии Григория Ивановича Маразли, «состоящий в г. Одессе, в военном форштате, в 3-м квартале под номером 13 и 14», на который Херсонской палатой гражданского суда был наложен запрет (иначе говоря, дом попал в залог). В том же источнике за 1836, 1839 гг. сообщалось, что был наложен запрет на дом Григория Ивановича Маразли, одесского 1 гильдии купца и почетного гражданина: «Налагается запрещение на дом его свидетельству, запрещается дом, состоящий в г. Одессе, на военном форштате, 3 квартал, номер 13 и 14, оцененный в 180 тыс. рублей». В дальнейшем на данный дом налагалось запрещение и в 1842, 1843, 1848 гг. (в 1843 г. дом был оценен в 31000 руб. серебром). На карте г. Одессы конца 1820-х гг. дома под номером 13 и 14 в 3-м квартале военного форштата находятся на углу улиц Итальянской и Дерибасовской и соответствуют современным домам на углу улиц Пушкинской и Дерибасовской, а именно – Пушкинская, 4, и Дерибасовская, 8. В оценочной ведомости, составленной для сбора налога с недвижимости, на 1848 г. Г.И. Маразли принадлежали в начале ул. Итальянской дом и два магазина, оцененные в 12600 руб., и соседний дом, оцененный в 23930 руб. В 1873 г. дом Маразли на Дерибасовской был оценен в 60000 руб., а на Итальянской (Пушкинской) – в 80000 руб.

9 июня 1856 г. сын умершего к тому времени Григория Ивановича, Григорий Григорьевич Маразли, подал прошение в Одесский строительный комитет, согласно которому просил разрешить перестройку и «оштукатурку» принадлежащего ему

существующего дома на Итальянской и Дерибасовской улицах, состоящий на военном форштате в III квартале под № 13 и 14-м, «который от времени пришел в некоторую ветхость»[6]. Далее Маразли пишет: «поэтому я предположил снять в означенном доме для облегчения онаго – мезаник [видимо, мезонин] третьего этажа и обращением ворот – в дверь подъезда с переделкою всех перемычек вновь для предания же фасаду лучшего вида также предложив оный перештукатурить согласно представленному при сем в 3 экземплярах фасаду». Уже 23 июня новороссийский генерал-губернатор, генерал-адъютант граф Строганов утвердил «фасад на перестройку в г. Одессы титулярным советником Григорием Маразли существующего дома, а также и на оштукатурку онаго».

Как указывалось выше, рассматриваемый дом Маразли был в 1856-1857 гг. реконструирован архитектором Людвигом Цезаревичем Оттоном. В книге «Одесса, 1794-1894» сообщается: «Затем можно отметить … и дом Г.Г. Маразли (по Пушкинской улице), замечательный по своей внутренней отделке и построенный тем же архитектором Оттоном в пятидесятых годах»[7]. Интересно, что при бракосочетании архитектора Л.Ц. Оттона в августе 1858 г. Григорий Григорьевич выступил поручителем (свидетелем). В 1878 г. этот дом был оценен в 50400 руб.[8]

В одесских справочниках последней четверти XIX – начала XX века указывается неизменно один и тот же адрес, где проживал Г.Г. Маразли, – ул. Дерибасовская, № 8, собственный дом. Этот же адрес фигурирует в именном высочайшем указе 1889 г., которым предусматривалось создание заповедного имения для Г.Г. Маразли, куда вошли, в числе прочего, и дома «третьего квартала на военном форштадте, на углу Дерибасовской и Пушкинской улиц, под №№ 13 и 14, с строениями и двором, пространством 600 квадратных сажен…». В этом доме Г.Г. Маразли и скончался 1 мая 1907 г. После кончины Г.Г. Маразли дом унаследовал его внучатый племянник (внук сестры) барон Георгий Владимирович Фредерикс (1890-1927), присоединивший к своей фамилии фамилию двоюродного деда и именовавшийся Фредерикс-Маразли. Согласно материалам Государственного архива Одесской области, вышеуказанный дом принадлежал барону Г.В. Фредерик-



су-Маразли еще в 1918 году. В 1920 г. дом был национализирован. Внешне вышеописанный дом не выделяется из многих подобных ему. Частично перестроенный, он, тем не менее, сохранил облик, оформленный при жизни Григория Григорьевича Маразли, – изысканный интерьер, старинные венецианские зеркала, камины, изящество деталей. Этот дом регулярно посещали представители одесской элиты – актеры, литераторы, художники, приезжавшие в Одессу иностранные монархи, высшие сановники. Здесь проводились заседания различных благотворительных обществ, устраивались благотворительные распродажи. Ныне здесь расположено одесское базовое медицинское училище.

Дом под № 17 и 18 в том же квартале – это нынешний дом по ул. Пушкинской, 2, угол Ланжероновской, 9, в котором размещалась гостиница «Европейская». В 1858 г. был наложен запрет на дом Г.Г. Маразли, состоящий «в г. Одессе, 1 часть, на Итальянской и Ланжероновской улицах, 1 квартал, под номерами 15 и 16, а по плану в 3-м квартале, под номерами 17 и 18, оцененные 81 тыс. рубл.». В более ранних источниках этот дом фигурирует под номерами 15 и 16. В январе 1829 г. Одесский городовой магистрат по прошению Г.И. Маразли выдал свидетельства на дома и магазины его, состоящие в Одессе, в том числе в 1-й части города, на военном форштате, под № 15 и 16, оцененный в несгораемых материалах в девятнадцать тысяч, а в сгораемых в четыре тысячи рублей ассигнациями[9]. В 1837 г. было наложено запрещение на магазин Маразли, «крытый железом, состоящий в г. Одессе, 1 части, 1 квартала, номер 15 и 16»[10].

В ГАОО хранится проект главного и бокового фасадов дома Г.И. Маразли на ул. Пушкинской, 2 угол Ланжероновской, составленный архитектором Ф.К. Боффо и датированный сентябрем 1835 г.: «План для построения по оному в три этажа дома одесского 1-й гильдии купца Григория Маразли … состоящий в 1-й части в … квартале [цифру видно нечетко. – **Авт.**], под № 15 и 16»[11]. (№№ 15 и 16 относятся к Греческому базару, причем тоже к 3-му кварталу, оттого, вероятно, и путаница). Из-за нечеткости номера квартала в каталоге «Архитектурные объекты г. Одессы» (Одесса, 2003 г.), он был воспроизведен с ошибочным комментарием: квартал III указан как L. Самого дела о постройке этого дома в фонде Одесского строительного комитета не сохранилось в связи с утратой[12]. В 1840 г. было наложено запрещение на «каменный дом, состоящий в городе Одессе, на военном форштате на вновь назначенном для застроения лавок площади под номерами 15 и 16»[13].

В 1843 г. были наложены запрещения на недвижимость Маразли: «на каменный дом его, состоящий в г. Одессе, 1-я часть, форштате, под номером 15 и 16, оцененные в 3 тыс. рублей серебром, на каменный дом его и магазин, состоящие в г. Одессе, 1-я часть, 1-й квартал, под номером 15 и 16, оцененные в 17100 рублей серебром»[14]. На этот же дом запрещение налагалось также в 1838, 1840, 1841, 1842, 1843, 1858 гг. Этот дом был оценен: в 1843 г. – 17100 руб. серебром, в 1858 г. – 17760 руб.), в 1878 г. – 48090 руб. Этот дом был включен в 1889 г. в созданный Маразли майорат, при этом указано, что дом находится «в 1 квартале, на углу Пушкинской и Ланжеронской улиц, № 15 и 16, со стоящими при оном строениями и землей, пространством 617,5 квадратных сажен». А.А. Скальковский, в 1860-е годы редактор главного статистического комитета Новороссийского края, писал в «Записке о торговых и промышленных силах Одессы в 1859 году»: «…первые учреждения, которые появились в Одессе, еще прежде чем она была окрещена, по желанию С.-Петербургской Академии наук этим именем, были: Хаджибейская таможня и Хаджибейский карантин. Начнем с таможни: она торжественно открыта 12 апреля 1795 г., в небольшом домике, на том месте, где теперь новый дом Маразли, на углу Итальянской улицы. 14 июля, вместо Хад-

жибейской, она названа «Одесскою»[15]. Вероятнее всего, дом Маразли, построенный на месте таможни, о котором писал Скальковский, был именно домом на углу Пушкинской и Ланжероновской. С середины XIX в. этом доме расположилась гостиница «Европейская». К.А. Скальковский, сын вышеуказанного историка, в своей книге «Воспоминания молодости (по морю житейскому)» отмечал: «За семь лет моего отсутствия Одесса вообще мало переменилась… Европейская гостиница заменила на Итальянской развалины дома, принадлежавшего Маразли, который не достраивался, как говорили, из опасения духов, а в действительности, кажется, из-за какого-то процесса с малолетними под опекою»[16].

Примечания

[1] Российский государственный исторический архив, г. Санкт-Петербург (далее – РГИА), ф. 1101, оп. 2, д. 303.

[2] Подробнее о нем см. в публикации: Решетов С., Ижик Л. Городской голова Одессы Г.Г. Маразли и его родственное окружение // Дерибасовская – Ришельевская: одесский альманах. – Одесса, 2007. – Кн. 31.

[3] Указ Правительствующего Сената об обращении имения Г. Маразли в заповедное (1889 г.) // ГАОО, ф. 35 (старший нотариус одесского окружного суда), оп. 1, д. 1973 (утрачено); Полное собрание законов Российской империи. Том IX. 1889. № 5776. – Февраля 13. – С. 62-63; Собрание узаконений и распоряжений правительства. – 1889. – 25 февр. № 19. – Ст. 142. С. 321-323; Полное собрание законов Российской империи. Том XI. 1891. № 7444. – Февраля 11. – С. 61; Собрание узаконений и распоряжений правительства. – 1891. – 26 февр. № 18. – Ст. 169. – С. 370.

[4] РГИА, ф. 1101, оп. 2, д. 303, л. 1, 3, 3 об. Сообщено А.В. Лебединской.

[5] Дело о выдаче свидетельства одесскому 1-й гильдии купцу Григорию Маразли в каком квартале и под каким номером дом его состоит на военном форштате // ГАОО, ф. 59 (Одесский строительный комитет), оп. 1, д. 565.

[6] По прошению титулярного советника Григория Маразли об утверждении фасада на перестройку дома // ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 1805, л. 1.

[7] Одесса, 1794-1894. Изд. Городского общественного управления к столетию города. – Одесса, 1895. – С. 412.

[8] Раскладочная ведомость Херсонской губернии города Одессы о государственном налоге и земском в пользу казны и земства сборе определенных на недви-

жимые имущества на 1878 год (опубликована в приложении к «Ведомостям одесского городского общественного управления» за май 1878 г.). – С. 3.

[9] Одесский вестник. – 1829. – 19 января. – № 6.

[10] Сенатские объявления. – СПб., 1837 . – № 21497. – Стр. 21497. Сообщено А.В. Лебединской.

[11] ГАОО, ф. 895, оп. 1, д. 253.

[12] ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 442 (утрачено).

[13] Сенатские объявления. – СПб., 1840 . – № 3848. – Стр. 907-908.

[14] Сенатские объявления. – СПб., 1843 . – № 16530, 16531. – Стр. 1738.

[15] Скальковский А.А. Записка о торговых и промышленных силах Одессы в 1859 году // Записки Императорского русского географического общества. – Кн. 3. – СПб., 1864. – С. 168-169.

[16] Скальковский К. Воспоминания молодости (по морю житейскому). 1843-1869. – СПб., 1906. – С. 159.

Автор благодарит А.В. Лебединскую и О.И. Губаря
за помощь в работе над статьей.

Александр Дорошенко

Пророк без отечества

«И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен…

Господь сказал [Моисею]: кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? …итак пойди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить»*

Я
Довид-Ари бен Меир,
Сын Меира-Кто-Просвещает-Тьмы,
Рожденный у подножья Иваноса,
В краю обильном скудной мамалыги,
Овечьих брынз и острых качкавалов,
В краю лесов, бугаев крепкоудых,
Веселых вин и женщин бронзогрудых,
Где средь степей и рыжей кукурузы
Еще кочуют дымные костры
И таборы цыган;

Я
Довид-Ари бен Меир,
Кто отроком пел гневному Саулу,
Кто дал
Израиля мятежным сыновьям
Шестиконечный щит;

* «Исход»

Я
Довид-Ари,
Чей пращ исторг
Предсмертные проклятья Голиафа, –
Того, от чьей ступни дрожали горы, –
Пришел в ваш стан учиться вашим песням,
Но вскоре вам скажу
Мою.

Я помню все:
Пустыни Ханаана,
Пески и финики горячей Палестины,
Гортанный стон арабских караванов,
Ливанский кедр и скуку древних стен
Святого Ерушалайми.

И страшный час:
Обвал, и треск, и грохоты Синая,
Когда в огне разверзлось с громом небо
И в чугуне отягощенных туч
Возник, тугой, и в мареве глядел
На тлю заблудшую, что корчилась в песке,
Тяжелый глаз Владыки-Адоная.

Я помню все: скорбь вавилонских рек,
И скрип телег, и дребезги кинор,
И дым, и вонь отцовской бакалейки –
Айва, халва, чеснок и папушой, –
Где я стерег от пальцев молдаван
Заплесневелые рогали и тарань.

Я
Довид-Ари бен Меир,
Тысячелетия бродившее вино,
Остановился на песке путей,
Чтобы сказать вам, братья, слово
Про тяжкий груз любови и тоски –

Блаженный груз моих тысячелетий

В звучании этих стихов что-то даже не тормозит восприятие, но странным прикосновением удивляет, не отторгает, нет, но оно иное, непривычное. Косноязычный странный сплав…

Я
Довид-Ари бен Меир

Его отца звали Меир, это означает «свет».

Ему потом объяснили знающие люди, что в языке русском так не бывает, что есть правила и каноны, что… Эти знающие ребята всегда отличаются надежным знанием и бесплодностью. Такое знание идет об руку с творческой импотенцией.

Пришел в ваш стан учиться вашим песням,
Но вскоре вам скажу
Мою…

Он и сам знал, что это чужой стан. Что его голос из иного мира, конечно, из мира русской словесности, но и еще откуда-то, а откуда, он не понимал и сам… Это был голос самых первоначальных времен, необработанный голос.

Его поправили, ему надавали советов. Так, собственно, получилось и с неведомым ему поэтом советской России Иосифом Уткиным, которому поправили до неузнаваемости голос. Но Довид Кнут голос свой удержал.

В краю обильном скудной мамалыги,
Овечьих брынз и острых качкавалов…
В краю лесов, бугаев крепкоудых,
Веселых вин и женщин бронзогрудых…

Крепкоудых – это у него от генетической силы… Он так воспринимал и само отношение Бога с человеком, сам акт творения, как в наших земных формулировках мы воспринимаем создание

нового человека. Это первоначальное, отраженное на страницах Библии восприятие мира.

кочуют дымные костры и таборы цыган

Дымные костры и таборы цыганские сами по себе не кочуют. Но если так чувствовать текст, так спотыкаться об научение и привычку, то читать надо иное, например, как Муму бросилась в отчаянии под поезд.

Возник, тугой, и в мареве глядел
На тлю заблудшую, что корчилась в песке,
Тяжелый глаз Владыки-Адоная…

Тяжелый глаз Владыки…

Все, что в нем было, в Довиде, было уже изначально, потому что Поэт рождается путем Откровения. Боль чужбины только обострила это восприятие мира. Как противостояние Бога и человека.

Блаженный груз моих тысячелетий

Родившись в забытой Богом Бессарабии, на самом краю цивилизации, уйдя от языка предков и восприняв материнским именно русский язык, язык Великой русской литературы, переместившись из этой дыры непосредственно в Париж, в самое средоточие парижской художественной и культурной богемы, Довид странным образом ощущал время, его движение и состояние, – над его головой были именно библейские небеса и простертая рука Бога.

В памяти его, в еврейской памяти предков, генетически закрепленной тысячелетиями гонений, лишений и презрения всех народов, сквозь которые им приходилось идти, в этой памяти напряженной струной звенела несокрушимая уверенность в первородстве.

Он так и назвал первую свою и самую главную книгу, косноязычно, «Моих тысячелетий». Его во всех рецензиях хвалили

и поправляли, поэта из южнорусской провинции, прихрамывавшего на «русский язык». И забыли или не смогли понять данное нам в память отсветом вечности, – как прихрамывал праотец наш Иаков после ночи, проведенной в борьбе с самим Богом, – Иаков, не уступивший Богу и ставший Израилем.

Довид-Ари бен Меир

В этих новых временах Богу с пророками стало трудно.

Он с нами говорит только через пророков, потому что сам Он напрямую говорить с нами не может. По-прежнему время от времени Он продолжал посылать к нам пророков, чтобы вразумить и предупредить. Надо верить, что посылал, иначе трудно осознать и примириться с бедствиями нашей земной жизни. Но эти люди, отмеченные Богом, большей частью уже не понимали своего высокого предназначенья. Сын портного так и оставался портным, а сын владельца бакалеи становился бакалейщиком. Они всю жизнь чувствовали какое-то странное неудобство, но смысла его и причин не понимали.

Пророками они не становились, и Слово Божье к нам не доходило.

Для того чтобы пророк состоялся, его необходимо услышать. Дальше он бессилен. Дальше это уже наше земное дело, суметь прочесть и понять. И есть книги, так никогда и не заговорившие с нами, книги, в которых звучит голос Бога в пустыне нашего небытия.

Но в преддверии катастрофы Он сумел к нам докричаться.

В начале самого страшного столетия два больших пророка пришли к нам на землю. Бог послал их в самую болевую точку мира, в Россию, но, как и положено, Он выбрал пророками людей из своего Народа, народа евреев. Голос Бога, звучавший эхом русского народа, был озвучен евреями по происхождению. Евреи это народ Книги. Эти двое и были из народа Книги, только теперь, в этих новых временах, они понимание Книги для себя расширили. Это были эмансипированные евреи. Они, как и их предки, считали единственно важным в мире людей, в нашем земном мире,

Слово. Но Словом они теперь занимались сами, творя свое, новое Слово. Конечно, им только казалось, что делают это они сами, по своему произволу. Нам кажется, что рука наша ведет перо, подчиняясь велению сердца. Но в тех немногих случаях, когда нам даровано создать Текст, нашу руку ведет Бог. Он направляет ее, вчитывается в легшие на бумагу слова и строки и заставляет переписывать, возвращаться еще и еще, пока слова не займут отведенное им первоначальное место, а строка не заговорит. В каждой из немногих настоящих записанных на земле строк слышен голос Бога.



Довид Кнут

На этот раз Бог отправил своих пророков к разделившемуся народу России. Поэтому они говорили на русском языке, хотя пророки должны говорить на языке Бога. Это впервые Бог посылал на землю пророков ко всем народам земли, а не только к евреям.

К оставшимся на родине Он послал пророка, чтобы предупредить о грозящей беде. Имя у этого пророка было странным по звучанию – Бабель. Звали его, естественно, Исаак. У него были внимательные глаза, цепкий взгляд, и слово его было раскаленным углем, брошенным в лицо и глаза слушателей. В отчетливой тишине звучали его слова о том, кто мы и кем мы можем стать, во что превратиться, если не опомнимся. Этого пророка люди убили. Только очень немногие расслышали его голос. Он говорил об одичании, о грани, за которой кончается дарованная нам благодать, быть и оставаться людьми, и где мы возвращаемся в перво-

бытное дикое состояние, когда людьми мы еще не были. На страницах Библии неоднократно отмечено, что люди не любят пророков и пытаются сначала закрыть себе уши, чтобы не слышать этих раскаленных слов, а затем закрывают пророку глаза и рот.

К ушедшим в изгнание Он послал пророка-утешителя, чтобы успокоить и утешить больное сердце изгнанников. Чтобы даровать надежду. Имена у евреев этих новых времен были странными для народов окружения и, конечно, для русского народа, и поэтому имя этому пророку Бог определил русским по звучанию словом «Кнут».

Звали его Давид, и он назвал себя, по велению Бога, Довидом Кнутом.

Да, я повинен в непомерном счастьи –
И в простоте своей ликую я.
Я утверждаю – самовольной властью –
Досмысленную радость бытия.

Трудна судьба: средь грузных и бескрылых
О легкости, о небе говорить,
Средь полумертвых, лживых и унылых
Бороться, верить, радоваться, быть.

Я вас зову в сообщники и братья,
Не презирая вашей слепоты,
Услышьте же дыханье благодати
Над этим миром трудной суеты.

Настойчиво спасая вас от смерти,
Я вас прошу: для вас – и для меня –
Предайтесь мне и голосу поверьте
Утерянной отрады бытия.

Имя его Давид Миронович Фиксман, но под таким именем стихов не написать! Он назвал себя Довид, а имя Кнут, возможно, стало памятью о России*. Он вышел даже не из России, а из Бессара-

* Вроде бы, Кнут – это девичья фамилия его матери.

бии, где прошли его детство и юность. Жил и боролся во Франции, и умер в Израиле. Отец его Меир (Мирон) Фиксман держал в Оргееве, неподалеку от Кишинева, небольшую бакалейную лавку, где Давид помогал ему торговать.

Айва, халва, чеснок и папушой, –
Где я стерег от пальцев молдаван
Заплесневелые рогали и тарань.

Там, в Оргееве, было старинное еврейское кладбище. Оно существует и сегодня, лежат там мертвые, но на поверхности, вероятно, не многое уцелело. Эта земля смешалась с еврейским прахом, и навечно она теперь часть земли Израиля.

У Михаила Светлова в поэме «Хлеб» описан именно такой еврейский мальчик из бакалейной лавки, ненавидевший ее, все эти «заплесневелые рогали и тарань», много читавший, и благоговевший перед именем Пушкина. Близкими были судьбы самого Светлова, Иосифа Уткина и Эдуарда Багрицкого. Эти ребята уходили в новый, открывшийся мир, а в нем определяюще главным для них были русский язык и русская литература. Они мало что, кроме ярких воспоминаний детства, оставляли за своими плечами.

Меня учили: крыша – это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол…
Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня бросают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.
Дверь! Настежь дверь!..

Так когда-то из лавки колониальных товаров ушел в русский язык Антон Чехов. Такая лавка, насквозь и навсегда пропахшая чесноком и таранью, отличная отправная точка для начала пути.

Но в русской бакалейке были только чеснок и водка, в еврейской, в задней комнате, непременно лежала Тора.

Особенный «еврейско-русский воздух», где он мог вдохнуть его, – неужели в этом молдавском Оргееве? Этот воздух был в моем городе, в Одессе, где русский язык жил вдалеке от России, где он стал особым, южным, напевным, где его так ощутил Пушкин. Стихи он начал писать рано, еще в Бессарабии. Но в России, на родине, он не успел ничего опубликовать. Он жил на самом краю России, вдалеке от ее культурных центров, но этого хватило, чтобы духовное поле этой земли уловило его в свои сети. Особенный еврейско-русский воздух пронизывал насквозь эту землю, в нем было море и солнце, в нем был растворен могучий несмолкаемый говор великой южной столицы, Одессы, он пронизывал эти пространства земли, он выпрямлял походку, делал зрячими глаза, он рождал независимость, растворенную в нашей крови, ту независимость и веру в себя, которая в любых земных бедствиях позволяет выстоять и сохраниться. Сохранить душу…

О юности его сохранилось мало достоверных сведений. Семья была многодетной, и часть детей погибла в кишиневском погроме. В 1918 году Бессарабию аннексировали румыны, и в 1920 Довид эмигрировал в Париж. С ним были сестры и младший брат. Двадцатилетним попав в Париж, он перепробовал множество профессий. Он работал с еврейской основательностью, трудолюбием и изобретательностью. Довид имел профессиональное образование инженера-технолога*. Он занимался ручной раскраской материи и держал одно время красильную мастерскую. Служил на сахарном заводе. В двадцатых годах Довид держал дешевый ресторан в Латинском квартале, где подавали его сестры и брат. Это было насущным куском хлеба, надо было жить, помогать сестрам, надо было превозмочь нищету.

Но главное, заключенное в нем, невысоком и худеньком, главное – это было Слово. Оно продолжало жить, оно хранилось в его душе, как зерно, должное прорасти в срок. Слово это было от происхождения, памятью Народа, народа Книги, народа, который никогда, в любых немыслимых для иных народов земли бедст-

* В 1924 году он окончил Каннский университет.

виях, стоя постоянно на краю могильной ямы, никогда не позволял себе и никогда не позволил забыть свое святое предназначение – Книгу, врученную однажды Богом Моисею, Книгу, которая и стала смыслом жизни Народа…

Был он некрасив, небольшого роста, черноволосый и длинноносый, и были у него большие и, конечно же, грустные еврейские глаза. Вспоминает Андрей Седых: «Однажды в «Хамелеоне» появился юноша с лицом оливкового цвета, с черными, как смоль, вьющимися волосами – настоящий цыганенок». Маленький и невзрачный, он обладал фантастическим влиянием на женщин. Он как бы повторял своего предшественника, тоже частично «молдаванина», Александра Пушкина.

Большой пророк вполне умещается в небольшом теле.

Очень живой и общительный, Довид в 20-30-е годы был одним из создателей и самых активных участников множества литературных объединений «русского Парижа». Во второй половине двадцатых он посещал «Зеленую лампу», салон Гиппиус-Мережковских, а принимали там далеко не всех. В результате он познакомился и сблизился с В. Ходасевичем. Дружил с Ю. Терапиано, А. Гингером…** Дружил с Ниной Берберовой, и странным образом, она не написала о нем ничего порочащего, хоть и близко знала. Пожалуй, он единственный, о ком эта стервозная баба ничего плохого не сказала. Такое надо заслужить!

Стихи писал на русском материнском языке. Публицистику на французском. Иврит так никогда и не освоил, даже попав в Израиль.

Есть исключительный дар высоты, равнозначный как в поэзии, так и в прозе. Таким был Александр Сергеевич Пушкин. Есть талантливые писатели, чье поэтическое творчество незначительно, например, Иван Бунин или Владимир Набоков. Странность в том, что обладая развитым чувством текста, они своей поэтической несостоятельности не ощущали. Есть поэты, кото-

** Именно Довиду Кнуту принадлежит мысль о том, что «литературная столица России теперь не Москва, а Париж», высказанная им на одном из первых заседаний «Зеленой лампы». Конечно, это было преувеличением значимости разрозненной парижской литературной среды, несогласованной в горизонтальном пространстве отсутствием школ и направлений и разорванной в вертикальном, где старшие и молодые поколения никак связаны не были. Но это давало утешение эмигрантскому сердцу, лишенному родины и всякой почвы, лишенному даже самой надежды эту родину когда-нибудь обрести вновь (Прим. автора).

рым не следует обращаться к прозе, не следует опускаться на землю. Таким был Довид Кнут.

В 1925 году вышла книга стихов с косноязычным названием «Моих тысячелетий», обрывком фразы из стихотворения, открывающего этот томик. Косноязычие это вовсе не было от плохого знания русского языка, но что-то иное, громадное своей громадностью, не могло быть выражено на русском. Ему нужна была иная основа для выражения. В основе русского языка Довида Кнута лежал язык древней прародины, памятью об иных, первоначальных небесах. Поэзия Довида это уникальный пример, – как пророк Библии мог бы говорить на русском языке.

Евреи перешли на арамейский еще в период Второго Храма, затем они переходили на греческий, на латынь, на все молодые и новые языки Европы, последовательно и легко их осваивая. Предки Довида во многих поколениях говорили на идиш, но в его поэтическом дыхании ощутим святой язык Библии, язык, на котором увещевали и успокаивали свой народ большие и малые библейские пророки.

Последовательно выходили сборники стихов: «Вторая книга стихов» (1928), «Сатир» (1929), «Парижские ночи» (1932) и «Насущная любовь» (1938). Он часто выступал на поэтических вечерах, читал свои и разбирал чужие стихи. Но кусок хлеба он зарабатывал, как и все молодые литераторы в Париже, тяжелым трудом. В начале 30-х Довид нанялся на работу в немецкую торговую фирму, где с утра до вечера развозил на трехколесном грузовом велосипеде товары по всему городу. Так он попал под колеса автомобиля и в госпиталь, где познакомился с Евой Циринской (Киршнер), а незадолго до этого со своей будущей женой Ариадной Скрябиной, дочерью русского композитора.

Он посвятил ей удивительные слова:

Но как будто мне было предсказано это,
Будто были обещаны мне
Кем-то (кем – я не помню), когда-то и где-то
Этот вечер, и встреча, пятна зыбкого света,
Беспредельная ночь в вышине…

Будто было когда-то обещано это:
Ненасытные руки твои,
Ветер, запах волос, запах позднего лета,
Скорбный голос, любовною скорбью согретый,
Темный воздух последней любви.

Написав в 1939 году цикл стихов «Прародина», Довид больше стихов не писал, и только в 1949 году, перед отъездом в Израиль, издал книгу избранных стихов, но это было всё старое. Это было прощание с миром поэзии. Вся его краткая поэтическая судьба уложилась в границах надежды и веры в истоке и глухого отчаяния в конце.

Молчание свое он объяснял временем, событиями и судьбой. Он сказал Еве Киршнер перед ее отъездом в Палестину в марте 1940 года: «Теперь не время петь». Нечто подобное произошло с Владимиром Жаботинским. Он стал публицистом, редактором еврейской на французском языке газеты «Affirmation», выходившей на протяжении всего 1939 года, и общественным деятелем. Довид Кнут говорит на страницах своей газеты о грозящем всепланетном еврейском погроме. Страшное предчувствие оборвало навсегда его поэтический голос.

Его мобилизовали во французскую армию, но она не смогла и не стала воевать. Это было позорным проявлением деградации нации французов. И предвестником нынешней деградации европейской культуры в целом. 11 июня 1940 года немцы вошли в Париж. Довид и Ариадна отправляются на юг, в не оккупированную часть Франции, в Тулузу. Здесь они создают Еврейскую боевую организацию Сопротивления*. Кнут руководил ею до 1942 года, когда, опасаясь ареста, перешел в Швейцарию, где и скрывался до освобождения Франции. Ариадна осталась в Тулузе, где в мае 1943 года родился их общий сын. Ариадна занималась спасением попавших на французскую территорию сбитых союзных летчиков – их переправкой в Испанию. Она переправляла в Швейцарию и еврейских детей.

* Французское Сопротивление оказалось по национальности участников преимущественно еврейским. Это отметил Шарль де Голль, сказав, что «церковь дала меньше бойцов, чем синагога» (Прим. автора).

22 июля 1944 года Ариадна была расстреляна французскими полицаями. Она была посмертно награждена высшими наградами Франции.

Довид никаких наград не получил.

Стихи Довид Кнут никогда больше не писал. Трагедия и обстоятельства гибели жены преследовала его всю оставшуюся жизнь. Трагедия еврейского народа оборвала его голос. Это случилось и с другим русским поэтом эмиграции, евреем Дон-Аминадо.

Осенью 1948 года Кнут вместе с молодой женой Лией* едет в образовавшееся Государство Израиль. По сути, он приехал в чужую страну.

В Париже он побывал еще дважды, в 1948 и в 1954 годах. Последний раз уже больным.

15 февраля 1954 года Довида Кнута не стало.

Слова Бога, впервые записанные на русском

Косноязычный, как Моисей, он родился и вырос среди иного народа, и говорить научился на чужом языке. Никого не было рядом, кто бы мог расслышать и повторить его голос, его слова. Кто мог бы передать и растолковать их народу.

У Моисея был разговорчивый брат Аарон.

Потому что народ нуждается в толкованиях, и даже Иисус вынужден был говорить с народом в притчах.

Он слов не подбирал, в нем рождалась тяжкая музыка, древняя, на неведомом ему языке, это был даже не иврит, язык его прародины, это был язык, на котором Моисей услышал и смог понять сердцем первые слова Бога, сказанные человеку…

Мы этого языка никогда не знали и, может быть, услышим его в самом конце, в Судный день. И сразу поймем слова, они запасены в нашей душе, – это ее язык.

Вся беда в том, что мы так и не научились понимать язык нашего первородства.

* Молодая актриса Виргиния Шаровская, ставшая Лией Кнут (Прим. автора).

Поэт ощущает ритм, мелодию. Слов еще нет, и надо перевести услышанное на понятный язык людей. Так Пушкин перед произнесением первых слов что-то бормотал, несвязное, неразличимое… Так Мандельштам ходил из угла в угол и что-то невнятное выпевал, бесконечно долго, пока из этой мелодии не рождались слова…

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Неразрушаемая связь.**

Это подложка, первоначальный язык людей, утраченный и рассеянный со времен крушения Вавилонской башни. Он нуждается в переводе и разъяснении.

То, что Довид написал, – это как если бы Бог заговорил на русском языке!***

Стою у моста.
Так пророк носил скрижали.
Стоит тишина у рта.****
Ждет, чтоб губы сжались…

Молчать.
Замкнуть непристойные губы.
На язык неподобный и грубый
Каленая ляжет печать.

В тишине,
Небывалой,
Глушительной,

** Осип Мандельштам

*** Удивляюсь безмерно, – почему Богу для разговора с нами нужны инородцы?! – Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Осип Мандельштам, Довид Кнут… Что мешает Ему сказать слова правды устами коренного носителя? Но если вы хотите различить слова Бога на родном русском языке, – научитесь читать и понимать стихи Довида Кнута! (Прим. автора.)

**** Смотри у Иосифа Уткина: «А омут стоит у рта». Ведь омут и есть тишина, опасная обрушением в бездну (Прим. автора).

Почтительно восстанут уши.
Слушать.

Господи, видишь:
Стою
Мал,
Нем,
Прост.
Аз есмь
Последний пес

Аз есмь
Последняя гнида,
Сосущая Твое вымя…

Молчать.
Растопить в молчании душу.
Слушать.

И вот
В тишине
Мне
Весть:
Есть.

И вот
В тишине
Мне
Песнь:
Есть.

И вот
В тишине
Мне
Знак:
Так.

Господи!
Не дышу.
Не стою.
Не смею –

В небесном ропоте,
В райском топоте,

Синеет –
Реет –
Слово.

Неизъяснимое.
Бесподобное.
Неповторимое.

Такой силы образ был только у Маяковского!

Это параллель-пересказ пушкинского «Пророка», иными словами и образами.

Это слова Моисея, в отчаянии сказанные им Богу: «О, Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен…».

Косноязычный, как Моисей.

Наверное, есть у Бога резоны делать своих пророков косноязычными!

Знание языка – это вовсе не умение подбирать слова!

И, ничего ни в чем не понимая,
Случается, в час гибельный, ночной,
Порой я смысл какой-то постигаю,
Тень правды вдруг мелькает предо мной.

Но рассказать другому не умею.
Но передать словами не могу,
И потому смущен – и цепенею,
Безмолвствую, кощунствую и лгу.

Это называется откровением. Таким методом постижения мира пользовались библейские пророки. Он достался по наследству поэтам. Это передал Александр Сергеевич Пушкин в своем «Пророке»:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.*

Голос Довида Кнута – голос пророка Библии, – если бы тот родился в снежной России, никогда не видел и не знал Иудеи, говорил бы на родном русском, а на иврите с русским акцентом.

Он плохо вмещается в русский язык, этот голос. Или иначе – это впервые в нашем языке звучит его исходная первооснова!

Это не было памятью забытого языка, – он не знал иврит, вернее, так и не смог осилить. Это было основой его существа, памятью «тысячелетий».

Я
Довид-Ари бен Меир,
Тысячелетия бродившее вино

Это единственная известная мне странность, – Бабель, Багрицкий, Светлов были русскими литераторами. Даже Владимир Жаботинский был русский писатель, пока писал. Их язык был в первооснове одесским, южнорусским языком, в основу которого легла интонация идиш.

В Москве Довида могли бы понять, это ведь наш голос, южнорусский, из которого вышла новая литература России. Это голоса Бабеля, Олеши, Ильфа, Багрицкого, Катаева… В Париже его пытались исправить. Пытались сделать правильно русским. Он прислушивался к этим советам, постепенно утрачивая голос.

В основе языка Довида Кнута лежал язык, которым пользовались пророки Библии.

* Александр Пушкин. Пророк. 1826.

Новое вино в старый мех – глупо!

Старое вино в новый мех – опасно!

Но Бог упустил из виду – для такого голоса нужен равноценный слушатель.

Собственно, у Него самого слушателей в этих тысячелетиях было немного.

Народ был в Изгнании, и Господу нужен был среди Народа голос, чтобы быть услышанным.

Довид Кнут русским не был, но и Моисей не был евреем.

Господу виднее, кого послать к своему Народу!

Пророк, когда принес с Синая своему народу скрижали и когда увидел, что народу они не нужны, – разбил их в гневе.

Удивительно, Господь, создавший Пророка и пославший его в мир говорить с народом, прислушивается, что из всего этого выйдет?! И по-человечески огорчается неудачей!

Страшно сказать, – эти уши Господни, они что же, устроены на манер собачьих? Только у благородного пса вот так в момент внимания к внешнему миру «восстают» вертикально уши и чуть поворачиваются в сторону звука, – чтобы лучше слышать.

Мы, люди, так не умеем.

Голос Довида Кнута – это был голос библейского пророка, идущего снежными бесконечными дорогами России.

Сжались губы, и Довид перестал говорить, перестал быть поэтом. У него не было с кем говорить.

Тишина стала у рта.

Кишиневский погром

Довид описал как очевидец все тысячелетия непрерывных погромов, изгнаний, убийств и уничтожений Народа:

Я помню тусклый кишиневский вечер…

Несли на палках мертвого еврея.
Под траурным несвежим одеялом…

За стариками, несшими носилки,
Шла кучка мане-кацовских евреев…*

Большая скорбь им веселила сердце –
И шли они неслышною походкой,
Покорной, легкой, мерной и неспешной,
Как будто шли они за трупом годы…

Пред ними – за печальным черным грузом
Шла женщина, и в пыльном полумраке
Невидно было нам ее лицо.

Но как прекрасен был высокий голос!

Не о худом еврее на носилках
Подпрыгивавшем, пел он – обо мне,
О нас, о всех, о суете, о прахе,
О старости, о горести, о страхе,
О жалости, тщете, недоуменьи,
О глазках умирающих детей…

Еврейка шла, почти не спотыкаясь,
И каждый раз, когда жестокий камень
Подбрасывал на палках труп, она
Бросалась с криком на него – и голос
Вдруг ширился, крепчал, звучал металлом,
Торжественно гудел угрозой Богу
И веселел от яростных проклятий.
И женщина грозила кулаками
Тому, Кто плыл в зеленоватом небе,
Над пыльными деревьями, над трупом,
Над крышею Родильного Приюта,
Над жесткою, корявою землей…

* Мане-Кац это еврейско-русский художник эмиграции, друг Довида, часто изображавший евреев. Довид позже изменил эту строку. Кац – это аббревиатура ивритских слов «коэн цадик», потомков библейского Аарона, Моисеева брата, – что можно добавить к этому?! (Прим. автора.)

…Что было? Вечер, тишь, забор, звезда,
Большая пыль…
Простой обряд еврейских похорон
И женщина из книги Бытия.

Большая скорбь им веселила сердце, –
Они не годы идут за трупом, но тысячелетия…

В отличие от слов Хаима-Нахмана Бялика, посвященных этому страшному погрому, Довид не использует ни яростных, ни обличительных слов. Но страницей Библии возникает яростно танцующая Дебора, «женщина из книги Бытия», и голос ее звучит «угрозой Богу».

Особенный, еврейско-русский воздух

Я помню тусклый кишиневский вечер
Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
Где жил курчавый низенький чиновник –
Прославленный кутила и повеса –
С горячими арапскими глазами
На некрасивом и живом лице…

…Что было? Вечер, тишь, забор, звезда,
Большая пыль… Мои стихи в «Курьере»,
Доверчивая гимназистка Оля,
Простой обряд еврейских похорон
И женщина из книги Бытия.

Но никогда не передам словами
Того, что реяло над Азиатской,
Над фонарями городских окраин,
Над смехом, затаенным в подворотнях,
Над удалью неведомой гитары,

Бог знает где рокочущей, над лаем
Тоскующих рышкановских собак.

…Особенный, еврейско-русский воздух…
Блажен, кто им когда-нибудь дышал.

Еврейский погром в Кишиневе странно начинается образом Пушкина, чтобы завершиться светлыми и самыми нежными словами, когда-нибудь сказанными о нас, о происхождении нашей души…

Еврейско-русский воздух.

Это наш язык, южный, одесский, в котором основой певучести, основой небывалой образности и метафоричности стал язык великой Атлантиды евреев – идиш!

Эту странную мелодию Александр Сергеевич Пушкин услышал на улицах нашего города, и она окрасила его речь.

Позже этот язык определил голос русской литературы двадцатого века!

…курчавый низенький… – прославленный кутила и повеса – *с горячими арапскими глазами на некрасивом и живом лице…* – эти слова, сказанные о Пушкине, есть точный портрет самого Довида Кнута!

Другие берега

Ты отплываешь в поисках новых берегов, заведомо зная, что берегов этих не было, нет, и уже никогда не будет.

Бездомный парижский ветер качает звезду за окном.
Испуганно воет труба и стучится в заслонку камина.
Дружелюбная лампа дрожит на упрямом дубовом столе
Всем бронзовым телом своим, что греет мне душу и руку.
Сжимаются вещи от страха. И мнится оргеевским сном
Латинский квартал за окном, абажур с небывалым жасмином,
Куба комнатного простота нестоличная – и в полумгле
Заснувшая женщина, стул, будильник, считающий скуку.

«О, чуток слух и зряч надменный взгляд
Тех, кто заброшены и одиноки…
Но есть еще – мучительный закат,
Любимые, безжалостные строки.
Еще нередко человечий взор
И молчаливое рукопожатье
Нам облегчает тяжесть и позор
Библейского жестокого проклятья.
В дневном поту и в холоде ночей
Все горше терпкий вкус любви и хлеба.
И вот – в последней нищете своей –
Мы избегаем вглядываться в небо:
В пустыне мира глухи небеса
К слабеющим мятежным голосам,
Что гибнут в синей музыке вселенной…

О, бедность наша, будь благословенна».

Это не от усталости, и даже не от прозрения, что там, в небесах, пустыня, – это от высокомерия по отношению к Богу!

В России, где он родился и провел детство и юность, на него обрушился страшный кишиневский погром. Родная страна лишилась осязаемой плоти, и плотью стало Слово, которое он унес с собой в изгнание.

Во Франции его ждала нищета. В мире, где было холодно и пусто, у него остался русский язык, ставший спасением.

Израилю, молодому строящемуся государству, было не до него. У него был голос Пророка, но пророку необходим народ, с которым он мог бы говорить.

Мы были еще юным народом, и время пророков для нас еще не наступило. Народу Израиля, осознавшему свои цели и поверившему в свое дело, не было нужды в пророках.

Так казалось первоначально.

Библия завершилась задолго до его появления на свет. Пророков в Израиле больше не было, – не потому что Господь перестал посылать Своему народу пророков, – но народ утратил возможность слышать их голос!

Отойди от меня, человек, отойди – я зеваю.
Этой страшной ценой я за жалкую мудрость плачу.
Видишь руку мою, что лежит на столе, как живая, –
Разжимаю кулак и уже ничего не хочу.

Отойди от меня, человек. Не пытайся помочь.
Надо мною густеет бесплодная тяжкая ночь.



Юрий Кудлач

Ариетта

– Серега, тебя проректор вызывает.

Анна, секретарь ректора, сообщившая Сергею эту весть, была его тайной страстью. Не очень красивое простоватое лицо ее многократно компенсировалось длиннющими стройными ногами. Походкой она напоминала легко гарцующую молодую лошадку. Густая челка, доходящая до самых слегка раскосых зеленоватых глаз (ядра – чистый изумруд, повторял про себя Сережа), и собранные на затылке в конский хвост черные волосы делали эту ассоциацию почти конкретной. Когда Сережа видел ее волнующуюся при ходьбе грудь, он впадал в ступор и отчаяние. Анька все это прекрасно видела, понимала и жестоко кокетничала с ним. Иногда она даже позволяла ему слегка потискать себя в каком-нибудь темном консерваторском уголке. Но всегда вовремя кошачьим движением уворачивалась, когда он, тяжело дыша и плохо соображая, пытался задирать ее короткую юбку. «Тс-с! – говорила она, прикладывая пальчик к сочным губам, – низ-зя!» И многообещающе улыбаясь, исчезала за углом. По всей видимости, Анне нравились его бесплодные домогательства. Она даже сама назначала ему свидания, сценарий которых всегда оставался неизменным. «Москва – динамо, а ты – упрямо», – саркастически комментировал Сережины переживания Игорек, его консерваторский друг и конфидент.

– Тебя проректор вызывает, – повторила Аня. И заговорщицким шепотом добавила: – Завтра в девять у Дюка.

Вызов к начальству ничего хорошего не обещал. И хотя Сережа себя ни в чем виноватым не чувствовал, он заволновался – да мало ли что им там в голову придет. Эти ребята всегда найдут к чему прицепиться. Но на этот раз пронесло. Проректор вызвал

его для того, чтобы предупредить Сережу, что он в обязательном порядке должен принять участие в концерте для какой-то московской комиссии.

– Надо им напомнить, – сказал проректор, – что их хваленые москвичи это бывшие наши одесситы.

Проректор был большим патриотом родного города.

Выйдя из высокого кабинета, Сережа пошел к своему учителю, чтобы сообщить ему новость и обсудить программу для этого выступления.

С Павлом Яковлевичем Гальпериным, которого за непомерную любовь к Шопену и по созвучию с именем-отчеством за глаза называли Полякыч, у Сережи Оленина были не совсем обычные отношения студента с профессором. Если бы не гигантская разница в статусе и возрасте, их можно было бы назвать дружескими. Добрейший Павел Яковлевич любил Сережу, как собственного сына. Он, не скрывая, гордился тем, что в его классе учится такой яркий, такой талантливый пианист с большой перспективой. Полякыч всячески опекал своего любимца и даже иногда, зная о том, что тот из очень бедной семьи, снабжал его деньгами. Делал он это с ловкостью трамвайного вора – как бы по-отцовски приобнимая Сережу, он незаметно засовывал ему в карман десятку, а иногда и двадцатипятирублевую купюру. Когда Сережа первый раз обнаружил в своем кармане деньги, он долго не мог понять, как они туда попали. Отбросив все невозможное, он вычислил Павла Яковлевича. Краснея от раздиравших его душу противоречивых чувств – благодарности, стыда, радости – деньги-то позарез нужны, он пошел объясняться. Гальперин выслушав его сбивчивую речь, отпираться не стал:

– Сам был молодым и бедным. Тебе эти гроши карман не оттянут – девочки-припевочки, белы рукава. Да и друзей иногда бокалом пива угостить… Ты пиво пьешь?

– Да что вы, Пал Якч! Какое пи… Ну, пью. Иногда.

– Вот видишь! – обрадовался профессор. – Значит, десяткадругая тебе лишними не будут.

– Неудобно мне, Пал Якч. Что это вы мне, прямо как нищему…

– Это, Сережа, не милостыня, а выгодное вложение капитала: станешь лауреатом – отдашь.

С той поры Гальперин перестал исхитряться, а деньги, которыми он подкармливал Сережу, называл «законные лауреатские».

– Ну и хорошо, что тебя в этот концерт поставили, – сказал Полякыч, – почетно! Ты будешь защищать честь вуза. Надо из твоей программы выбрать что-то такое, чтобы всех наповал. Сыграешь Двенадцатую рапсодию Листа и «Кампанеллу». Скажу откровенно, хотя это и не очень педагогично: так, как ты «Кампанеллу» играешь, у нас давно никто не играл, – помолчал и добавил: – Пожалуй, со времен Мили Гилельса.

– Тихо, тихо, – спохватился он, видя, как Сережа расправил плечи, – ноздри не раздувай и не строй тут из себя Конька-Горбунка. До уровня Гилельса тебе еще расти и расти. И неизвестно, дорастешь ли. Так что, иди заниматься. Нечего тут!

– Да я что? Я ничего… – Сережа завздыхал и стал переминаться с ноги на ногу.

– Ну, что ты стоишь? Иди, я сказал.

– Пал Якч, – робко сказал Сережа, – а можно я лучше 32-ю сонату Бетховена сыграю? Я же к бетховенскому конкурсу готовлюсь. Тут такой случай – можно обыграть: наверняка полный зал будет.

Гальперин поморщился:

– Ну, зачем тебе эту философию разводить? Публика официальная, может неправильно понять. Хотя… С другой стороны… Иди, я подумаю.

…Едва перебирая ватными от животного ужаса ногами, Сережа кое-как добрался до рояля. Он начал выступать еще в младенчестве и должен был бы к сцене давно привыкнуть. Привыкнуть должен был. Но не привык. Дорога от кулисы к роялю была его Via dolorosa. И в этот раз, сгибаясь под тяжестью своего креста, он шел, физически ощущая на себе холодные любопытные взгляды. «Да как он смеет?! Распни его!» – молчаливо кричала толпа. Подавляя желание прикрыть голову руками, Сережа схватился за спасительную черную глыбу рояля и не сел – упал на широкий плоский табурет. Пошарил правой рукой под сиденьем, нащупал винт, крутанул, слегка опуская плоскость, и замер, положив на колени напряженные руки. Он ждал, пока наступит тишина. Ему всегда казалось, что эти секунды перед началом наполнены

высокомерием и недоброжелательством публики – ну-с, дескать, посмотрим-посмотрим, поглядим, чего ты тут расселся. А играть-то ты умеешь? Внезапно Оленина охватила злоба. Это необходимое состояние, спасительное, и оно не всегда приходило вовремя. Но сегодня оно пришло. Страх куда-то исчез, Сережа поднял руки, и мрачный императив начала великой сонаты опус 111 вспорол тишину зала. Молнией сверкнул заключительный пассаж первой фразы и, хотя следующая за ним пауза была короткой, как человеческая жизнь, Сергей внутренним взором успел увидеть, что от этого напора, от этого посыла, от этой бешеной энергии публика будто качнулась назад. «Все. Зал мой!» – мысль взлетела под потолок и рассыпалась шипящими искрами.

……..

Почему мне так тревожно, Лепорелло? Ведь мы здесь одни – я и Донна Анна. Как холодно в этом огромном рыцарском зале, как пусто. И Донна Анна – она, как лед, которого не растопить. Где найти слова, где их взять? Почему ты плачешь, Анна, Анечка моя? Ты боишься? Кого? Меня? Себя? А что это за колючие секунды в малой октаве? Они идут вниз, вниз. Их нельзя удержать. Я не могу их удержать, у меня нет сил! Мне остается только следовать за ними. Я не хочу! Не хочу!!! Но они неумолимы. Вот они уже в большой октаве. Куда же ниже – ведь скоро конец, клавиатура кончается. Аня, смотри, они уводят меня от тебя. Ты снова отказываешь мне. А что это за глухой рокот там, внизу, в подземелье? Шаги… Кто это? И вот она – Тема! Три тяжелых удара в дубовую дверь! Не открывай, Анна! Молю тебя, не открывай! Я сам его позвал, будь оно все проклято! Опять он стучит! Дверь настежь! Что за адские вихри?! До, ми бемоль, си – три удара! Это Командор, это судьба, не уйти, не спастись! Душа дрожит – струна ничто в сравненьи с этим напряженьем. Держись, Сережа, держись! Еще три такта. Два! Один! Ф-ф-фу! Можно чуть-чуть передохнуть, дыхание перевести. Это побочная. Как она нежна. Сколько любви. Можно, я к ней только слегка прикоснусь? Как бы я хотел здесь навсегда остаться… Но нельзя, нельзя… Вперед! Не миновать того, что предписано судьбой. Вот, вот самое страшное. Ревущий водопад! Понеслась душа в рай! Фугато! Оно рвется из рук. Терпи, Сережа! Удерживай, удерживай, иначе захлестнет…

Проскочил! А что это за жуткие, мрачные уменьшенные аккорды? Так ведь это… Не может быть! Неужели конец? Да, всё – это ступеньки в преисподнюю. Надо идти. Я гибну – кончено – о, Донна Анна!

……

Сережа медленно отклеил руки от последнего аккорда, подержал полсекунды в воздухе и плавно погрузил их в чистый до-мажор Ариетты. «Темп хорош – угадал! Как раз так, как хотелось, – медленно, но текуче, – подумал он, – сейчас главное – не заторопиться». Его пульс попал в точный резонанс с трехдольностью дивной завораживающей мелодии. Вот появились ложно-синкопированные шестнадцатые в левой руке. И в это мгновение что-то произошло, какое-то волшебство. Возникло дивное и диковинное ощущение, будто и он, Сергей Оленин, и рояль, и Бетховен, и Ариетта вдруг обратились в одно гармоничное существо. Сергей смотрел на свои пальцы, совершающие привычные движения по клавиатуре, но они точно принадлежали не ему – может быть, они стали частью рояля. Они больше не играли на нем – это он, рояль, играл ими. Картинка эта стала постепенно удаляться. А музыка шла, переливаясь пассажами, вспыхивая алогичными синкопами и светясь каким-то особым светом – не дневным, не электрическим, а таким, какого Сережа никогда в жизни не видел. Этот ангельский свет нес с собой неземное наслаждение. Ничто – ни радость любви, ни упоение могуществом, ни обладание женщиной – ничто из наслаждений, доступных человеку, не могло сравниться с этим. Сергей прикрыл глаза. Он упивался ощущением бестелесности. Ему казалось, что он, как горний дух, парит над роялем, над залом, над землей. Из всех мыслей осталась одна: только бы это продолжалось бесконечно! Только бы это счастье не закончилось! Но музыка текла, не останавливаясь, неизбежно приближая финал. Вот уже последняя страница, вот уже пальцы, как крылышки колибри, трепещут в трелях, вот уже наступает последний секстовый пассаж… Еще мгновенье – и все будет кончено. Навсегда. Последний раз: до-о-о – соль-соль – маленький кусочек божественной темы, все, что осталось от счастья. Теперь два такта без ritardando – и конец.

Сережа поднял руки, подождал, пока космический до-мажор, покачиваясь, растворился в невозвратимости, и опустил руки на колени. Публика молчала. Ни хлопка, ни шороха, ни скрипа кресла – ничего. Сережа подождал несколько секунд, затем встал и, не поклонившись, побрел к кулисе. «Под цокот собственных копыт», – с горечью подумал он. Это был провал. В кулисе неподвижно стоял выпускающий и молча глядел на приближающегося к нему Оленина. «Ну почему я не послушал Павла Яковлевича?! Что теперь будет?» В эту секунду раздался грохот. Будто обвалилась стена. Сережа вздрогнул. Он не сразу понял, что это. Уже входя в кулису, он оглянулся на зал. Все люди стояли. Они стояли и молча смотрели на него. И тут точно вода прорвала плотину. Неистово аплодируя и что-то крича, люди рванулись к сцене. В проходе образовалась давка. Те, кто не смог попасть в проход, отталкивая друг друга, полезли через кресла. Московская комиссия, сидевшая в первом ряду, мгновенно пошла на дно этого водоворота. Сергей застыл возле кулисы, с ужасом глядя в зал, – такого он никогда не переживал – вот уж поистине звездный час. Он растерянно и неловко поклонился и убежал в кулису. Там стояла Донна Анна. Глаза ее были полны слез.

Ганновер

Мирослав Кульчицкий

Из книг «Сафари» и «Germania»

Реппио

Пассаджио дьядо реппио. Виа росси ля реппио больцано пребольцано. Решио дьядо виа коппо ля реппио. Поццо нуччио дьядо реппио. Тьянуччо, поццо тьянуччо – виа тьянуччи неомоджо. Поццовало дьядо бьябо. Дьядо дзареппи, бьябо задьядо, тьянуччо поццо тьянуччо – виа тьянуччи неомоджо. Поццовало дьядо внуччо. Дьядо дзареппи, бьябо задьядо, внуччо забьябо – виа тьянуччи неомоджо. Поццовало дьядо джуччи. Дьядо дзареппи, бьябо задьядо, внуччо забьябо, джуччи завнуччо – виа тьянуччи неомоджо. Поццовало дьядо коццо. Дьядо дзареппи, бьябо задьядо, внуччо забьябо, джуччи завнуччо, коццо заджуччи – виа тьянуччи неомоджо. Поццовало дьядо мыццо-норуццо. Дьядо дзареппи, бьябо задьядо, внуччо забьябо, джуччи завнуччо, коццо заджуччи, мыццо-норуццо закоццо, тьянуччо поццо тьянуччо – виа тьянулли ля реппио! Грация, мыццо-норуццо!

Лещ

– Коротить ево нада, лешча тваво сахатова, лешч-та ейтый всейный абзор заслонят…

– Коротить, тудый-растудый… Так ить семянил я ево, пылевал… Тай вашче, из лешча-та ейтава – знаш кака колеса? На колесе ейтай – знаш… Аж да ейтой… – да Казани…

– Семянил, тудый-растудый, пылевал… Так ить заслонят ейтый лешч всейный абзор, пазырь-ка – выпрастался како из себе

весь… Каки башня ейта кремлева, че в Маскве-та… Та й колеса-та – не та колеса, че прям на ей да Казани аж… Можт да Рязани, кудай-никудай, а чеб да Казани-та ейтой…

– Да Рязани, тудый-растудый… Та ейтой колесе, че из лешча-та ейтава, чеб на ей да Рязани-та – эта тьфу, не боле таво… Да Казани на колесе-та ейтой – ейто ишо шче, на ей ейта ить – и да Сызрани, ай таво боле…

– Да Сызрани, тудый-растудый… Екойна хватил-та – да Сызрани… Да Сызрани-та ейто како атседа да Рязани, аттеда – да Казани, а аттеда – да седа… Да Сызрани-та ейтай… Та й колеса-та – из лешча, ани из чавойта тама такова-растакова… Ейто да какойнава лешч выпрастаеца из себе, чеб из няво такейна колеса, чеб на ей да Сызрани-та, а? Лешч-та ейтый не токи тады абзор заслонят, а й свет всейный около-й-акруг!.. Коротить нада лешча-та, доки ат абзора ейтава ишче чавойта есь…

– Коротить, тудый-растудый… Так ить ежли коротить таперича, а ни каки выпрастаеца из себе хуч бы да средины, колеса-та из няво – тьфу, не боле таво… На колесе-та ейтой тады не боле каки атседа да Рязани впалавину, а то й вчверть…

– Впалавину, тудый-растудый… Та й хуч бы й впалавину – ить с абзором-та!.. А ежли с абзором – никако, тады – како? Тады й вчверть – никако… Тады можт токи впалавину чверти, не боле таво… А стакейным абзором, кады лешч выпрастаеца да самай средины, то й вчверть чверти – ужт кудай-никудай…

– Кудай-никудай, тудый-растудый… Я-та, тудый-растудый, семянил-пылевал ни в кудай-вникудай, а в лешч ейтый сахатый, тудый ево врастудый!.. Я тако семянил-пылевал, како атседа да ейтой, тудый-растудый, Сызрани, а аттеда да седа взад – трикраты, и боле таво!..

– Семянил-пылевал, тудый-растудый… Хуч кудай ни семянил-пылевал, ан абзор-та – ни тудый, ни растудый… А ить без абзората ейтава – никако, тудый-растудый…

– Тудый-растудый… Пылевал ить, семянил…

– Пылевал-та – пылевал, семянил-та – семянил, аить – ни тудый, ни растудый…

– Кудай-никудай – ни тудый, ни растудый… Эх!..

– Эх, кудай-никудай, ан ни тудый – ни растудый… Э-эх!..

– Э-эх!..
– Э-эх!..

– Эх кудай да-вникудай
– Эх тудый да-врастудый!

– Э-э-эх!

– Эх кудай да-вникудай
Эх тудый да-врастудый!

– Э-э-эх! Э-э-эх!

– Эх кудай да-вникудай
Эх тудый да-врастудый!

– Эх! Эх! Эх! Эх!

– Эх кудай да-вникудай
Эх тудый да-врастудый!

– Эх! Эх! Эх! Эх!
– Из сахатова лешча
Аки башня колеса
На такейной колесе
Да Рязани да Казани
Хуч да самай да Масквы!

– Эх! Эх! Эх! Эх!
Эх! Эх! Эх! Эх!

– Хуч бы ейта колеса
Аки башня велика
Хуч на ейтай колесе
Да Рязани да Казани
Хуч да ейтай бы Сызрани
Хуч на ей бы й да Масквы

Без абзора ан никако
Ни тудый ни растудый
Ни тудый д-ни-растудый!

– Эх! Эх! Эх! Эх!
Эх! Эх! Эх! Эх!

– Семянил-та семянил
Пылевал-та пылевал
Ан никако никудай
Ни атседа ни даседа
Ни аттеда ни датеда
Ни тудый д-ни-растудый
Эх кудай д-враскудай
Эх тудый д-врастудый
Эх кудай д-враскудай
Эх тудый д-врастудый!

– Эх! Эх! Эх! Эх!
Эх! Эх! Эх! Эх!

– Э!.. Пазырь-ка… Лешч-та… эта… - пылятел!.. Вона – лятит внебеси каки ероплан…

– Ыть!.. Тудый-ево-врастудый… Эта… Эта ж – како?…

– Како-како, тудый-врастудый! Пылевал-та – пылевал, семянил-та – семянил, а апкальцывать – не апкальцывал!..

Германия

Бывает, я думаю о том, что довольно лишь одного шага, чтобы очутиться в пронзительно ясном мире моей несравненной Германии… И где бы эти раздумья меня не настигали, на душе у меня тотчас же становится легко, и всяческие житейские хлопоты и неприятности, всяческие мерзости окружающей жизни разом теряют для меня свой облик, свою значимость: насущная надобность разобрать конторские бумаги (сам я – скромный служащий

государственного учреждения) перестает казаться обременительной, лица сослуживцев – отвратительными, измены жены – непростительными, ну, а глупые сетования стариков родителей («И когда он, наконец, возьмется за ум, проявит себя, продвинется по службе; это с его-то способностями – и довольствоваться таким скромным местом!») и вовсе превращаются в пустяк, не заслуживающий и толики внимания. Справедливости ради надо сказать, что упомянутые вещи никогда не досаждают мне беспрестанно, ибо зачастую мне случается глядеть как бы сквозь них, близко к душе их не принимая, чему я во многом обязан тем, что сохраняю надежды на лучшее. Однако же бывают в моей жизни и, что называется, «черные полосы», когда эта грузная реальность будней наваливается всею своей тяжестью: тогда в моем заволоченном небе не увидать ни звездочки, – и тогда уж все мне не так, все меня раздражает… Если же попытаться взглянуть на мою жизнь взглядом стороннего наблюдателя, она, пожалуй, представится самой что ни на есть обыкновенной: на службе я неприметен: обязанности свои исполняю в меру исправно, в меру заискиваю перед начальником, в меру браню подчиненных; с женой – мягок, уступчив, семейных баталий избегаю, предпочитая сдавать позиции без боя; с родителями – вежлив, предупредителен… Разве что странности мои как-то отличают меня от окружающих: например, прямо-таки рафинированное наслаждение доставляет мне изучать, стоя у окна конторы, в которой я служу, подробности развернутого передо мной пейзажа: шиферные крыши, серебристые купола, кирпичные печные трубы, задымленное чердачное оконце, заржавленная спираль лестницы, прогнутый жестяной карниз… Бывает, это поглощает меня целиком, и я начисто забываю о служебных обязанностях – знай себе стою у окна, покуда недоуменный голос какого-нибудь сослуживца («И что вы там увидали, чтоб так долго туда глядеть?») не возвратит меня, как говорится, к реальности. Не могу удержаться, чтобы не сказать о другой моей (на этот раз сугубо домашней) странности, прямо-таки детской забаве: держать над бокалом с водой кисточку, обмокнутую в тушь, дожидаясь, когда стремительная черная частица, внезапно сорвавшись, вонзится в прозрачное вещество, прочертит его насквозь и, разбившись о хрустальное дно,

всклубится подвижными волокнами, как будто расположенными к тому, чтобы сложиться в замысловатый рисунок китайской гравюры… Но никому невдомек, что по-настоящему я живу лишь тогда, когда мне удается, улизнув со службы ранее положенного часа, побродить по моим любимым вечерним улицам, по тихим малолюдным улицам, где особенно теплы мысли об уютной комнате, сулящей тихий ручеек беседы и томление вина в прозрачном застенке бокала… И кажется, вот-вот вынырнет из-за угла допотопный краснобокий омнибус, – вернее, трясущийся кеб (наподобие тех, в которых ездил недотепистый доктор Уатсон), с непременным кебменом – цилиндр, кнут, бакенбарды, – бросающим надменные взгляды с высоты своих козел, – по улицам, где мне так легко погрузиться в сладкие грезы о Германии, которая, кажется, так близка, – вот только сделай шаг… Но неотвязна мысль: каково будет потом, когда настанет час держать ответ перед собою и перед Богом за то, что этого шага не сделал, за нерешительность, коей обрек себя на бесполезно проживаемые годы, лишил себя счастья жить в едином ритме с великой Германией, счастья ощущать, как течет кровь в ее артериях, как бьется под надежной броней Круппа ее пламенное сердце…



Нина Данилова

Гусятинские каникулы

Общеизвестно, что каждый человек состоит, в основном, из воды, поэтому, если вода в городе вдруг почему-то становится плохой, то и жители начинают портиться прямо на глазах. Очевидно, этот патологический процесс стал угрозой для одесситов в начале 80-х после известной крупной аварии на Дрогобычском химкомбинате с последующим попаданием всего худшего ассортимента таблицы Менделеева в медленно текущие воды Днестра – единственной реки, которая поит наш родной город. Интенсивная и трудно уничтожаемая накипь на чайниках стала очевидным доказательством высокой степени концентрации опасной органики в питьевой воде. Количество камней в почках и печенках одесситов, а также возрастающие отложения на их многострадальных сосудах вынуждали многих регулярно выезжать на промывку «ливера». В отпускной период народ устремлялся на воды. И нам не забыть те времена, когда можно было регулярно поправлять свое пошатнувшееся здоровье за счет профсоюзов, то есть за 24 рубля приобретая путевку на 24 дня, или за 12 рублей соответственно на 12 дней. Причем зачастую это были очень славные места с достаточно высоким уровнем санаторно-курортного лечения. В один из таких райских уголков мы ездили несколько раз в период зимних школьных каникул. Прикарпатский очаровательный городок назывался Гусятин, а наш шефский пансионат – «Збруч», как и одноименная близко протекающая река. Великолепные смешанные леса, целебный воздух и минеральные источники приятной на вкус воды – вся эта прелесть располагалась недалеко от города Тернополя.

Пансионат отдыха не потребовал особых затрат для строительства. После завершения проведения венграми газопровода Уренгой – Ужгород остался десяток благоустроенных бараков, где раньше жили строительные рабочие. Вот в них-то и размещали граждан, прибывших для отдыха и лечения. Для превращения прозаичного барачного лагеря в лечебно-профилактический пансионат достроили скромный бювет, в который подавалась подогреваемая слабоминерализованная вода из ближайшего источника. Комнаты в бараках, именуемых жилыми корпусами, хорошо отапливались, были оснащены душами и туалетами. Но самое неприятное, с чем приходилось там сталкиваться, – это абсолютная звукопроницаемость! Совсем как у Ильфа и Петрова в описанном ими общежитии имени монаха Бертольда Шварца. Все мы вынуждены были проживать единой дружной семьей. Стоило только кому-то чихнуть в своей комнате, из двух соседних номеров тут же доносилось: «Бувайте здоровеньки!». Большой ошибкой было выбрать себе кровать, стоящую у стенки, так как человек, спящий в соседней комнате, как бы делил с вами постель – каждое его движение и звук не могли быть не уловленными в ночной тишине. Однажды мне довелось некоторое время промучиться таким образом с пожилым инвалидом, спящим в соседней комнате. Он, бедняга, так стучал коленями об стену, громко стонал и охал, но самое тяжелое – это был его жуткий храп с такими невероятно длинными паузами, что впору было бежать к дежурному врачу, чтобы успеть оказать ему реанимационную помощь.

Гордостью пансионата «Збруч» был его новый лечебный корпус, построенный по последнему слову архитектуры современных комплексов. Главный врач Николай Иванович, высоченный красавец западенец, судя по притязаниям, объездил множество европейских здравниц и установил в лечебном корпусе высокий уровень курортного сервиса. Впрочем, новомодные порядки явно не соответствовали ни возможностям обслуживающего персонала, ни привычным запросам подавляющего большинства отдыхающих.

Однажды мы приехали в Гусятин с моими подругами и одновременно сотрудницами Мариной и Нелей, которые обычно «промывались» в Трускавце или Моршине, и здесь появились

впервые. Нужно сказать, что Марина в этот период готовилась к эмиграции в Америку, и ее здоровье особенно нуждалось в поддержке из-за невероятного напряжения предотъездных хлопот. В первый день посещения лечебного корпуса мои подруги были поражены резко ощутимым контрастом между условиями проживания и лечения. Некоторые лечебные кабинеты были оборудованы в будуарно-альковном стиле с применением блестящей парчовой драпировки. По сравнению с казарменной скудостью оборудования предоставленной нам комнаты для проживания эта роскошная обстановка буквально потрясала! Мы передали свои регистрационные книжки хорошенькой работнице ванного отделения и, живо обмениваясь неслабыми впечатлениями, ждали, пока начнется прием вожделенных лечебных процедур. В коридоре сидели отдыхающие, в основном, проживающие в Прикарпатье. Это можно было понять по их специфическому западноукраинскому выговору, по спортивно-оздоровительным костюмам ярких расцветок и откровенно железным вставным зубам. В этих местах питьевая вода очень активна, поэтому жители вынуждены смолоду заниматься зубным протезированием. Зубная эмаль не выдерживала агрессивных минералов в сочетании с регулярным приемом больших доз очень популярного самогона. Мы видели, что как только очередная предписанная ванна была подготовлена, на нарядную ковровую дорожку, которой был устлан коридор, выходила дивчина на высоких каблучках, в белоснежном коротком халатике и торжественно объявляла имя и отчество очередного счастливчика: «Микола Остапович! Прошу, будь ласка!». Это было так необычно, индивидуально и уважительно.

Но забитые жизнью отдыхающие по первому разу иногда просто пугались и с трудом привыкали к подобной манере отпуска лечебных процедур. С нами же произошла другая история. Когда дивчина с полным уважением и достоинством произнесла: «Мэри Лазаревич! Прошу, будь ласка!» – мы втроем чуть не рухнули со своих роскошных кресел. Невообразимое сочетание написала регистраторша по ошибке на санаторной книжке Марины вместо неслыханной комбинации «Мэри Лазаревна»! Никто из отдыхающих, кроме нас, никак не отреагировал, из-за этого мы

смеялись еще сильнее! И с этого рокового момента настал для нас период неукротимого хохота, который длился все двенадцать дней. Это казалось просто каким-то наваждением – нас безумно смешило буквально все, а ведь мы в обычной жизни были довольно серьезные дамы среднего возраста. Но не смеяться было просто невозможно. Поводом могло служить буквально любое событие – непривычное звучание украинской речи на местном диалекте, предлагаемое в столовой меню, невероятно потешные ежевечерние танцы и заигрывания санаторных кавалеров. Лечащий врач довольно щедро загрузил нас всякими лечебными процедурами, и без веселых приключений нигде не обходилось. Например, однажды я умудрилась заснуть на кушетке в грязелечебном отделении в группе ожидающих очереди для натягивания горячих изокеритных чулок и перчаток. Проснувшись через полчаса оттого, что все пролеченные граждане потянулись смывать отработанный материал, я обнаружила, что меня просто пропустили и оставили спокойно отдыхать под белой простынкой! Потом рассеянная медсестричка повторяла под мой хохот: «Не може буты, николы такого не було!».

Марину вообще преследовали булгаковские сюжеты. Принимая минеральную ванну, вдруг, к своему ужасу, она увидела высоко под потолком над перегородкой, отделяющей ванный зал от раздевалок, кудрявую черную голову с пышными усами и выпученными на нее глазами. Она сделала попытку притопить двумя ладонями вольно плавающие груди и услышала странную фразу: «Я завжды так роблю!». От этой вопиющей наглости у нее просто перехватило дух, и она закричала: «Меня совершенно не интересует, что вы делаете всегда! Немедленно убирайтесь!». Голова растерянно заморгала, облизнулась и исчезла. Марина попыталась успокоиться и продолжить кайфование в пузырящейся ванне, но прежнего расслабления достичь уже не удалось. В коридоре к ней подошел высоченный детина, владелец вышеописанной головы, и объяснил, что он всегда становится на скамейку ногами на полотенце, чтобы не запачкаться и не простудиться. Так его мама приучила с детства. Этого довольно интимного объяснения ему показалось достаточно, для того чтобы пригласить Марину вечером на танцы.

Наша соседка по бараку рассказала мне, что после приема ванны перешла на массаж и обнаружила, что оставила в раздевалке свои черные колготки. Вернувшись за ними, она увидела картину, от которой чуть не лишилась рассудка. В наполненной ванне сидел мужчина, на котором были надеты ее колготки! Он объяснил вызванной по такому случаю медсестре, что первый раз на лечении, только что на него надевали грязевые чулки, и увидев возле ванны колготки, решил, что их тоже необходимо натянуть на себя. Не знаю, насколько все в этом рассказе соответствовало истине, но соседка тоже заливисто хохотала, а я не могла «налюбоваться» ее железными челюстями. На мои расспросы о том, кто делает им такие замечательные протезы, она ответила вполне доброжелательно: «Так жиды влитку до нас з Кыива прыизждають, то ж воны й роблять добри зубы. Таки файни жиды, завжды уси их чекаемо!». Через много лет в Израиле мне довелось познакомиться с зубными врачами, репатриировавшимися из Киева, которые рассказали, что каждый год ездили в Прикарпатье на отдых и подработку. Они вспоминали, как их всегда там ждали, и дети радостно кричали, как только видели подъезжающую машину: «Ура! Жиды вже прыихалы!».

Думаю, что железные плоды их трудов до сих пор в строю.

В этом дивном городке под незабываемым названием Гусятин по всем улицам, включая центральные, гордо разгуливали невероятно крупные яркого окраса петухи, ревниво пасущие свои гаремные стайки кур, а гуси скромно группировались ближе к реке. Куриные яйца были такой свежести и вкусноты, что их можно было употреблять на десерт просто сырыми. Мы обожали делать рейды по универмагам и магазинчикам окрестных городков. В одном из них под знаковым названием Жванецк я купила книгу Эфраима Севелы «Остановите самолет, я слезу». Первый в нашей жизни порнофильм «Эммануэль» нам довелось посмотреть в пансионате «Збруч» при соблюдении полной секретности. Секс-группа собиралась из немногочисленных желающих, с которых бралось по два рубля, – киномеханик называл это показом мультфильмов для взрослых. Всем было нелегко и во время показа, а особенно после. Мы отрывались на ночном хохоте, вспоминая, с каким выражением на лицах украинские крестья-

не наблюдали за постельными проделками роскошной Эммануэли и ее команды. Наши соседи по бараку все громче призывали нас, как сказал бы Бабель, «делать ночь». На украинском языке это звучало, как стихи: «Досыть реготаты! Треба совисть маты! Дайте почиваты!». Но не тут то было! Истерические взрывы хохота не оставляли нас даже во сне. Дошло до того, что из-за жалоб отдыхающих нашу комнату в полном составе вызвали на проработку к главврачу. Он попытался было официально выяснить, что именно так смешит во вверенном ему пансионате, но через минуту уже хохотал с нами вместе. Пришлось всем пить валерьянку в больших дозах и принимать кислородные коктейли в роскошном будуаре лечебного корпуса для быстрейшего восстановления измученных смехом организмов. А меня отселили в отдельный номер, что, очевидно, следовало рассматривать как карцер строгого режима. Впрочем, туда сразу же стал приходить местный очаровательный художник Слава – рисовать мой портрет, который, к огромному сожалению, так и не удалось завершить. Просто не хватало времени на все!

В пансионате «Збруч» были свои традиции. Например, шагая между бараков в столовую три раза в день, отдыхающие пели хором длинные и мелодичные украинские песни, причем слова знали абсолютно все, даже мы. Оказывается, петь очень полезно для здоровья, особенно на свежем воздухе. Что же касается вечерних танцев, то они просто вписывались врачом в санаторно-курортную книжку каждого отдыхающего, независимо от его возраста и состояния здоровья. Считалось, что перетруска организма во время вытанцовывания бесконечных полечек и краковяков очень способствует общему оздоровлению. На танцах играл небольшой оркестрик, состоявший из ярких индивидуумов. Особенно забавлял нас темпераментный барабанщик, маленького роста с широким румяным лицом, синими круглыми глазами, крошечными усиками и толстенькими кривыми ножками, отбивающими такт вместе с барабаном. Он подстерегал Нелю после танцев и умолял ее: «Жиночко, я хочу и можу доставыты вам сами радисни мыття у вашему житти – дуже багато!». Неля, уже плача от хохота, пыталась уверить его, что у нее все мгновения жизни и так очень радостные. Но он не успокаивался, караулил вновь

и вновь. Вообще, курортных романов было много, как и полагается в таком романтическом месте.

Но время расставания неумолимо приближалось. За пару дней до отъезда мы решили покончить с диетическим питанием и оторваться в местном ресторане «Мрия». Стоял сильный мороз, и когда мы вошли, то застали грустную картину – весь немногочисленный персонал собрался за скромно накрытым столом. Мы были единственными посетителями в этот обеденный час. Но сейчас же всё, как в сказке, завертелось, понеслось. Изучая поданное меню, по установившейся гусятинской традиции, мы громко смеялись. Неплохо было бы сейчас поесть гречаников со свежими боровиками или вареников с вишнями. Стоящая с блокнотом официантка, скромно потупив карие очи, тихо сказала: «Зробымо». И действительно, нам не забыть вкус «справжних украинских страв», которые подавали в тот далекий морозный день. Даже Марина, кулинарная мастерица высочайшего класса, была потрясена вкусом и запахом приготовленных за полчаса настоящих украинских блюд. Разомлев от тепла, невероятно вкусной еды и вина, мы расспрашивали повара, какие приправы он использует для мяса, чтобы оно имело такой потрясающий вкус и аромат. Ответ был маловразумительный, но, если задуматься, поучительный и точный: «Воно пахнэ так, як мусыть пахнуты справжне мясо!». А когда «на закуску» принесли вареники со свежей вишней, показалось, что внезапно наступил щедрый июль. Название этого волшебного ресторанчика не обмануло – мечты о лете сбывались, сказка продолжалась.

А затем пришел Старый Новый 1989-й год, который нам довелось встречать в бараке, но уже никто и не мечтал заснуть. Народ знал, что завтра мы уезжаем, и все решили все же выяснить, над чем мы так хохотали днями и ночами. Ну, что мы могли им объяснить?! Пришлось напрячь память и рассказывать по-настоящему смешные анекдоты. Аудитория оказалась очень отзывчивой и воспринимала одесский и прочий юмор так, что весь барак ходил ходуном. Постепенно все активизировались, начался тематический пересказ, перешедший в конкурс и т. д. В общем, к утру у всех так болели лицевые мышцы, что даже разговаривать было трудно.

В день нашего отъезда падал удивительно крупный и красивый снег, в пансионате включили репродукторы, по всей территории раздавалась щемящая душу мелодия: «Заметает метель, заметает все, что было до тебя». Почему-то хотелось плакать. Главврач пришел лично поцеловать нам ручки и вздыхал при этом с явным облегчением. Он принес в подарок комплект из трех бутылочек с минеральной водой «Збручанская». Тяжело и глубоко вздыхали художник Слава и опечаленный барабанщик. На автобусную остановку нас провожал большой и спаянный общим смехом и бессонными ночами коллектив спального корпуса. Багаж оказался изрядно потяжелевшим. Марина как настоящая образцовая хозяйка не смогла не захватить из Гусятина эмалированное ведро, наполненное волшебными куриными яйцами, каждое из которых было завернуто в газетный листок. Мы даже не представляли, какие дорожные приключения ожидают нас следующей ночью в поезде!

Учитывая, что путешествие в Гусятин возникло спонтанно и во время каникул, взять билеты на поезд «Одесса – Львов» было колоссальной проблемой. Нелина «блатная» кассирша смогла достать нам билеты туда в общем вагоне, а обратно – в плацкартном. Ни о каких купе и даже СВ не могло быть и речи. Излишне упоминать, что ни у кого из нас не было опыта проезда в общих вагонах. Но грамотные люди предупредили, что надо прийти задолго до отхода поезда, закинуть багаж на третьи полки, занять вторые полки и лежать на них по стойке «смирно» до Тернополя, почти семь часов. Мы так и поступили при посадке в Одессе, но далеко не все из задуманного плана удалось. Невозможно было себе представить, какое количество народа с огромным багажом садилось на каждой станции. Сказать, что вагон был забит до полного отказа, это значит не сказать ничего. Дышать было нечем и буквально некуда поставить ногу. Но через четыре часа лежания в безвоздушном пространстве в мечтах о посещении туалета я решилась все же спуститься вниз, глотнуть, условно говоря, кислорода. Понятно, что мое лежачее место тут же было занято. Бабуля, сидящая в проходе на своей корзине, рассказывала, что хуже она ехала только во время войны – на крыше вагона с козой! Неля умудрилась задремать на верхней боковой полке,

но мы опасались, чтобы у нее не было обморока из-за кислородного голодания. Марина, внимательно наблюдавшая за одним «настоящим мужчиной», лежавшим на третьей полке на наших чемоданах, сообщила мне, что он на ее глазах выпил несколько бутылок пива. По нашему разумению, если в его организме еще действовали физиологические законы, он довольно скоро должен был каким-то образом проложить дорогу к туалету. Мы обе этого ждали, особенно я. Поэтому, когда он внезапно открыл распухшие глаза, мигом ссыпался с полки и, сопровождаемый воплями и проклятиями разбуженных и травмированных пассажиров, помчался буквально по головам в тамбур, я ринулась за ним, усердно изображая его подругу, догоняющую свое убегающее счастье. Правда, где могла, успевала извиниться за «беспокойство», но то, что звучало в ответ, лучше было не слышать. Марина, видя весь этот кошмар, не решилась покинуть свое убежище, и как всегда, оказалась права. Обратно вернуться уже не довелось! После посещения туалета пробраться назад, почти в середину нечеловечески переполненного вагона, было мне уже не по силам. Примерно час я просидела в тамбуре на мусорном ящике, продышалась морозным воздухом, но очень замерзла. Затем приглядела себе вакантное местечко в первом «купе», где четыре мужичка, сидя на нижней полке, резались в карты. За их спинами видна была свободная полоска под стенкой. Я набралась смелости и жалостливо попросилась прилечь под стеночку погреться, благо размеры тогда позволяли втиснуться хотя бы на бочок. На мое счастье, они были в азартном угаре и вообще не обращали внимания ни на что, кроме карт. Вот в таком оригинальном месте я благополучно доехала до Тернополя, где поезд стоял несколько минут и выходила прорва народу. Ошалелые подруги с трудом выбрались из вагона и вынесли мои вещи, не будучи уверены, что вообще меня когда-нибудь увидят. Тогда нам было не до смеха!

Хорошо помня, как трудно было выдержать поездку в общем вагоне, мы надеялись на значительное повышение уровня комфортности при возвращении в Одессу в плацкарте. Но нашим надеждам не суждено было сбыться! Когда примерно в час ночи мы вместе с толпой пассажиров, тяжеленными чемоданами и ведром с яйцами погрузились в вагон, нас радушно приветствовал вдре-

безги пьяный комсомольско-молодежный экипаж в лице двух качающихся проводников. О наличии нужного количества свободных мест не могло быть и речи. После долгого ожидания, пока ретивые комсомольцы растолкают мирно спящих на наших местах пассажиров (только проводникам известно было, откуда они взялись), нам со скандалом выделили одно нижнее место на троих. Багаж ставить было некуда, так как все ящики под полкой были заполнены пустыми бутылками. Цвет выданного постельного белья не поддавался определению, кроме того, оно было просто мокрое. Народ в вагоне непрерывно прибывал «с тихим шелестом купюр». В общем, вторая подряд бессонная ночь после «староновогодней» была нам обеспечена. Мы сидели, как курочки на насесте, караулили яйца и чемоданы. В пять утра веселые проводники стали собирать постели и предлагать свежее пиво…

Мы возвращались в Одессу, не зная ничего о своей дальнейшей судьбе. Марина, отправившая в Нью-Йорк несколько десятков посылок с бельем и посудой, даже не могла предположить, что ее единственный сын уже влюбился в девушку, которая переезжает с родителями в Чикаго, куда теперь лежит также путь и ее семьи. Я не имела представления о том, что через несколько месяцев выйду замуж, затем в скором времени рухнут все стабильные системы нашего общества, и в результате мы окажемся в Израиле. Неля как опытный экономист спинным мозгом чувствовала грядущий крах, пыталась понять, сколько времени еще можно продержаться и куда имеет смысл подаваться. Сейчас она живет в Нюрнберге, где появились на свет три очаровательных внука и внучка. Все мы периодически встречаемся то в Израиле, то в Германии или в Чикаго, но всегда с улыбками вспоминаем потешные гусятинские каникулы.

Бат-Ям, Израиль

Роман Бродавко

Прощай и помни обо мне

Драматический этюд

Действующие лица

Ричард Бёрбедж, великий английский актер, друг Шекспира, 50 лет

Том, его племянник, 15 лет

Неизвестный

Место действия – Лондон. Время действия – 1618 год.

Комната в доме Бёрбеджа. В центре большое окно, через которое просматривается улица в лучах догорающего заката.
Слева дверь.
Массивная мебель. Шкафы с книгами. В центре – стол, завален-ный измятыми бумагами. На нем большой подсвечник. За столом сидит Том, перед ним чистые листы, чернильница. Бербедж раз-бирает бумаги. Вынимает одну, читает вслух.

Бербедж. Как лед, как лед, о, девочка моя!
Подобна чистоте твоей. – О, изверг!
Плетьми меня гоните
Вы, дьяволы, от зрелища небес!
Мечите по ветру! Изжарьте в сере!
Швырните в бездны жидкого огня! –
Мертва! О Дездемона! Дездемона!
О! О! О!

Что творилось в театре, когда я произносил эти строки! Люди падали в обморок!.. Да и мое сердце в этот момент выпадало из

груди… Вот где гениальность! Уильям писал Отелло специально на меня. Поверь, Том, я не учил этот текст – он как-то сразу вошел в меня. Я сжился с этим мавром… В какие-то мгновения я думал, как он, страдал, как он, слепнул от ревности… Да… Уже третий год, как Уильяма нет. И нет новых пьес, которые хоть в чем-то приближались к его творениям. А самое главное – какая преступная халатность! Творения великого Шекспира исчезли куда-то, и мы уже полгода собираем их по ролям… По этим полуграмотным спискам, которые неблагодарные актеры хранят в сундуках с костюмами и париками… Господи, только бы не потерять чего-то… «Ромео и Джульетту» собрали, «Гамлета» и «Лира», слава Богу, тоже… И «Ричарда», моего любимого «Ричарда»… О, это была моя коронная роль!.. Лучшая!.. Он был великий шутник, сэр Уильям. Была одна история… Ты уже взрослый, Том, так что могу рассказать… Значит, играл я Ричарда III. Помнишь, там есть сцена обольщения леди Анны у гроба короля Генриха? Когда я обращался к Анне своим бархатным голосом, когда смотрел на нее взглядом, исполненным любовью, – дамы в зале теряли голову. В эти мгновения каждая была готова стать моей. Так вот, одна из моих поклонниц, которая смотрела Ричарда раз десять, пришла в антракте за кулисы и сказала мне: «Жду вас после спектакля у себя. Когда приедете, скажите дворецкому: прибыл Ричард III». Этот разговор подслушал Уильям. Пока я переодевался и выслушивал комплименты от растроганных зрителей, он раньше меня явился на свидание и был принят. А когда этой даме объявили о моем прибытии, он, рассмеявшись, приказал дворецкому ответить, что Уильям Завоеватель пришел раньше короля Ричарда… Да, он всегда был первый, но у меня это не вызывало зависти. Он гениально писал – я гениально играл, он владел искусством стихосложения, а я кистью – и, как ты знаешь, неплохо. Ах, молодость… Да что молодость? Вся моя жизнь – это его пьесы. Я играл Гамлета, Лира, Макбета, Кориолана, Антония, Просперо, Генриха V… Мы с ним вместе владели театром – и не одним. Времена были разными. Мы то разорялись, то снова становились на ноги… И никогда – слышишь, Том, – никогда у нас не возникало конфликтов на почве денег. Я полностью доверял ему, а он – мне. Все поровну… Однажды граф Ретленд заказал мне герб для учас-

тия в рыцарском турнире при дворе короля. Тогда любили всякого рода аллегорические и символические изображения, но я не мог ничего путного придумать и обратился к сэру Уильяму. На следующий день он выдал гениальную идею, а я сделал рисунок и раскрасил его золотом. Граф был в восторге! Деньги мы честно поделили пополам – ему 44 шиллинга и столько же мне. Да, мы с Уильямом всегда понимали друг друга… По завещанию он оставил мне деньги на покупку перстня в его память. Вот он… Я буду носить его до конца дней…

Раздается стук в дверь.

Выйди, сынок, посмотри, кого Бог принес…

Том выходит и тут же возвращается.

Том. Там какой-то господин. Приехал в экипаже. Он не захотел представиться…

Бербедж. А как выглядит?

Том. Одет как джентльмен.

Бербедж. Проси.

Том открывает двери. Входит Неизвестный.

Неизвестный. Добрый вечер, мистер Бербедж. У меня к вам дело…

Бербедж. Входите, сэр. Прошу садиться. Я весь внимание…

Неизвестный. Я хотел бы с глазу на глаз…

Бербедж. Том, оставь нас. (*Том выходит*.) Я слушаю…

Неизвестный. Я знаю, что вы, сэр, собираете по ролям пьесы вашего великого друга сэра Уильяма и намерены их издать, не так ли?

Бербедж. Именно так.

Неизвестный. Так вот, я хотел бы предложить вам последнюю пьесу Шекспира. Ту, которую еще никто не ставил и никто не играл…

Бербедж. Не понимаю. Мы более тридцати лет дружили с сэром Уильямом. Он умер у меня на руках… О какой пьесе идет речь, если в последние годы он удалился от дел и вообще ничего не писал?

Неизвестный. Но такая пьеса есть. Вот она…

Бербедж. Простите, сэр, но подозреваю, что речь идет не о пьесе Шекспира, а о пьесе другого автора. Я правильно вас понял?

Неизвестный. Именно так. Речь идет о моей пьесе, которую я хотел бы издать как пьесу Шекспира. Уверен, что с этим именем ей будет обеспечена долгая жизнь на сцене…

Бербедж. Но пьесы Шекспира… Они узнаются сразу…

Неизвестный. Прочитайте – и вы убедитесь, что моя ни в чем не уступает пьесам сэра Уильяма, с которым я так же, как и вы, был знаком.

Неизвестный кладет на стол рукопись.

Бербедж. Извините меня, сэр, но я чего-то не понимаю… Обычно люди стремятся прославить свое имя. Ради этого идут на всякие ухищрения. Даже… даже на плагиат. А вы… Что вам мешает опубликовать пьесу под своим именем?

Неизвестный. Я хочу подарить человечеству не свое имя, а свое произведение.

Бербедж. Но ведь пьесы для автора – как дети, так сказать, кровь от крови, плоть от плоти…

Неизвестный. А известно ли вам, сэр, что около пяти процентов детей, появившихся на свет в полных семьях, рождены не от законных мужей, а от побочных связей их жен? Мужья не догадываются об этом, дают детям свое имя, состояние, растят их, учат… Они любят их, не подозревая, что вовсе не они отцы этих чад. Мой друг, аббат, который исповедует многих дам, знает эти тайны. Но они, конечно, остаются тайнами исповеди. Так вот, я хочу, чтобы мой роман с драматургией остался тайной, а у моей пьесы был законный отец… С этим именем ее обязательно поставят. Она будет иметь успех. А я буду издали радоваться, что она нужна театру и зрителям. И еще… Пока драматург жив, он влияет на время, но потом… Потом время распоряжается тем, что ему досталось в наследство. И здесь имя играет не последнюю роль. Пьесу под моим именем забудут, под именем Шекспира – никогда!

Бербедж. Но почему Шекспир? Почему бы вам, сэр, не объявить, что эту пьесу написал, скажем, покойный Кристофер Марло?

Неизвестный. Рукописи Марло сохранились, все, что им написано, уже известно публике. А Шекспир… Для всех Шекспир – это загадка. К тому же, вы сейчас занимаетесь подготовкой первого издания его пьес. Что вам мешает присовокупить к ним еще

одну? Ту, которая до сих пор не была поставлена? Думаете, что кто-то догадается, что это не Шекспир? Никогда! Поверьте, она написана в его лучших традициях. Кроме того, я убежден, что через некоторое время найдутся люди, которые усомнятся в том, что все написанное Шекспиром принадлежит ему. Наверняка будут говорить, что под именем сэра Уильяма скрывается дюжина драматургов, ибо один человек всего этого написать не мог… Бедное человечество: оно не способно безоговорочно признавать чью-то гениальность. Будут спорить, Шекспир ли написал свои пьесы, или вовсе не Шекспир. Мою, то есть теперь уже его пьесу, начнут исследовать, изучать… А значит, она будет в поле зрения!.. Кстати, поставят под сомнение и изображение сэра Уильяма – то самое, которое написали вы, сэр, – так называемый «чандосский портрет» Шекспира. Впрочем, нас уже не будет на этом свете. Соглашайтесь, сэр… (*Незнакомец кладет перед Бербреджем кошелек.*) Здесь десять фунтов. На издание пьес сэра Уильяма… Сумма немаленькая. Но это ни в коем случае не плата за услугу, которую я прошу вас мне оказать. Здесь – воля ваша…

Бербедж. Увы, сэр, я вынужден вам отказать… Я издам только Уильяма Шекспира.

Неизвестный. Жаль! Очень жаль!.. В таком случае позвольте откланяться.

Бербедж. Погодите! Ваша рукопись…

Неизвестный. А… Я ее оставляю… Прочтите на досуге. Прощайте!

Неизвестный выходит. Входит Том.

Бербедж. Какой-то странный тип… И предложение дикое… Посмотри, сынок, что это за рукопись…

Том подходит к столу, перелистывает страницы.

Том. Здесь ничего нет… Белые листы…

Бербедж. Что за наваждение!.. Ведь он был здесь – или мне все это привиделось?

Том. Конечно, был! И деньги…

Бербедж. Да… Вот они…

Том. Что с вами, дядя? Он оскорбил вас?

Бербедж. Нет, он был учтив… Но пьеса… Он сказал, что оставляет мне пьесу…

Том. Дядя, здесь какой-то конверт. Он запечатан…

Бербедж. Дай сюда. (*Читает.*) «Сэру Ричарду Бербеджу». То есть мне… И рука знакомая. (*Распечатывает конверт.*) Боже мой! Это – он! Это – он!

Том. Кто?

Бербедж. Сэр Уильям! Как же я сразу не распознал его почерк? (*Читает.*) «Привет, старина! Думаю, что уже настало время издать мои пьесы. Но, как всегда, на это не найдется денег, а на меценатов рассчитывать не приходится. Я привык за все платить сам, поэтому поручил Френсису передать тебе десять фунтов. Надеюсь, на первое издание этого хватит. Френсис – добрый малый, но он очень подозрительный. Он искренне любит меня и страшно боится, чтобы к моим творениям потомки не присовокупили какой-то дряни. За это я ему очень благодарен. Будь снисходителен, если этот чудак придумает что-то экстравагантное. Он на это способен. Прощай и помни обо мне. Твой Уильям».

Затемнение.

Одесса, любовь моя

Одесская киностудия, Союз кинематографистов Украины (Одесское отделение) совместно с Союзом журналистов Украины (Одесское отделение) в апреле нынешнего года предложили всем желающим – журналистам, писателям, молодым литературно одаренным творческим людям – принять участие в литературно-кинематографическом проекте «Одесса, любовь моя!». По аналогии с уже реализованными: «Париж, любовь моя!», «Москва…», «Нью-Йорк…», «Киев…».

Первый этап реализации проекта заключался в формировании сценарной основы. Мы предложили авторам представить свое литературно-кинематографическое видение современной жизни нашего любимого города, то есть прислать короткие емкие рассказы на любую тему (в том числе историческую), отвечающие современному состоянию, проблематике современной жизни нашего и только нашего, легко узнаваемого большого европейского города с прекрасной удивительной историей и традицией. Далее будут отобраны двенадцать историй, которые составят целостный сценарий будущего фильма, состоящий из отдельных коротких рассказов.

На конкурс было прислано около 150 сценариев не только из Украины, России, но и – это стало для нас самым приятным сюрпризом – из дальнего зарубежья: Америки, Германии, Израиля. Хотя большая часть произведений создана молодыми и начинающим авторами, всех их объединила трогательная любовь к Одессе. Жюри отметило высокий профессиональный уровень авторов, как начинающих, так и маститых признанных сценаристов.

Уже отобрано четыре сценария, которые вошли в так называемый «продюсерский проектный портфель». Поиск подходящих сценариев продолжается. Затем эти истории будут предложены для экранизации известным режиссерам. Согласие участвовать в этом проекте уже

дали Станислав Говорухин, Кира Муратова, Марлен Хуциев, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Петр Тодоровский, Отар Иоселиани. Все остальные сценарии, не менее достойные, будут предлагаться в другие кинематографические проекты для постановки молодыми режиссерами.

Куратор и продюсер литературной части проекта Сергей Куркаев, председатель жюри Юрий Работин, а также все члены жюри – Галина Короткова, Виктор Селищев, Дмитрий Ломарчук, Александр Полынников, Виктор Ноздрюхин-Заболотный – искренне благодарят всех, кто принял участие в конкурсе. Мы желаем нашим авторам вдохновения и творческих успехов. Мы и в дальнейшем будем продвигать и пропагандировать участников конкурса. А из отснятых фильмов, есть такая идея, возможно, родится отдельный кинофестиваль «Одесса, любовь моя!». Кроме того, жюри конкурса планирует в ближайшее время издать все присланные сценарии отдельным альманахом.

Сергей Куркаев,
продюсер литературной части проекта

От редакции. Первые три места на конкурсе завоевали Е. Вечканов, В. Дроздовский и А. Керпель. В этом номере мы публикуем один из текстов.

Владимир Дроздовский

Анна

Солнечное ясное утро начала октября. Клены, каштаны, старые платаны, растущие в центре города, меняют цвет своих зеленых крон на ярко-желтый и оранжевый, преображаясь до неузнаваемости. На ветвях видны иногда украшения из осенних паутинок с нанизанными на них бусинками утреннего тумана, частого гостя в это время года. Умиротворенность во всем – в небе, в воздухе, в людях. Одесское бабье лето.

Небольшой, но стильный офис в новом стеклянном здании в центре города. За столом сидит молодой человек лет 28, модно, но не броско одетый. Перед ним – ноутбук и несколько мо-

дали Станислав Говорухин, Кира Муратова, Марлен Хуциев, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Петр Тодоровский, Отар Иоселиани. Все остальные сценарии, не менее достойные, будут предлагаться в другие кинематографические проекты для постановки молодыми режиссерами.

Куратор и продюсер литературной части проекта Сергей Куркаев, председатель жюри Юрий Работин, а также все члены жюри – Галина Короткова, Виктор Селищев, Дмитрий Ломарчук, Александр Полынников, Виктор Ноздрюхин-Заболотный – искренне благодарят всех, кто принял участие в конкурсе. Мы желаем нашим авторам вдохновения и творческих успехов. Мы и в дальнейшем будем продвигать и пропагандировать участников конкурса. А из отснятых фильмов, есть такая идея, возможно, родится отдельный кинофестиваль «Одесса, любовь моя!». Кроме того, жюри конкурса планирует в ближайшее время издать все присланные сценарии отдельным альманахом.

Сергей Куркаев,
продюсер литературной части проекта

От редакции. Первые три места на конкурсе завоевали Е. Вечканов, В. Дроздовский и А. Керпель. В этом номере мы публикуем один из текстов.

Владимир Дроздовский

Анна

Солнечное ясное утро начала октября. Клены, каштаны, старые платаны, растущие в центре города, меняют цвет своих зеленых крон на ярко-желтый и оранжевый, преображаясь до неузнаваемости. На ветвях видны иногда украшения из осенних паутинок с нанизанными на них бусинками утреннего тумана, частого гостя в это время года. Умиротворенность во всем – в небе, в воздухе, в людях. Одесское бабье лето.

Небольшой, но стильный офис в новом стеклянном здании в центре города. За столом сидит молодой человек лет 28, модно, но не броско одетый. Перед ним – ноутбук и несколько мо-

бильных телефонов. На полу – японские высокие вазы с цветами. В углу на маленьком столике – фикус-бонсай с витиевато закрученным стволом. Рядом – небольшой настольный водопад, звуком журчащей воды несколько разбавляющий деловую атмосферу кабинета. На стене висят картины с изображением восхода солнца над пустынным иссиня-бирюзовым морем, парусника, плывущего по высоким волнам под грозовым небом.

Молодого человека зовут Сергей. Лицо его не то чтобы красиво, но приятно. В глазах – некоторая меланхолия. Он успешен.

В кабинет заходит девушка – его секретарь:

– Сергей Иванович, на какой день нужно подготовить отчет?

Сергей с отсутствующим видом:

– На завтра к 10 часам.

Девушка, разочарованная явным невниманием к себе, говорит: «Хорошо. Я все поняла», – и выходит из кабинета.

Звонок по мобильному телефону:

– Здравствуйте, Сергей Иванович! Сделка сегодня в 12 часов. Все документы готовы. Мы вас ждем.

– Хорошо. Буду, – несколько оживившись, говорит Сергей. Он давно мечтал жить в центре города в старом, но крепком доме, с большой парадной лестницей и высокими потолками. После рассмотрения многих вариантов он остановил свой выбор на не очень большой квартире на улице Бунина, между Екатерининской и Пушкинской. Квартира находилась на последнем, четвертом этаже, красивого старого здания, построенного еще в XIX веке. И самое главное, что привлекало его в этой квартире, – это небольшая, метров двадцать, мансарда, запыленная, с балками, изъеденными жуками, под крышей. На мансарду вела приставленная к потолку из коридора лестница.

Без десяти двенадцать Сергей подъезжает на своей машине к офису агентства недвижимости на улицу Гоголя. Директор, женщина лет сорока пяти, поднимается из-за стола и с улыбкой, с симпатией говорит:

– Здравствуйте, Сергей Иванович! Рады вас видеть. Кофе, чай?

Сергей:

– Нет, спасибо.

Присутствующие риэлтор и секретарь, симпатичные молодые девушки, с интересом смотрят на него. Он не обращает на них внимания. Как говорят, «на своей волне».

Все подписывают необходимые бумаги. Сделка заканчивается. Сергея поздравляют наперебой:

– Сергей Иванович! Будьте счастливы в новой квартире!

– Всегда рады вас видеть!

– Желаем удачи!

Сергей говорит всем «спасибо», кивает в знак благодарности головой и выходит. Девушки восторженно смотрят ему вслед.

Мягкий безветренный вечер. Сергей подъезжает к подъезду дома на улице Бунина. Дверь в подъезд на кодовом замке. Фасад дома в некоторых местах облуплен. Проглядывает в свете уличного фонаря надпись «Домъ … Про…ва… 1886 годъ». Сергей поднимается по пустынной мраморной лестнице с отбитыми кое-где старинными, с рисунком, ступенями на последний, четвертый этаж.

Высокая, около трех метров, старая, много раз закрашенная дверь. Коридор. Справа кухня, слева туалет и душ. Большая, метров тридцать, комната с высокими, четырехметровыми потолками и лепниной по периметру. Пол – старый паркет. Балкон выходит на улицу. Не застеклен. В квартире тишина. До покупки Сергеем в ней не жил никто больше года. Он с пакетом в руке поднимается по лестнице на мансарду. Лампочки нет, и он спускается вниз на кухню. Находит небольшую свечу и поднимается опять наверх. Зажигает свечу и подходит к треугольному выступающему в ночь окну. Из него открывается вид на старую Одессу. Вдалеке видны огни высотных домов. Несколько минут Сергей смотрит на вечерний город и проезжающие внизу машины. Поворачивается и случайно задевает плечом старую этажерку. С нее что-то падает. Сергей наклоняется и свечой в руке освещает пол – там лежит упавший старый фотоальбом. Рядом – выпавшая из альбома пожелтевшая фотография молодой женщины в длинном белом платье. Правой рукой она опирается на перила. Слева, немного позади, – колонна со стоящей на ней вазой с цветами. На картоне, на который наклеена фотография, выдавлена надпись с вензелями «Фотографія Зюхнова. Прѣображенская уголъ Б. Арна-

утская. 1911 годъ». На обратной стороне надпись: «Маменьке отъ Анны».

Сергей ставит снимок на подоконник, рядом с ним – зажженную свечу. Наливает на дно бокала коньяк, садится на старый стул и всматривается в лицо женщины. Глаза ее, словно живые, и излучают тепло и свет. Сергей смотрит долго и влюбляется в эти глаза. Он вдруг понимает, что всю жизнь искал взгляд этих темных глаз. «Это она, она…» – шепчет Сергей.

Фотография постепенно увеличивается, становится реальностью. Сергей, одетый в длинный пиджак-сюртук, жилетку, с прической, с небольшими усиками, слегка загнутыми кверху моды начала прошлого века, и с тросточкой в руке стоит перед витриной фотографии Зюхнова на углу Преображенской и Б. Арнаутской. На одном из вывешенных портретов – молодая женщина с красивыми темными глазами. Сергей заходит в помещение. Звенит подвешенный рядом с дверью колокольчик.

Хозяин, г-н Зюхнов, невысокий полный человек в жилетке: «Добрый день! Что вам угодно?».

Сергей:

– Вы не знаете, кто эта дама, изображенная на портрете в витрине?

Хозяин:

– Кто она – не знаю, но барышня, приходившая с нею, называла ее Анной. Проживает где-то в центре города. Мне понравились черты ее лица, и в особенности глаза, поэтому я и вывесил этот портрет в витрине.

Сергей:

– Скажите, а нет ли у вас еще одного портрета этой дамы? Я бы купил его у вас.

Хозяин:

– Портрета нет, но осталась небольшая карточка. Сию минуту!..

Хозяин заходит за ширму и выносит фотографию Анны, изображенную рядом с бутафорскими перилами и вазой с цветами. Сергей дает ему деньги:

– Спасибо! Всего хорошего.

Хозяин:

– Делаем любые фотографические карточки и портреты высшего качества. Всегда рад вас видеть! До свидания!

Сергей выходит из помещения фотографии и подзывает стоящего на противоположной стороне извозчика.

– Куда прикажете?

– К Соборной площади. Только медленно.

– Слушаюсь!

Лошадь идет шагом вдоль тротуара по Преображенской. Сергей, сидя в коляске, всматривается в лица проходящих по улице и выходящих из магазинов и кондитерских молодых женщин, имеющих хоть некоторое внешнее сходство с Анной. Их коляску обгоняют другие коляски с сидящими в них мужчинами и женщинами в шляпках и с зонтиками в руках. Прогромыхала мимо телега, груженая дровами, запряженная ломовой коренастой лошадью. Сидящий на козлах биндюжник неодобрительно посмотрел в лицо «барина» Сергея и пробормотал, недовольный медленной ездой его коляски: «Ох, уж эти господа!».

На углах улиц, пересекающих Преображенскую, важно стоят городовые в белых кителях, высоких сапогах и пистолетом в кобуре на боку. Усы у них настолько велики, что наводят страх на многих. Они внимательными и серьезными глазами следят за порядком. Возле некоторых подъездов домов стоят дворники в белых фартуках и с длинными, до середины груди, бородами.

Дрожки с сидящим в них Сергеем медленно движутся по Преображенской улице вдоль домов с лепными украшениями на фасадах и красивыми коваными железными воротами. Не увидя в проходящих барышнях Анны, Сергей останавливает извозчика возле Соборной площади. Пройдя по ней, он подходит к дверям Собора, продолжая поиски. Тщетно. Входит в здание Пассажа. Проходит по мраморному полу мимо дорогих магазинов. Преломляемые стеклянной крышей солнечные лучи оживляют скульптуры и барельефы на всем внутреннем фасаде этого прекрасного здания. Под впечатлением своих поисков Сергей находит сходство одного из барельефов с лицом Анны.

Выйдя на Дерибасовскую, он направляется к Городскому саду, из которого доносится музыка. В саду вокруг беседки с оркестром и еще действующего фонтана на скамейках сидят люди. Звучит

вальс Штрауса. Несколько пар танцует. Много детей. Здесь Анны тоже нет. Пройдя Дерибасовскую и повернув на Екатерининскую, Сергей заходит в известное всей Одессе кафе Фанкони. Ему кажется, что он встретится с ней здесь обязательно. Он заказывает кофе и напряженно с надеждой всматривается в лица вновь входящих молодых женщин. Через час уходит из кафе, идет мимо оперного театра в сторону Приморского бульвара, на минуту останавливается у памятника Пушкину с надписью «Благодарные жители Одессы…». Нет, нет и нет. Уставший, он присаживается на скамейку напротив гостиницы «Лондонская».

……

Сергей поднял голову и недоуменно осмотрелся вокруг: он сидел на стуле перед окном мансарды, из которого была видна уже просыпающаяся Одесса. На подоконнике перед ним стояла пожелтевшая фотография молодой женщины по имени Анна. Потухшая свеча растеклась по подоконнику узором, напоминавшим букву «А» с завитками. Сергей спускается вниз, на кухне выпивает кофе, кладет фотографию в карман куртки и выходит из дома.

Он ходит по улицам города, безотчетно повторяя ночной маршрут. В старых домах на улицах в центре расположены магазины, кафе, фотостудии, только с современными витринами и светящейся по вечерам рекламой. Город полон дорогих и недорогих машин. Кое-где между домов старой постройки одиноко блестит фасадными темными зеркальными стеклами современный торговый или офисный центр, словно напоминая людям о том, что на улице XXI век.

Свернув с Преображенской на Дерибасовскую, Сергей заходит в Городской сад и присаживается на скамейку возле фонтана рядом с очень пожилым мужчиной, который опирается двумя руками на стоящую перед ним палку. Оркестр в беседке играет вальс Штрауса. Брызги фонтана образуют радугу, преломляясь в солнечных лучах осеннего дня. Сергей достает из кармана фотографию и смотрит на нее. Мужчина, сидящий рядом, начинает всматриваться в снимок. Затем достает очки и прерывающимся от волнения голосом просит Сергея посмотреть фотографию поближе. Сергей показывает. Мужчина смотрит, в глазах появляются слезы.

– Молодой человек! Откуда у вас эта фотография? Ради Бога, скажите!

Сергей:

– Я недавно купил квартиру и на чердаке нашел старый альбом.

– А эта квартира находится на Бунина?

– Да. А откуда вы знаете?

– Это же фотография моей матери в молодости!

Сергей не скрывает своего удивления:

– У вас была очень красивая мать.

– Вы правы. Хотите, расскажу, как она познакомилась с моим отцом?

Сергей зачарованно смотрит на старика, не видя и не слыша больше ничего вокруг.

– Это было в 1911 году. Моя мать жила со своей семьей в доме отца, в котором вы купили квартиру. Она была очень романтическая натура, увлекалась поэзией, музыкой. Любила иногда встречать восход солнца на бульваре у памятника Дюку. Оттуда открывался прекрасный вид на море. Однажды ранним утром она стояла на краю Потемкинской лестницы в ожидании восхода солнца. Сквозь пелену расходившегося уже тумана моя мать увидела поднимающегося к ней по лестнице молодого человека. Это был мой отец. Встретившись на рассвете нового дня, они уже не расставались никогда. …Можно попросить у вас эту фотографию? Спасибо! Запомните мой адрес и приходите обязательно ко мне. Я буду ждать.

Сергей, ошеломленно:

– До свидания! Обязательно приду.

Он долго еще бродит, впечатленный рассказом старика, по городу.

Вернувшись вечером в квартиру и поднявшись на мансарду, Сергей снова садится возле окна, не в состоянии уснуть, все вспоминая встречу у фонтана. Но усталость берет свое, и он засыпает, облокотившись о подоконник.

Просыпается он внезапно. Город внизу в предрассветном тумане, пришедшем с моря. Какой-то внутренний голос говорит ему: «Иди!». Сергей одевается и выходит из дома.

Раннее утро. Город спит. Туман скрыл верхние этажи зданий, сделав их ниже. Сергей безотчетно поворачивает на Пушкинскую и мимо гостиницы «Красная» идет в сторону Приморского бульвара. Становится все светлее, но так же тихо, только протяжные звуки маяка, зовущие, как и сто лет назад, корабли в порт, слышны в тумане. Пройдя по бульвару, он подходит к памятнику Дюку и останавливается на краю лестницы. Через минуту он слышит звуки приближающихся шагов снизу и в уходящем в море тумане Сергей видит поднимающуюся к нему девушку. Она смотрит на него теми самыми единственными во всем мире глазами, которые были на старой фотографии, и улыбается ему.

– Анна, – говорит она Сергею. – Дедушка рассказал мне о вашей вчерашней встрече.

В руках Анна держит ту самую пожелтевшую фотографию красивой молодой женщины в длинном белом платье.

Туман рассеивается совсем, и в лучах солнца в порт мимо маяка заходит белый пароход.



Виктор Бердник

Летите, голуби, летите…

Иллюзии теряют все,
но происходит это у каждого по-своему.

Человек должен что-то в жизни любить. Неважно что: рыбачить или коллекционировать почтовые марки, выращивать экзотические орхидеи или нырять с аквалангом. Да мало ли? Необходимо быть привязанным душой к какому-нибудь незатейливому и нехитрому занятию, чтобы, посвящая ему себя беззаветно, не замечать времени, потраченного на дело, на первый взгляд, пустое. Наверное, именно тогда ощущение счастья не вспыхивает короткой минутой восторга, а становится долгими часами душевного комфорта, к которым неизменно хочется вернуться.

У Фимы таким увлечением были голуби. В семилетнем возрасте он из детского сострадания притащил домой сбитого машиной сизаря с пораненным крылом и выходил его, а в четырнадцать – уже обзавелся собственной голубятней. Ее Фима соорудил на крыше родительского гаража в тесном дворе на Молдаванке. Вообще-то, гаражом назывался самый обыкновенный сарай. Ничем не лучший остальных соседских сараев, слепленных на скорую руку из ракушняка, где хранилось всякое барахло и шныряли вездесущие крысы. Правда, этот имел дверь пошире, именовавшуюся воротами, и запирался на толстую перекладину, причем непонятно для какой цели. Кроме ржавой панцирной сетки от допотопной кровати, прогоревшего керогаза да пары пыльных костылей потенциальному злоумышленнику там все равно поживиться было нечем. Ни завалящего инструмента, ни банок

с домашними закрутками, ни прочего добра, которому не нашлось места в тесной квартире.

В еврейской семье мальчик, гоняющий голубей, наверное, такая же редкость, как ее глава – алкоголик. Нонсенс, одним словом. Недаром Фимина мама часто слышала неодобрительный шепот дворовых подруг:

– Роза, ну, где это видано, шоб наш, маланский, как байстрюк какой-то по черепице гецал? Купите ему аккордеон, что ли…

Аккордеон Фиме, конечно, купили: немецкий «Вельтмайстер». С бордовым перламутровым корпусом, с белыми переключателями регистров – красавец. Такой в руки взять одно удовольствие, не говоря уже о том, чтобы под настроение пробежаться чуткими пальцами по кнопками и клавишам. Умением растягивать меха и извлекать звуки из роскошного инструмента Фима честно овладел, однако дальше элементарных упражнений учение так и не двинулось. Он кое-как одолел нотную грамоту и уже мертво застопорился на основах аппликатуры. Каждый раз, совестливо вникая в мудреную технику игры, Фима нетерпеливо ждал окончания постылого урока. После часа сидения с уже ненавистным аккордеоном он ощущал шов трусов, влезший в задницу, ерзал на стуле и только мечтал поскорей оказаться в голубятне. Какие уж там ноты и сольфеджио? Так и не пришлось его маме с папой побаловать слух и родительское тщеславие «Королевой красоты» или «Рулой терулой» в исполнении сына. Занятия, к Фиминой радости, прекратились ровно через месяц, ввиду их полной бесперспективности, а вместо этого уже основательно повзрослевший пацан, стоя на крыше и засунув два пальца в рот, свистел, с замиранием сердца провожая в полет пару турманов. По воскресеньям Фима пропадал на Староконном рынке и даже приятельствовал там с такими же, как сам, фанатами, часами просиживая перед клетками с полюбившимися ему птицами.

О голубях Фима вспомнил спустя много лет в Америке, куда, подобно многим одесситам, подался в поисках заграничного счастья. И отправился он за океан вовсе не за туманной свободой совести, слабо представляя суть этого красивого выражения, а за вполне осязаемым материальным благополучием. Оттого, наверное, и не втирал никому очки, объясняя мотивы отъезда:

– Хочу по-человечески пожить. Просто и без лозунгов. Вольготно и ни в чем себе не отказывая. От милихи подальше, к делам поближе, – философски резюмировал Фима, собираясь преуспеть в Штатах не хуже потомков первых переселенцев. И таки преуспел! Не столь головокружительно, как мечтал, но вполне прилично, по эмигрантским меркам: стабильная работа, перспективы роста, две машины в семье. Причем не столетние раздолбанные колымаги, а вполне современные автомобили. В общем, все чин-чинарем. И все благодаря собственному трудолюбию. В Америке деньги не растут на деревьях, как придорожная шелковица или как абрикоса-дичка. Их, правда, можно сделать, но заработать в достаточном количестве – увы, тяжеловато. Фима с первого дня пахал как каторжный, а такие здесь обычно непременно добиваются успеха. Неудивительно, что уже через два года после приезда ему удалось наскрести необходимую сумму на первый взнос за дом.

Его Фиме подыскала русская риэлторша – такая же, как и он, советская эмигрантка. При первой встрече та, невероятно гордая собой от сделанной карьеры агента по недвижимости, снисходительно сыпала специфическими терминами на английском языке, безбожно перемешивая их с некогда родной речью:

– Четыре бедрум и три басс. Восемнадцать хандред сквер фит. За эти бабки? Хардвуд флор! Гранитные каунтеры! Я удивляюсь, как он вообще не улетел и до сих пор остается на маркете…

Фима добросовестно слушал, но не особо вникал в ее фальшиво восторженные причитания, намереваясь самостоятельно разобраться в целесообразности намечающейся сделки. Неизменное правило покупки жилья в Америке – location, location, location – он уже усвоил так же твердо, как и не требующую доказательств истину, что желание брокера продать дом кому угодно несколько отличается от стремления его клиента купить тот для себя.

Надо сказать, что дом Фиме понравился сразу. Двухэтажный особняк с бассейном, расположенный на тихой тупиковой улочке, с первого взгляда внушал почтительное уважение.

«…В такую фатеру и людей пригласить не стыдно», – подумал Фима, окинув взглядом основательное строение светло-терракотового цвета.

«…Не халабуда какая-нибудь задрипанная, – с удовольствием отметил он про себя, удовлетворенный первым впечатлением. – Беру!..»

Помимо прочих очевидных достоинств так приглянувшегося Фиме дома существовало еще одно немаловажное обстоятельство. Оно, конечно, не стало решающим, однако было чрезвычайно полезным. И дело заключалось в том, что его потенциальные соседи оказались тоже эмигрантами из СССР. Ну, чем не благоприятный расклад?

«…Рядом со своими оно как-то привычнее», – рассуждал Фима, резонно полагая, что с соотечественниками легче и проще решить все проблемы.

Цена Фиму устраивала, но, как полагается в этих случаях, он предложил меньшую. Торговаться долго не пришлось, и уже через два месяца семья успешно перебралась в собственный дом. А спустя какое-то время Фимины мысли вернулись к давнему увлечению. Сначала робко, – мол, хорошо бы было. Потом уже уверенней, – а почему бы, собственно говоря, и нет? И наконец, однажды субботним утром, вооружившись рулеткой, Фима принялся вымерять участок для будущей голубятни.

Знакомство с новыми соседями Яшей и его женой Жанной состоялось уже через неделю после переезда. По случаю новоселья Фима тех позвал в гости. Покупка дома в Америке – это всегда волнующее событие. Оно же и, безусловно, этапное – первый крупный долг. Сабантуй по поводу столь значительного приобретения одновременно стал прологом к более тесным соседским отношениям. Под водочку дружба завязывается легко… С тех пор Фима частенько приглашал Яшу с супругой то на пиво с креветками, то на барбекю…

Однажды во время очередного совместного ужина на террасе зоркая Жанна, несмотря на плотные сумерки, умудрилась заметить во дворе каркас странного сооружения и тут же шутливо полюбопытствовала:

– Уж не баньку ли строишь?

– Ее самую, – невозмутимо подтвердил Фима, с удовольствием потягивая пиво.

– Вон и раздевалка через дорогу, – он протянул руку с запотевшей бутылкой в сторону кухни, где на плите варились рачки по одесскому рецепту: непременно с укропом и с лавровым листом.

– Так что, приходите париться, гости дорогие…

Жанна, не успевшая еще привыкнуть к его неизменному юмору, кисло улыбнулась.

– Да ну тебя. А если серьезно?

– Так… Сарайчик для садово-огородного инвентаря, – уклончиво ответил Фима, не расположенный заранее раскрывать своих планов.

Голубятню удалось достроить быстро, но вот с ее обитателями возникли некоторые затруднения. В Одессе Фима, не ломая голову, поехал бы на Староконный рынок и выбрал там чего душа желает, здесь же случилась заминка. Американские зоомагазины предлагали превеликое множество живности, но только не голубей. Продавец, к которому Фима обратился по интересующему его вопросу, лишь промямлил что-то невразумительное, но толкового ответа от него добиться так и не удалось.

Пришлось искать голубей по интернету. В итоге Фима приобрел бирмингамских роллеров, очень похожих на самых обыкновенных гривунов, которых ему приходилось разводить в Одессе. Только там те были белоснежными с цветным пятном на шее, а американские оказались рябые с темным оперением от головы до крыльев.

С каким трепетом Фима открыл клетку и прикоснулся к голубке… Та спокойно далась в руки и уже вскоре безбоязненно вспорхнула на жердочку в новом жилище, любовно подготовленном им для четырех пар. Вслед за голубкой последовал ее верный спутник и потом уже все остальные птицы, выбирая для себя постоянный насест. От дружного воркования стаи Фима едва не прослезился, настолько этот звук будил в нем дорогие сердцу воспоминания.

Теперь ему предстояло приучить голубей к месту, а только потом выпускать их в небо. Фиме, давным-давно усвоившему эту науку, было не привыкать ко всем ее премудростям. Даром, что ли, он столько времени возился с птицами? Сразу после работы Фима, наспех перекусив, спешил к своим пернатым питомцам. Чистил поддоны, менял воду, подсыпал в кормушки любимое лакомство голубей – семена аниса. Время катилось незаметно. Наконец, после месяца приготовлений Фима дал голубям облететь

территорию. Гонять их было еще рановато, и он с нетерпением ждал подходящего дня, собираясь пригласить зрителей, Яшу и Жанну, чтобы и те могли насладиться великолепным зрелищем.

Однако реакция соседей на его живой уголок оказалась не столь восторженной и благожелательной, какой Фима ее себе представлял.

– Голуби? – брезгливо поморщилась Жанна, наконец распознав предназначение таинственного сооружения во дворе. – Они же разносчики всякой заразы! Туберкулеза! – закудахтала та, не на шутку перепуганная опасностью вдруг подхватить инфекцию. У нее даже щеки побелели, словно Жанна узнала, что пила из одного стакана с пациентом кожно-венерологического диспансера. Да чистый караул!

Увидеть столь явное неприятие своих любимцев Фима никак не предполагал, и потому слегка растерялся, а вместо того чтобы продемонстрировать всю красоту птичьего полета, ему пришлось успокаивать не в меру разволновавшуюся соседку:

– Жанночка, золотце, не волнуйся. Ничего не угрожает твоему драгоценному здоровью.

Однако та, плохо скрывая недовольство иметь голубятню в непосредственной близости от окон своей спальни, лишь безнадежно махнула рукой и предусмотрительно отошла в сторону. Яша, собираясь присоединиться к супруге, тоже скептически поинтересовался:

– Послушай, а они не обосрут все в округе?

– Господь с тобой! – Фима усмехнулся, услыхав его опасения. По всей видимости, тот вспомнил какой-нибудь памятник, обгаженный городскими сизарями, сотнями обитающими на площадях и в скверах. Оно и немудрено. Подобный – графу Воронцову на Соборке в Одессе – был перманентно обсижен этими птицами, бессовестно превратившими генерал-фельдмаршальские эполеты на плечах бронзовой фигуры в белые бесформенные бугры.

– Голубь – это символ мира, – добавил Фима снисходительно, уже чутко уловив, как в приятельских отношениях с соседями возникла первая глубокая трещинка.

– Для кого-то, может, и символ, – скорбно покачал головой Яша, красноречиво кивнув на свои хоромы за массивным забо-

ром, – а для кого-то источник продуктов жизнедеятельности организма.

– Только не для вас, – поспешил заверить его Фима, – я гарантирую, что беспокоиться ни тебе, ни Жанне не о чем. У меня же высоколетные голуби, а не какая-нибудь босота…

Прошло несколько месяцев, и атмосфера вроде бы сама собой разрядилась. На Фимино необычное увлечение Яша и его дражайшая половина уже не косились подозрительно, тем более что, как он и обещал, каких-либо неудобств от птиц совершенно не возникло. Во всяком случае, так Фима хотел думать… Да он и сам не злоупотреблял терпением людей, с которыми уже приятельствовал. Без преувеличения, Фима заботился о чистоте голубятни не меньше, чем его жена драила кухню. Недаром вылизанная там плита и посуда всегда сияли к гордости ретивой хозяйки.

Похоже, мирное сосуществование никак не нарушилось, и взаимоотношения с соседями остались прежними. Правда, забегали на пиво или шашлычок Яша с Жанной теперь не так часто, как раньше, но и демонстративно не сторонились Фиминой компании. Он даже с облегчением вздохнул, убедившись, что возникшая тень конфликта, о котором поначалу переживал, бесследно растаяла. Фимино свободное время ныне целиком было посвящено любимому занятию, и он, вероятно, с полным правом мог бы назвать себя счастливым человеком. Однако счастье, как небосвод в осеннюю пору, редко остается безоблачным. Того и гляди, на горизонте появится тучка… Неприятность свалилась на Фимину голову неожиданно в виде официальной бумаги, в одно мгновение лишавшей его возможности иметь это счастье.

В тот же день, повстречав на улице Яшу, выкатывавшего из двора мусорные баки, он с грустью поделился плохой новостью:

– Представляешь, получил сегодня письмо из городского управления. Какая-то гнида накатала на меня телегу.

От услышанных слов Яша стал смурной. У него тревожно забегали глаза, и он нехорошо отвел их в сторону.

– Нашлась крысиная задница, которой помешали мои голуби, – сокрушался Фима, – ну, не паскудство? Чтоб тебе уже повылазило! – проклинал он неизвестного недоброжелателя. – Да при-

ди ты и скажи по-людски, зачем же доносы строчить? Ох, жаль, что не знаю, кто эта падла…

Фима не был зол, но его глодали прежде неведомые чувства. Разочарование? Наверное. Иллюзии теряют все, но происходит это у каждого по-своему.

– И что теперь? – осторожно участливым тоном спросил Яша.

– Да уж ничего хорошего. Я должен держать голубей дома в клетке. Ну, не абсурд? Они ж не канарейки, – Фима растерянно развел руками. – Голубю полет нужен! Простор!

Так и остался бы навсегда он в полном неведении об авторе злосчастной кляузы, если бы не случай. Однажды почтальон по ошибке кинул к нему в ящик печально знакомый конверт. Таких писем Фима уже получил несколько – грозных уведомлений из городского управления. Первое содержало требование не выпускать голубей летать над соседскими владениями, затем пришло второе, предписывающее убрать голубятню с участка. И вот, наконец, теперешнее. Завидев обратный адрес, Фима, ожидая увидеть очередное досадное распоряжение, в спешке открыл конверт, даже не поглядев на имя и фамилию получателя. Да и кому на его улице могло прийти подобное письмо, как не Фиме – злостному нарушителю правил содержания птиц и животных в жилом районе?

«…Что за ерунда? – удивился он, проскользнув глазами по первым строкам вложенной туда бумаги. – …Этого не может быть!» – стыд и шок Фима испытал одновременно. Стыд по причине вскрытого чужого письма и шок по поводу его содержания. Он буквально оторопел, прочитав короткое послание соседям Яше и Жанне, извещающее тех о принятых мерах в ответ на их жалобу. Клерк, занимавшийся этим делом, не просто отписался, обещая помочь, а действительно подошел к вопросу с должным рвением и усердием.

«…Господи, какие дряни», – Фима вспомнил, как еще совсем недавно принимал у себя супругов, и почувствовал, как у него сдавило грудь.

«…А я их за стол усаживал, хлеб с ними делил», – продолжал изводить себя он ощущением поруганного гостеприимства. Окажись злопыхателем, затеявшим извести его голубей, любой дру-

гой человек – и Фима воспринял бы эту неприятность как должное. Расстроился бы, конечно, но что тут поделаешь? Ну, не нравятся кому-то птицы, парящие в небе. Да мало ли какие могут найтись причины? Американцы у себя в стране и в полном праве призвать чужеземца к установленному порядку. Но эти?! Его разлюбезные соотечественники! Люди, вроде бы связанные с ним общей культурой и традициями? Ведь и Фима, и Яша, по логике вещей, должны держаться друг за друга! Пусть не помогать, но хотя бы не топить…

Столь сильного потрясения Фима, пожалуй, никогда не переживал. Так случилось, что его ни разу не предавали. И с подкожными злыднями ему тоже водиться никогда не приходилось. Оттого у Фимы сейчас оголенным нервом свербила боль, как у человека с открытой натурой, внезапно осознавшего до конца, что причинить страдания могут только близкие люди. Ему вдруг свежо припомнились некоторые замечания Яши и Жанны, отпускаемые ими непроизвольно, и которым он не придавал значения. И зря… Только теперь многие странности в поведении соседей, казавшиеся Фиме мелочами, вдруг получили исчерпывающее объяснение.

«…А ведь эта парочка относится именно к тем субъектам, которые, обронив доллар, не столько думают о том, что его лишились, сколько переживают по поводу того, что его кто-то найдет…»

Он перебирал в памяти совместные беседы за чаркой, вдруг высветившие сейчас всю мерзопакостную гниль этих людей, казавшуюся прежде Фиме не более чем простительным скудоумием.

«…Да что теперь о них? Голубей жалко», – Фима чуть не заплакал, вообразив на минуту, что придется расстаться с птицами. Впрочем, невеселые думы одолевали его недолго, подсказав единственно правильное решение…

Дом Фима с тяжелым сердцем поставил на продажу. Желающие приобрести его нашлись быстро. Америка переживала бум на недвижимость, и ценовой пузырь раздувался день ото дня, подогретый нездоровым ажиотажем рядового обывателя вдруг зашибить легкие деньги. Ну, мол, чем я хуже? Если кто-то может на-

жить, то что мешает обогатиться и мне? Впереди у страны маячила финансовая пропасть, но ее никто не замечал. Или не хотел замечать?.. Все вдруг заделались инвесторами, не желая упустить редкий шанс. Неудивительно, что в такой ситуации Фимин дом оказался лакомым куском, за который среди алчных спекулянтов разгорелась нешуточная борьба. Он только успевал подливать масла в огонь, перезванивая потенциальным покупателям и сообщая тем о происках конкурентов.

– Дают на десятку больше… Еще пятерку накинули…

От услуг брокера Фима отказался напрочь, чем очень разочаровал ту самую русскую риэлторшу, узнавшую от общих знакомых о планах бывшего клиента.

– Ты не сможешь сам ни продать дом, ни приобрести новый, – недовольно буркнула она, расстроенная фактом уплывающих из рук верных комиссионных. Однако Фима только посмеялся в ответ, когда та ему позвонила:

– Смогу, еще как смогу. Делов-то – занести бумаги в ЭСКРОУ*. Особого ума для этого не требуется. Там только того и ждут – ведь не за красивые глаза стараются. Так что, спасибо за заботу, милая, но, звиняйте, я уж как-нибудь сам разберусь.

Он даже успел присмотреть другой домишко и старался совершить обе сделки с максимальной выгодой. На этот раз его соседями намечались любители лошадей. Дом, выставленный на продажу рядом с их небольшим ранчо, вполне соответствовал Фимину вкусу, а самое главное, в том месте он мог беспрепятственно держать голубей. Территория вполне позволяла, да и чужие угодья располагались на приличном расстоянии. Не говоря уже о том, что чистому душой человеку, а потому близкому к живой природе, голубятня такой же приют для божьей твари, как и конюшня. Да и голубиный помет для него ничем не хуже конского навоза. Правда, домик, который Фима обхаживал, находился чуть ли не на окраине города, на выселках, но в Америке этот фактор крайне условен. Далеко от чего или от кого? Машина всегда под боком, хайвэй рядом…

* ЭСКРОУ – в англо-американском праве депонирование у третьего лица денежной суммы на имя другого лица, с тем чтобы она была выдана ему лишь после выполнения известного условия.

Яша с Жанной, очевидно, что-то пронюхали, потому как избегали встреч с Фимой, и вообще, затаились, как мыши. Или почувствовали, что ему стали известны их подлые козни? Во всяком случае, Фима с ними больше не сталкивался. Но не попрощаться не мог…

Как раз в тот день, когда большой грузовик, загруженный домашним скарбом, отъехал и направился по новому адресу, он, бросив последний взгляд на участок в саду, где еще совсем недавно возвышалась голубятня, решительно направился к уже бывшим соседям. Дверь открыл Яша и растерянно застыл на пороге. Увидеть здесь Фиму он никак не ожидал, и потому сильно смутился.

– Уезжаешь? – упавшим голосом, наконец, проговорил он, сомневающийся, что сказать напоследок.

– Уезжаю.

– Жаль.

– Мне тоже жаль, – грустно улыбнулся Фима и испытующе заглянул в Яшины глаза, будто ожидая увидеть в них раскаяние. Да и простил бы, наверное, повинись тот ему сейчас в своем злонамеренном поступке. И обиды не держал бы потом. Ну, кто не совершает ошибок в жизни? Пусть даже таких горьких. Однако Яша не проронил ни слова, предпочитая хранить равнодушное молчание.

– Жаль, – повторил Фима, так и не услышав, чего хотел.

– Жаль, – уже спокойно проговорил он и с отвращением плюнул Яше в лицо. Потом развернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь…

США

Ирина Беньковская

«До сна ли тут, когда сгустилась мгла...»

Амстердам

Скоро кончится всё, а пока рука, натыкаясь на
пряжку, узел – впотьмах, впопыхах – нащупывает пропажу,
и железо с лязгом цепляется за железо, и тоненькая струна
все поет во тьме, и скулит рожок, поднимая стражу;

не отсрочить конец, и гудит-спотыкается барабан,
и рифмуется красное с красным, кушак с камзолом,
золото с позолотой,
птичьи лапы на шляпах, широкий шаг, рукоять на весу, туман;
переходим на бег; и когда рожок захлебнется высокой нотой,

напоровшись на сталь, обомрешь и очнешься
в мерцающей черной реке –
в стороне, в уголке, под дальний грохот чужой победы;
там фарфоровый рукомойник, и тени на потолке,
стылый край прикипает к губам, и колышутся копья Бреды,

зарастают легальным каннабисом-забытьем
берега, очертанья, границы, пути-дороги;
если схлынет жар – будет свет, окно, водоем,
женский профиль, далекий колокол, галочка в каталоге.

Так прощается жизнь, вытекая по капле, теплится напослед
тихим лепетом, тусклым золотом, вполнакала –
просквозит на просвет и без боли сойдет на нет.
Но быстрее и правильней – рухнуть во мглу канала;

пыль, свечение, облако; контуры неясны –
будто кто-то заботливый выдул с полки сгоревший порох;
и какие сны, говоришь, приснятся, какие сны
в этом самом сне? А такие, брат, от которых

отшибает навеки память. Одна лишь тоска жива;
налегке, все свои укрепления сдав без боя,
знай себе наблюдай, как, смыкая края, без следа,
без крови, без шва
заживает прореха, оставленная тобою.

Оттого-то и длится миг, и слезный не тает ком,
и растраву копит невидимая запруда;
вспышка, птичка, улыбочку. И карлица с петухом
не отводит глаз, и сияет свет – не понять, откуда.

Дом Руссова

завтра еще всплакнешь над ограбленным градом
гроздью горелой лепнины, обугленным виноградом

кроткими кариатидами, хрупкими куполами
ну, а пока гляди, как полыхает пламя

пляшущий объектив, запотевает линза
жаркая головня пляшет в руке ордынца

конница с визгом ввинчивается в город, как дрелью в стену
словно пуля – навылет, как нож – меж ребер, осколок – в вену

с визгом, хохотом, топотом; пружинит посадка волчья
вот вам гостинец, горит детинец, что ж вы стоите молча

знаки огненных стрел, топот мохнатых лошадок
лисьи хвосты над площадью пляшут, мечутся; сладок

сладок ли дым отечества, жизни, которой не будет, –
осень выжжет под корень, после зима остудит –

башенок, куполов, всех флорентийских штучек
каменных шоколадных долек, ирисок-тянучек

всех бесполезных радостей, гибких певучих арок
горький грецкий орех, горький город-огарок

здравствуй, чума
прощай, осень в равеннской сини
мерзлая изабелла, слоганы на латыни

всё, что навек осталось среди сиротских скорлупок
Фаустовых пробирок и фарфоровых ступок

там, где все длится ночь по вечным своим законам
там, где стрела впивается в кровлю с гортанным стоном

где смола с крепостной стены льется в темень, не остывая
где брезентовая змея бьется в судороге живая

* * *

Свет на том берегу. Стол заказов, бюро находок,
порт приписки всех затонувших подводных лодок,

столб вдали верстовой, место встречи и дом свиданий,
грязный скомканный лист неоправданных ожиданий;

на ладони свистулька из глины огнеупорной.
Вглубь, и вниз, и вперед. Вот сомкнулся свод
над водою черной.

Стонет молот, уходит холод; из-под пологих
сводов мерно доносится сердцебиенье многих.

И нельзя вздохнуть, и скрипит ладья, и не видно света.
Чье-то имя мешает петь, как во рту монета.

Четвертая стража

Тот, кто войти под твой стремится кров,
поет, не выговаривая слов;
не кашляет охрипшим nevermore'ом –
в невидимые дует паруса,
и тонкие чужие голоса
ему бесстрастно подпевают хором.

До сна ли тут, когда сгустилась мгла.
Жужжи, жужжи, казенная игла,
верти волчок, царапай дно колодца;
искрится нить в стеклянном колпаке,
и свет ее с той мглой накоротке,
что в стены ненадежные скребется.

Твой терпеливый гость тихонько трет
напильничком мышиным взад-вперед.
Поет волчок, подрагивает веко;
жужжи, жужжи, наматывай круги.
Снаружи, как положено, ни зги,
ни зверя, ни звезды, ни человека,

что, собственно, не значит – ни души.
Звени ключом, бумагами шурши –
не отменить присутствия, дыханья
и в воздухе особой тесноты,
что предваряет взгляд из темноты
и влажных крыльев легкое касанье.

И, в общем-то, всего осталось чуть –
неловко улыбнуться и шагнуть

навстречу, путь себе отрезав к бегству,
и губы разомкнуть не без труда,
чтоб прошептать дежурное: «Куда
ведешь меня?» И далее по тексту.

Юг

В заведении средней руки, в неурочное время, в полу-
мраке, в обнимку, покачиваясь под Пьяццолу –

раз-два-три-четыре, разматывая клубок, вывязывая цепочки
шаг назад, безымянным пальцем на позвонок –
такие тире и точки

раз-два-три, умри-отомри, у меня внутри заводная птица
всё уже позади, ничего не жди, ничего уже не случится

дело техники – все эти ножницы, петельки да восьмерки
а тем временем где-то сам-друг со стаканом в своей каморке

управдом безымянных кладбищ сидит пригорюнившись,
ждет приказа –
ни в одном глазу, точит-давит слезу, а она не идет, зараза

он сидит, вспоминает былые деньки, золотую сказку
пустыри да подвалы, трюмы, забитые под завязку

вспоминает, в стакан подливая рукой одеревенелой,
как хватили сплеча тесаком – до патагонских снегов, до белой

жгучей рези в глазах – сверху вниз по карте, от севера и до юга
и светила лампа в лицо на краю девятого круга

спой мне, хриплая птичка, повадку свою позабыв воронью,
как заталкивают в авто, на затылок нажав ладонью

как отходят эскадрой Хароновы лодки от номерных причалов
и про то, что ток – это просто боль, а не разность потенциалов

но в широком наклонном луче – беспечальная, золотая –
пляшет тонкая пыль, то снижаясь, то вновь взлетая

если долго глядеть на фламандский столб золотого света –
осторожно прищурившись, встав чуть поодаль, где-то

в десяти шагах – плюс-минус, коли расчет неточен –
открываются там врата, сквозь которые – если очень

попросить, тогда – молчаливых, чужих, с синевой на скулах,
отпускают вас на побывку, как Диоскуров –

не надолго, а так – взглянуть, как тихонько скользит по полу –
раз-два-три-четыре – знакомая чья-то тень,
плача под Пьяццолу

и – назад, туда, где ни страх, ни тлен уже не лишат покоя

что мне делать теперь без тебя, mi bien
что мне делать с тобою

Южный Крест

Ты догонишь меня. Круглой высохшей тыковкой ткнешься
в ладонь,
металлической трубочкой звякнешь о край.
Горстью горькой травы
вмиг сведешь гортань; женской тенью с визгом закружишься
осолонь,
взмахнув шерстяным одеялом с прорезью для головы.

Многоствольная хриплая флейта, труба, из которой дым,
якорь, глиняная голубка, зацепка, зарубка, шрам

на болотно-бежевой карте, обтрепанной по краям,
золотистая узкая кромка, окаймленная с запада голубым.

Горький край, где куда ни кинь – упирается глаз
или в горную цепь, или в синюю гладь, – погляди мне вслед,
ледяной иглой наугад, вслепую, сквозь войлок лет –
прямо в сердце, туда, где капелька запеклась.

Потайной узелок в развеселом тряпичном ковре,
зоркий птичий глазок, бирюзовое зернышко в серебре –
не сглотнуть комок, и не выкинуть ни черта
из набившей оскомину песни; на дворе и в календаре –
новый век, но корявые буквы на бурой коре
знай растут себе с каждым годом, хоть четкость уже не та –

расплывается, ноет, и путаются слова,
под селитряным солнцем стынет вода-слюда;
мелкой россыпью разбрелись по склонам твои стада,
и знакомой стойкой отравой горчит трава.

Пентатонный подземный стон из расщелины, где темным-
темно даже днем, поднимается, словно дым
от невидимого, от неведомого огня.
Всё проходит, ничто не пройдет. Догони меня,
забери домой, укутай коконом шерстяным.

Век бы так лежать, коленями заслонив живот,
век смотреть, как сочится по чайной ложке янтарный свет,
век бы слушать, как глухо и внятно берцовая флейта поёт,
иногда срываясь на невыносимый фальцет.

Песенка

слово на ветер, стая
с клекотом на карниз
черная, винтовая,

дрогнула, как живая
конус улиткой вниз

не отдышавшись толком
в пропасти между волком
и беспородным псом
всё растолкать по полкам
не хлопоча лицом

сдавит, потом отхлынет
чай беспризорный стынет
известь хрустит в крови
в скважине ключ заклинит
letum non omnia finit
не улетай
живи



Татьяна Партина

«Сегодня День сурка...»

* * *

Почему-то сегодня я вновь возвращаюсь туда,
Где лежит моя боль, и слезами ее поливаю,
И ее оживляет соленая эта вода,
Словно южный туман прилетевшую с севера стаю.
Там уже никогда ничего не смогу поменять,
Лишь бессильно кричу сквозь незримые прочные стекла.
Равнодушное время меня не желает понять,
И на крик отвечает моим отражением блёклым.
Я сегодня мудрее, но глуп этот в прошлое взгляд,
Равнодушна ко мне эта мертвая боль вековая.
И кричи – не кричи, возвращается время назад,
Всё вернув на места, никогда ничего не меняя.

* * *

Как противно за окнами воет кошак,
Как бела за окном темнота!
Я терплю этот снег, я люблю этот мрак,
Даже этого злого кота,
Что ругает в сердцах предвесеннюю ночь,
Крыс в подвале и собственный страх.
Что ли, сесть у окна и бедняге помочь,
И ругать эту ночь до утра?..

* * *

Как дикая кошка – карабкаться выше
Балконов по веткам уставшего клена
И чуять, как небо далекое дышит
Свободой и листьев шуршаньем зеленым.
О это звериное счастье побега
Неведомо людям в халатах и тапках…
Все в наших когтистых израненных лапках –
Мы можем бежать, позабыв о ночлеге,
О том, что мешало бы счастью и неге.

* * *

Скоро теплую осень прогонят дожди, как обычно.
Даже солнце не может быть ласковым круглогодично.
Почему понимать в этом мире и верить непросто –
На вопрос не ответить, и, в общем-то, нету вопроса.
Вот картинка висит, из которой утеряны пазлы.
Так и в жизни деталей порою, увы, не хватает.
Если наших намерений истинный повод не назван,
Что-то важное этот дырявый сюжет упускает.
Излучаю тепло. Только нежность и лето не в моде,
И за окнами листья о чем-то шуршат цвета чая…
Нет банальности большей – но все в этом мире проходит.
Ничего не хочу, лишь скучаю, скучаю…

* * *

Стог, сеновал, золотые травинки,
Теплая осень, ромашки, метели,
Солнце – запутались в прядях блондинки,
Взгляды мужчин, покоренные цели.
Планы коварные, ночь без рассвета
В прядях запутались темноволосых –
Твердо мужчины уверены в этом…
Вот и приходится красить нам косы.

* * *

Сегодня День сурка. «Весна наступит», –
Сказал честнейший из земных существ.
А ты идешь, как рыжая, в тулупе,
Когда весне объявлен благовест.
Но где ж она? Ни слова, ни полстрочки
Не прочитать в бесцветных небесах…
А вот уж на кустах набухли почки,
Но злой мороз за них внушает страх.
Еще не раз февраль из плюса вычтет
Свои очки, морозных полон сил.
Но рыжий кот по-мартовски почти что
Уже за холку кошку теребил.
Она ему по наглой рыжей мине,
Конечно, тут же настучала всласть…
Но тает снег (как деньги в магазине)
При ясном свете, превращаясь в грязь.
Не жаль его, не жаль сосулек стаю
Исплакавшихся, сдавшихся в борьбе…
И я сама, наверное, растаю,
От первых теплых мыслей о тебе.

Гадание

Люблю – не люблю – вырываю странички блокнота
Один за другим, а в сторонке ромашка белеет.
И чудится в ней нереально тревожное что-то.
– Ну кто же поднять на нее свою руку посмеет?
Пусть рушится всё, но терять неживое – не страшно.
Иллюзию жаль, только время ее на исходе…
Спокойно свой век доживает в графине ромашка.
И так он мне дорог, что слово «люблю» – не подходит.

Генрих Грохольский

«Я – дерево без коры...»

Анчар

Я существую во всем
безысходном.
Я стал антиподом.
Мне все равно идти
некуда.
Не кануть бы в Лету,
Не подружиться
с угрюмым ветром…
Я – дерево без коры,
обожженное
бесстыжим цветом,
Живу незримо между
землей и небом.
Корни и крона – мы вдвоем,
Боль и шепот воссоединяя,
Растем, повторяя родство
Берега с рекою,
Ветвей с листвой, птичье
Гнездо с ископанным
пятачком…
Выходя из земли, осознаю я,
Что искони стало моим
ремеслом –
Прятать всех от дождя,
коня удерживать,

Спасать от исступления
зноем,
Делить подчас всё
на мертвое
и живое…
Я – дерево, выросшее
из колючей листвы алоэ…
В небо мое врос потолок,
Твердью стал подоконник…
Но мне все равно
идти некуда.
Не кануть бы в Лету,
Не подружиться
с угрюмым ветром.
Я – дерево без коры,
Обнаженное раз в сто лет
бесстыжим цветом…

Как праведным быть?

…От трех грехов избавиться мне надо бы,
чтоб праведным себя считать:
Первый, когда даю обещания и не выполняю их.
Второй, когда Правду убиваю, как Каин брата…
А третий – каждодневно в содеянном каюсь
и грешу опять.
…Три дерева посадить бы мне надо,
чтоб праведным себя считать:
Одно, чтобы след свой на земле оставить.
Второе, чтоб тень времени опорой была,
А третье, чтобы увидеть, как созревает плод
моего же труда!
Всего три монеты найти бы мне надо,
чтоб праведным себя считать:
Одна, чтоб к делам принуждала,

Другая, чтоб деньги умел считать
и не жалея их тратить!
А третья – о деньгах и вовсе не думать!
...Три истины познать мне надо бы,
чтоб праведным быть:
Первая – почему умирают?
Вторая – для чего жизнь человеку дана?
А третья, кому доверить тайну, если ну никак.
Не могу заставить себя
от этих грехов избавиться!..
Три раза друга простить мне надо бы,
чтобы праведным стать.
А я без конца все забываю, все что-то путаю,
даже самое главное для самого себя...

Публикация Миры Ривелис

Татьяна Гончаренко

Одесские зарисовки

* * *

Одесса, в этот хрупкий вечер
я погружусь в твои трущобы.
Пройду дворами, никого не встречу.
Прохватит насквозь свежий ветер.
Домов глазницы хмуро светят.
Одесса, не молчи, скажи хоть слово.
Но ты безмолвствуешь, закрытая как раковина, снова.
Ну, не молчи.
Я понимаю, что воспитание твое
и твоя внутренняя строгость
не позволяют рассказать о многом.
Ну, не молчи.
Хотя бы улыбнись.
Но ты не плачешь и не смеешься больше,
и даже не надеешься на милость Божью.
Ну, не молчи.
Но ты веками сковано стоишь,
и как всегда, молчишь.
Ну, не молчи.
Открой завесу вечной тайны.
Я ревностно секреты сохраню.
Ну, не молчи, молю.
Ну, не молчи.
Откликнись на призывы.
Как очертания зыбки
твоей истлевшей красоты.

Ловлю забытые черты,
малейшие оттенки цвета.
Но тает луч прощальный света.
Мой город спит, и спят дома.
Не разглядеть под краской многослойной
гримасу старой маскароны.

* * *

Сегодня месяц желтым куском сыра
завис печально над моим двором.
Умолкли, стихли все квартиры.
Охвачен сном был старый дом.
Но есть одно окно, в котором свет не гаснет,
и тускло абажур горит.
Кто там живет, совсем не ясно,
и почему никто не спит.
Кто прячется там за гардинами,
и кто живет в квартире той.
Под потолками с крашеной лепниною
кто не найдет себе покой.
Размыты силуэты, призрачны.
Сюжет совсем неуловим.
Младенец, может, закапризничал.
Или старик бессонницей томим.
А может быть, беззубая красавица
в трюмо огромное глядит,
из крепдешина примеряя платьица.
А может, просто горький пьяница
один с бутылкою сидит.
Но я в одном почти уверена,
пусть неразгаданным останется секрет,
в квартире этой неизведанной
ни счастья, ни покоя нет.

* * *

Я знаю, много тайн и удивительных сюжетов
хранит старинный бельэтаж.
И дрогнет тюль от дуновенья ветра.
И фортепьянный вдруг послышится пассаж...

* * *

День проснулся, был тихим и ласковым,
чаек вслед катерам посылал.
День смеялся, сверкал всеми красками,
на бульварах листвою играл.
День ветрами взволнован был сильными
и расплакался мелким дождем.
А простился сиреневым облаком,
как последним аккордом, последним штрихом.

* * *

Нарядный город мой,
ты весь в огнях.
Как я давно и безнадежно влюблена
и в улочки твои, и в переулки.
Я слышу гул и смех на площадях.
Одесса снова приглашает на прогулку.
И снова в ведрах продают сирень,
которую на склонах рвали.
И в то, что доживу до этих дней,
я бы поверила едва ли.

Иван Липтуга

Культурная прививка

Время, в которое нам с вами посчастливилось жить, наверное, самое удивительное, интересное и непредсказуемое за всю известную нам историю человечества. Технологический и вместе с ним информационный прорыв, произошедший буквально у нас на глазах за последние пятнадцать лет, кардинально изменил и стремительно продолжает менять отношение людей ко многим вещам и процессам. Испокон веков информация была в дефиците и представляла собой большую ценность. Традиции, обычаи, знания, опыт, новости, важные сведения передавались постепенно – из поколения в поколение – на протяжении десятков тысяч лет. Люди с трепетом и восхищением относились к книгам, театру, музеям, библиотекам и даже переписке друг с другом.

Веками формировались ценности, взгляды, течения и направления, но внезапное появление Всемирной паутины Интернета все перевернуло. Информации стало много, очень много, слишком много, для того чтобы человек успевал ее впитывать, воспринимать и переваривать. Незаметно для самого себя человечество погрузилось в информационный шум. Новости, реклама, социальные сети, электронная почта, кино, игры и развлечения заполнили наше пространство практически полностью. Нас не хватает на все. Мы мечемся в стремлении успеть больше, но в итоге успеваем меньше. Поток информации несется, словно лавина, и чем дальше, тем он больше и сильнее. Мы слышим повсюду: информационная революция. Но отдаем ли мы себе отчет в том, какие последствия она несет с собой? Революции не проходят безболезненно, особенно те, которые происходят при смене парадигм. При таких революциях возникает духовный и культурный конфликт,

в результате которого одни остаются на обочине вчерашнего дня, а другие тщетно пытаются угнаться за завтрашней реальностью.

Необходима, образно говоря, прививка от реальности, которая позволит найти золотую середину. Не даст сойти с дистанции и убережет от бессмысленной погони за завтрашним днем. Любые прививки желательно делать в раннем возрасте, тогда они легче переносятся и лучше усваиваются. Прививкой от реальности в культурном и духовном понимании, безусловно, является воспитание личности – подготовка к правильному восприятию жизни. Подобное целебное вмешательство формирует наше отношение к окружающему миру, событиям и людям. Получаем мы такую прививку или нет, зависит от наших родителей и учителей. Их уроки и наставления, слова и личный пример формируют нашу философию и определяют будущую сущность.

Лично мне повезло и с родителями, и с учителями, которым я обязан всем. Один из ярких примеров Учителей с большой буквы – мой классный руководитель, учитель русского языка и литературы Одесской гимназии № 2 Леннора Владимировна Тримбач (я выпускник гимназии 1996 года). Она могла и находила способы сделать нам всем прививку, благодаря которой мы стали теми, кем стали. Она подарила нам Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова. Она не давала нам утонуть в безграмотности и праздной суете безделья, а неустанно требовала от нас новых свершений. Она жила и живет ради нас, ради нового поколения. Благодаря ей и таким, как она, есть привитая молодежь, способная творчески мыслить и правильно воспринимать реальность. А значит, есть надежда на нравственное возрождение общества.

От редакции. Мы публикуем первые литературные опыты нынешних учениц Ленноры Владимировны Тримбач.

Дарья Ясиновская

«Наслаждайся...»

Воздух
Чистый. Влажный.
Бежит. Гонится. Преследует.
Уже нигде не спрячешься. Бесполезно.

Смерть
Тихо. Спокойно.
Следит. Шепчет. Наступает.
Уже совсем не страшно. Поздно.

Глаза
Серые. Пустые.
Дрожат. Пронизывают. Следят.
Никогда тебя не отпустят.
Держись.

Осень
Холодна. Скучна.
Шелестит. Стонет. Плачет.
Верни мне мое лето.
Нет.

Учитель
Грубый. Черствый.
Говорит. Объясняет. Обучает.
Иногда его становится жаль.
Бедняга.

Облака
Мягкие. Волшебные.
Возвышаются. Проплывают. Манят.
Скоро совсем расплачутся они.
Зонт мне.

Жизнь
Непредсказуемая. Разная.
Учит. Несется. Обижает.
Заставляет искать ее смысл.
Проходит.

Свобода
Насыщенная. Ветреная.
Разрывает. Пьянит. Сводит с ума.
Твоя свобода – твоя тюрьма.
Беги.

Любовь
Зла. Слепа.
Разбивает. Скрепляет. Страдаешь.
Без нее не проживешь.
Нужна.

Разлука
Печальна. Невыносима.
Терзает. Мучает. Закаляет.
Больно сердцу – приятно разуму.
Дыши.

Смех
Звонкий. Яркий.
Льется. Веселит. Заражает.
Жить – умирать со смеху.
Искренность.

Счастье
Невинное. Легкое.
Балует. Издевается. Играет.
Есть оно – его не видно.
Как стекло.

Красота
Природная. Очаровывающая.
Завораживает. Пьянит. Испепеляет.
Заставляет следовать за собой.
Стремись.

Время
Ненужное. Короткое.
Летит. Не ждет. Жалеешь.
Нет, есть только часы.
Торопись.

Молодость
Беззаботная. Непостоянная.
Празднует. Танцует. Веселится.
Все когда-нибудь закончится.
Наслаждайся.



Екатерина Мишенина

«Я на песке слова пишу...»

Весна

Цветут вишневые сады,
Блистает солнце, снег искрится,
Сейчас Зима к нам возвратится!
Но нет, настал черед Весны.
Собрав свои златые кудри,
Солнца лучи в косу вплела.
В свои владения вошла
Новорожденным ясным утром.

* * *

Я в вечере почувствовала ночь,
Ту, что являлась, словно бы украдкой,
Томительно стараясь превозмочь
Пленительную блажь дремоты сладкой.
Я в вечере почувствовала луч,
Что глаз моих коснулся пред закатом.
Такой же мне являлся из-за туч,
Я помню, да, давным-давно когда-то.
Я в вечере почувствовала тишь.
Ту тишину, которую нарушил
Соловушка, что трелью звонкой лишь
Насквозь мою пронизывает душу.

* * *

Я на песке слова пишу
И, замирая, не дышу,
Когда ко мне бежит волна –
Прозрачна и легка. Она
Письмо мое пускай сотрет,
С собою в море унесет.
С той надписью мой крик в тиши
И часть ликующей души.
Я с нею морю шлю привет,
А мне оно шумит в ответ,
И вместе с юною луной
Морскую песнь поет прибой.

* * *

Трусила, трусила старушка зима
От пыли нарядное пышное платье,
И белая застила взор пелена,
Раскрыла метель ледяные объятья.
А впрочем, метель еще очень юна,
Робка и покуда еще не сурова…
Трусила, трусила старушка зима
Пух белый с подола все снова и снова.
Укрыты заботливо пледом поля,
В смешных рукавицах мохнатые ели.
Охвачена сном глубочайшим земля
И ждет не дождется весенней капели.

Евгений Деменок

«Забытые» годы Врубеля

Михаил Александрович Врубель удивительным образом оказался «поза зоною» внимания одесситов. Это тем более странно, что мы склонны приписывать к «своим» любого знаменитого человека, пусть даже пару раз заехавшего к нам отдохнуть. А тут – великий художник прожил у нас почти пять гимназических лет, учился в рисовальной школе, позже, будучи зрелым художником, именно у нас начал работу над знаменитым «Демоном»; со своим другом Валентином Серовым планировал открыть в Одессе художественную школу, приезжал к родителям, прожившим в нашем городе почти десять лет… И все же, если спросить образованного одессита, – а одесситы все хорошо образованны, – о связи Врубеля и Одессы, ответом почти наверняка будет недоуменное молчание. Количество статей об одесских годах Врубеля – минимально, я уже не говорю о более весомых знаках внимания, например, о мемориальной доске.

Я постараюсь систематизировать информацию об одесских годах Врубеля, разбросанную по многочисленным источникам. Биографий Врубеля написано множество, в первую очередь, – вышедшая под редакцией Игоря Грабаря еще до революции книга С.П. Яремича «Врубель», ставшая, по сути, канонической. Позже авторами биографий Михаила Александровича стали П.К. Суздалев, Н.М. Тарабукин, Н.П. Дмитриева, Дора Зиновьевна Коган и многие другие. Но все же основная информация содержится в переписке художника и воспоминаниях о нем. Удивительное дело – часто подвергавшийся осуждению и даже насмешкам при жизни и получивший признание академических кругов и широкой публики, уже находясь в больнице, незадолго до смерти,

Михаил Александрович был человеком настолько необычным, что воспоминания о встречах с ним оставили совершенно разные люди. О нем писали: основатель Киевской рисовальной школы Николай Иванович Мурашко, помощники Врубеля по работе во Владимирском соборе Л. Ковальский и Г. Бурданов, пианист Б.К. Яновский, аккомпанировавший жене Врубеля Надежде Ивановне, оперная певица Мария Андреевна Дулова, художники М.В. Нестеров, И.С. Остроухов, А.Я. Головин; конечно же, Константин Алексеевич Коровин – его воспоминания являются одними из самых интересных; Валерий Брюсов, позировавший почти слепому Врубелю уже в лечебнице, и даже Федор Арсеньевич Усольцев – врач-психиатр, лечивший Врубеля. Разумеется, написали о Врубеле родственники – его жена Надежда Ивановна и ее сестра Екатерина Ивановна Ге. Много ценных сведений о художнике содержится в книге Николая Андриановича Прахова «Страницы прошлого» – в том числе косвенные сведения об интересующем нас втором одесском периоде жизни Врубеля. Но самую большую благодарность все исследователи жизни и творчества великого художника испытывают, без сомнения, к его старшей сестре – Анне Михайловне Врубель. Именно она, его добрый гений, сохранила переписку свою и родных с Михаилом Александровичем, создала архив художника и оставила воспоминания. Эти материалы и являются самым ценным, самым беспристрастным документом. К сожалению, другие адресаты Врубеля – жена Надежда Ивановна и Эмилия Львовна Прахова, – уничтожили переписку частично или полностью. Точнее, в случае с Эмилией Львовной переписку уничтожила ее дочь Ольга – по просьбе матери.

Как же Врубель попал в Одессу? Его отец, на которого художник был поход внешне и совершенно не похож внутренне, был строевым офицером, участвовавшим в крымской кампании, а после – военным юристом. Русской крови во Врубеле было ровно четверть: отец его Александр Михайлович был чистокровным поляком, католиком (*wròbel* по-польски – *воробей*). Мать Анна Григорьевна Басаргина по отцовской линии была потомком декабриста Басаргина, по материнской – датчанкой, ее мать в девичестве носила фамилию Краббе. Анна Григорьевна умерла, когда Михаилу было три года. Через четыре года Александр Михай-

лович вновь женился. Мачеха Врубеля Елизавета Христиановна Вессель была серьезной пианисткой, и тянувшийся к искусству Миша был ее внимательным слушателем.

Долг службы отца требовал частых перемещений: Врубель родился в Омске, затем семья много переезжает: Астрахань, Петербург, три года Врубели прожили в Саратове, где глава семьи командовал губернским батальоном, затем снова Петербург… В конце 1869 года семья перебралась в Одессу, где Михаил поступил в Ришельевскую гимназию, которая находилась тогда на Садовой улице в доме Фундуклея. В 1874 году он окончил ее с золотой медалью. Глава семьи Александр Михайлович служил в те годы судьей военно-окружного суда Одесского военного округа. Суд находился тогда в доме Кусакова на Гулевой улице. В 1870-71 годах Александр Михайлович носил звание подполковника, а с 1872-го он уже полковник, постоянный член суда. Об этом можно прочесть в «Новороссийском календаре», который издавался каждый год. К сожалению, в те годы в «Календаре» еще не печатались домашние адреса чиновников.

Художественные задатки Михаила Врубеля проявились рано – в Петербурге отец водил восьмилетнего мальчика в рисовальные классы Общества поощрения художеств, годом позже в Саратове он занимался у преподавателя рисования из местной гимназии, обучавшего его рисованию с натуры. В Одессе Михаил Врубель посещал рисовальную школу Общества изящных искусств. С помощью Ольги Михайловны Барковской мне удалось найти точную информацию об учебе будущего художника в рисовальной школе. В «Отчете Одесского общества изящных искусств за первое десятилетие (1865-1875)» указано, что Михаил Врубель был учеником школы в 1870 и 1872-м годах. Руководил школой тогда Фридрих Фридрихович Мальман, а преподавателями были: акад. Карнеев – по живописи, акад. Горностаев – по архитектуре, художник Миланской академии Людовик Иорини (именно так он записан в «Отчете») – по скульптуре и орнаментам, художник Мюнхенской академии Бауэр – по рисованию. В 1870 году школа находилась в доме купцов Арона и Бориса Райхов на Коблевской улице, а в 1872 году переехала в дом Склифосовского, что на Нежинской. «Одесский вестник» за 9 января 1872 года сообщает,

что «6 января в час дня происходило открытие школы рисования в доме Склифосовского на Нежинской улице».

Однако интенсивная учеба в гимназии на время отвлекла Михаила от увлечения рисованием. Вот что пишет А.А. Врубель:

«…в гимназические годы в Петербурге (Пятая гимназия у Аларчина моста) и в Одессе (Ришельевская) отвлекают брата значительно от любимого искусства; он увлекается в первой естествоведением (причем, между прочим, формует из мела целую систему кристаллов), а во второй – историей, по которой пишет сверх нормы большие сочинения на темы из античной жизни и Средневековья».

Интересная деталь – в своих воспоминаниях Анна Александровна упоминает, что профессор Мечников знал Михаила еще гимназистом и относился к нему с симпатией, что говорит об интеллектуальных способностях будущего художника.

К сожалению, биографии художника уделяют первому одесскому периоду жизни Врубеля минимум внимания. Основным источником для нас являются письма Михаила старшей сестре Анне, которая в то время училась в Петербурге на педагогических курсах. В распоряжении исследователей есть пять писем, отправленных будущим художником из Одессы, датируемых 1872-1874 гг. В письмах вырисовывается довольно отчетливый образ: «типичный отличник, отчасти – в меру, приличную естественному юношескому кокетству, – пижон, общительный, начитанный, с многообразными музыкально-театрально-литературными интересами, щеголяющий иностранными словечками и комичными галлицизмами, играющий красотами эпистолярного слога не столько от избытка литературной фантазии, сколько от желания быть забавным в скучном жанре родственной переписки». Врубеля тяготит провинциальная жизнь Одессы: «Тысячу, тысячу раз завидую тебе, милая Анюта, что ты в Петербурге: понимаете ли вы, сударыня, что значит для человека, сидящего в этой трепроклятой Одессе, намозолившего глаза, глядя на всех ее дурацких народцев, читать письма петербуржца, от которых так, кажется, и веет свежестью Невы. Parbleu, madame!» – пишет он в письме, датированном октябрем 1872 года. А вот еще одна цитата: «Я очень и очень рад предложению дяди Коли. Мною овладел in

gens desiderium Petropolis! [Потомственная привязанность к Петербургу! (лат.)] Подальше, в самом деле, от этой Одессы, которая своим коммерческо-индифферентным взглядом на все начинает-таки действовать разлагающим образом на мои собственные», – это уже зима 1874-го, незадолго до отъезда в Петербург. Чего больше в этих словах: позерства, юношеского максимализма или реальной оценки ситуации? Наверное, всего понемногу. Молодой город, созданный как южные морские торговые ворота Империи, действительно зарабатывал деньги. Это уже потом, позже, возникнет ТЮРХ, Владимир Издебский проведет знаменитые Салоны… А пока рисовальная школа даже не имела постоянного адреса и существовала на деньги благотворителей. Врубель вообще бывал резок в своих высказываниях. Общеизвестен момент, когда они с Коровиным приехали в Абрамцево, в имение Саввы Мамонтова, где Илья Ефимович Репин делал карандашный набросок жены Мамонтова Елизаветы Григорьевны. Посмотрев на рисунок, Михаил Александрович сказал Репину: «А вы, Илья Ефимович, рисовать не умеете». Опешивший Мамонтов потом требовал у Коровина объяснений.

Чем же занимался будущий художник в нашем городе помимо собственно учебы? И где именно в Одессе жила семья Врубелей? Если с первым вопросом все более или менее понятно, то ответ на второй вопрос пока вызывает затруднения. На некоторых письмах значится просто Одесса, на некоторых, летних, – Люстдорф. Семья Врубелей проводила летние месяцы на даче в Люстдорфе. Была ли это их собственная дача, или они снимали ее, – неизвестно. В одном из писем Михаила сестре упоминается номер дома:

«Итак, за лето я ничего не сделал. … Теперь я несколько заплатываю прореху: повторяю латынь и еще кое-что. Но если науки в комнате Михаила Врубеля, в доме № 37, и не процветали за лето, зато искусство, т. е. рисованье, несколько подвинулось».

И далее:

«Я еще прошлое лето начал писать масляными и с тех пор написал четыре картинки; копию с Айвазовского «Закат на море», копию с «Читающей старушки» Жирара Дове, «Старика, рассматривающего череп» и копию с Гильдебрантовского «Восхода

солнца», с снегом, мостиком и мельницей. … Все эти писаны самоучкою, без всякого знания приемов письма, и потому все более или менее плохи (последняя, впрочем, лучше других; она теперь стоит в магазине Шмидта и продается за 25 руб.). Более масляного письма мне удаются фантазии карандашом, на достоинство которых мне указал один недавний наш знакомый Клименко, большой знаток в искусствах, весельчак и, что нераздельно в русском человеке с эстетическими наклонностями, порядочный гуляка; это последнее и еще кое-что не нравится многим, в том числе и мне».

Адрес «Люстдорф» будет повторяться в гораздо более поздних – от 1891 года – письмах отца Врубеля Александра Михайловича к Анне. То есть отец продолжал давнюю традицию летней жизни на даче.

Итак, Михаил Врубель в Одессе:

– *посещает театры и оперу:*

«…а вечером отправились в Итальянскую оперу. Давали «Crispino и Camore»: опера, по-моему, прехорошенькая, да и исполнение очень порядочное. Примадонна soprano Талиони имеет хотя и обработанный, но очень маленький голос, так что она никуда не годилась в роли Джульетты в опере «Montecci et Capouletti», опере серьезной (которую мы слышали незадолго до того), но зато в «Crispino et Camore» elle etait a admirer. [Она была восхитительна (франц.)] Прошлое воскресенье я еще видел «Ревизора».

– *и еще:*

«Вот это интересное, за неимением места, вкратце: в Одессе была летом петербургская оперная русская труппа (Палечек, Лаговская, Корсов, Рааб, Крутикова и др.); я слышал: «Жизнь за царя», «Жидовку», «Громобоя» и «Фауста»; познакомился через Красовского с Корсовым и Дервизом».

– *ходит на выставки:*

«Теперь в Одессе «Передвижная художественная выставка», с смотрителем которой Де-Вилье я недавно познакомился; это очень милый человек, жандармский офицер, сам прекрасный пейзажист; он просил меня приходить к нему во всякое время писать и обещался для копировки достать картин в галерее Ново-

сельского. Напишу что-нибудь порядочное, – пошлю в Петербург в подарок дяде Коле».

– *рисует портреты родственников:*

«Я рисую масляными красками портрет покойного Саши (умершего брата. – **Прим. автора**); выходит недурно: даже Мамаша призналась, что сходство большое. Prochainement [Скоро (франц.)] буду я рисовать Володьку к 15 декабря. Да, кстати о портретах, твой окончен и висит за стеклом над диваном у папаши в кабинете».

– *общается с артистами:*

«На одном дворе с нами на даче жили 2 недели: французский актер труппы m-elle Keller – M. Delpant de Caulete с m-me Delpant очень милые, веселые и приличные люди, пили у нас несколько раз чай, возились с Лилькой и рассказали нам очень много интересного о французской жизни».

– *и еще:*

«О себе скажу, что я провожу нынешние праздники весело, – сверх обыкновения, так как вот уже 4 года, как я провожу праздники, никуда не выходя, кое-что почитывая и порисовывая. Такое не совсем уместное исключение для нынешних праздников произошло от знакомства с французскими актерами, о котором тебе Папаша, верно, уже говорил. Это очень милые люди, и я с ними тем больше сошелся, что вижу в них отличных знатоков искусства, и я как адепт последнего нахожу с ними нескончаемые темы для разговора. Им очень понравились мои croquis a là plume [Наброски пером (франц.)] действующих лиц в разных пьесах, так что, благодаря этим croquis, я имел удовольствие познакомиться с главой французской труппы m-elle Keller, пить с ней чай и слышать от нее несколько любезностей моим рисовальным способностям. Все это меня несколько увлекло, так что я сделал порядочную глупость, обещав Delpant нарисовать его вальсирующего с m-elle Keller (в опере «La fille de m-me Angot») [«Дочь мадам Angot» – оперетта Лекока] акварелью, и теперь рисунок отнимет у меня очень и очень много времени».

Де-Вилье, которого упоминает в письме Михаил, – это известный в Одессе Эмилий Самойлович Вилье де Лиль-Адан, человек

удивительной судьбы, художник-самоучка, акварелист, окончивший Петербургское кавалерийское училище и служивший в нашем городе жандармским офицером. Все свободное время он рисовал, и даже преподавал все в той же Школе рисования Одесского общества изящных искусств. В конце концов, он бросил службу и полностью посвятил себя искусству. В 1881 году Вилье де Лиль получил от Петербургской Академии художеств звание классного художника 2-й степени, позже преподавал в Рисовальной школе ОПХ в Петербурге. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее.

Кстати, загадочный Клименко, которого упоминает в письме юный гимназист как «большого знатока в искусствах», и которого все биографы называют не иначе как «некто Клименко», тоже имеет прямое отношение к рисовальной школе. В «Отчете Одесского общества изящных искусств за первое десятилетие» отмечено, что в классе лепки из глины учились 12 учеников. Отличные успехи показали Василий Клименко, Степан Клименко и братья Шлегель. Очевидно, Василий и Степан были детьми того самого весельчака и балагура, знатока искусств.

Так что письма Врубеля сестре свидетельствуют о том, что культурная жизнь – пусть не такая, как в Петербурге, – в Одессе все же наличествовала. И тем не менее:

«Ты, милая Анюта, на отличном пути: ты учишься, живешь в русском деятельном свежем городе, и сама, следовательно, ведешь жизнь деятельную. Господи, как посмотришь на жизнь барышень новороссийских трущоб, да вот, чтобы не долго ходить, – на жизнь Софи Гартинг (сестра гимназистов, квартировавших у Врубелей. – **Прим. автора**), ее тетушки и братьев: наряды это их душа, это – пульс их жизни; сон, еда и апатичное, сонное бездействие, – вот в чем проявляется эта жизнь, или, лучше сказать, это прозябание. Если бы еще все это оживлялось выездами, – жизнь в свете имеет свою поэзию, свои хорошие стороны, но и этого нет; часы досуга (т. е. промежутки между спаньем, едою и туалетом) проходят в пустейших разговорах в самом тесном кружке знакомых, которые только притупляют и опошливают всю мысленную систему человека. Мужчины проводят время не лучше: еда, спанье и карты.

Если гоголевская картина русского общества устарела, то никак не относительно бессарабского общества. Этот застой, болото с его скверными миазмами, и порождает десятки болезней общества: самодурство, кокетство, фатовство, разврат, мошенничество и т. д.».

И все же именно в Одессу из Киева поедет Врубель залечивать душевные раны. Поедет, как пишет С.П. Яремич, с намерением остаться в нашем городе навсегда, приглашая присоединиться к нему лучшего друга Валентина Серова. Это будет через десять лет, в 1885-м. А пока – уже в январе 1875-го – Врубель в Петербурге, поступает на юридический факультет университета. Выбор, безусловно, был продиктован отцом, к тому времени уже военным юристом. Ревностный католик и добросовестный служака хотел видеть в старшем сыне свое продолжение. Выбор юридического факультета был, несомненно, ошибочным, творческая натура Врубеля требовала совершенного другого. И тем не менее, он заканчивает его с золотой медалью, так же, как нашу Ришельевскую гимназию. Потом будут годы учебы в Академии художеств, в мастерской П.П. Чистякова. Того самого Чистякова, который воспитал целых три поколения великих русских живописцев: Репина и Васнецова, Серова и Врубеля, Кустодиева и Борисова-Мусатова. Кстати, у Чистякова в те годы учился и Кириак Константинович Костанди, так что Врубель был знаком с ним еще с академии. А после Врубеля приглашают в Киев, расписывать и руководить реставрацией фресок Кирилловской церкви – колоссальный объем работы. Заказчиком работ был профессор Андриан Викторович Прахов, в чью жену Эмилию Львовну Врубель влюбился. Эту любовь называют роковой – безответное чувство причиняло Врубелю такие страдания, что для того чтобы их уменьшить, он резал себе грудь ножом. Вот что пишет Константин Коровин в своих воспоминаниях:

«Было лето. Жарко. Мы пошли купаться на большой пруд в саду. «Что это у вас на груди белые большие полосы, как шрамы?» – «Да, это шрамы. Я резал себя ножом». Он полез купаться, я тоже. «Хорошо купаться, летом вообще много хорошего в жизни, а все-таки скажите, Михаил Александрович, что же это такое вы себя резали-то ножом – ведь это, должно быть, больно. Что это –

операция, что ль, как это?» Я посмотрел поближе – да, это были большие белые шрамы, их было много. «Поймете ли вы? – сказал Михаил Александрович. – Значит, что я любил женщину, она меня не любила – даже любила, но многое мешало ее пониманию меня. Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее. Я страдал, но когда резал себя, страдания уменьшались».

Чтобы избавиться от мучительного чувства, художник едет в Одессу. Врубель провел в Одессе несколько месяцев – с июля по декабрь 1885 года. Интересно, что в некоторых биографиях Врубеля авторы приводят другой повод для поездки в наш город – якобы он страстно увлекся некоей цирковой наездницей и вслед за ней поехал в Одессу. Эта ничем не обоснованная версия объясняется только невнимательностью биографов. Тот же Коровин пишет о наезднице-итальянке:

«Позже Михаил Александрович снова был у меня. Пришел Серов. «Пойдемте сегодня в цирк. Я вам покажу такую женщину, какой вы никогда не видали», – сказал Врубель. Мы пошли в цирк. После разных штук выехала на лошади наездница в пачке. Врубель вскочил – она! «Вот она, смотрите!»... Черные волосы, черная густая плетеная коса окружала белое матовое лицо этой женщины. Михаил Александрович куда-то ушел, потом пришел за нами и сказал: «Пойдемте». Мы пошли за кулисы цирка, где он нас представил наезднице и ее мужу. Муж был итальянец, и видно было, что он самым дружеским образом относился к Михаилу Александровичу. Женщина была молчалива, проста, с хорошими добрыми глазами, сильная брюнетка. «А хороша?» – спросил Врубель. ... «Я у них живу. Из Киева я приехал с ними, – пояснял мне Михаил Александрович. – Костя, я приехал с цирком, я не могу ее не видеть».

По словам Нестерова, это была Анна Гаппе, артистка киевского цирка, рожденная в Венеции. Только все эти события происходили в 1889 году и никакого отношения к поездке в Одессу не имели.

То, что привело Врубеля в Одессу «дело душевное», подтверждается его письмами к сестре и письмами отца к ней. Вот что пишет Врубель из Венеции, где работал с осени 1884-го по весну 1885-го:

«Словом, жду не дождусь конца моей работы, чтобы вернуться. … А почему особенно хочу вернуться? Это дело душевное, и при свидании летом тебе его объясню. И то тебе два раза намекнул, а другим и этого не делал».

Обеспокоенный отец, зачастую не понимающий мотивы поступков сына и пытавшийся ему помочь, пишет из Харькова, где жила тогда семья Врубелей:

«Мише я писал к 8-му, но не получил еще ответа. Он надеялся получить работу иконостаса для церкви реального училища в Кишиневе… но получил ли, не знаю. Если не получил, то должен искать что-нибудь другое. Удивляюсь, почему бы ему при таких обстоятельствах не поселиться у нас. Повторяю – cherchez une femme dans cette affaire-ci… [Ищите женщину в этом деле (франц.)]»

И еще одно письмо:

«…У Миши безработица, я приглашаю его к нам – пусть пишет задуманную картину у нас, все-таки жизнь не будет ничего стоить, забот о ней, которые отрывали бы его от работы, не будет, чего же лучше? Нет и нет. Остается в Одессе. Положительно – «cherchez la femme». [Ищите женщину (франц.)]»

Задуманная картина – это знаменитый Врубелевский «Демон», работу над которым он начал как раз в Одессе.

В единственном дошедшем до нас письме Врубеля второго одесского периода сохранился адрес, по которому он проживал: улица Софиевская, дом 18, квартира 10. В этом же доме тогда поселился и Валентин Серов, приехавший к своей невесте Ольге Трубниковой. Вообще, о втором приезде Михаила Александровича в Одессу нам известно гораздо больше как раз благодаря переписке его друга. Вот что пишет Валентин Серов своему другу и приятелю Врубеля, художнику Илье Остроухову, 8 сентября 1885 года:

«…Видишь ли, у меня есть много причин ехать туда, т. е. не в Крым собственно, а в Одессу. К тому времени сестры будут там, а видеть их, ты не поверишь, как мне хочется. Еще увижу там своего приятеля Врубеля, кот<орого> мне нужно видеть.

Между прочим он мне советует похерить академию, переселиться в Одессу, там у них будто бы хороший кружок художников:

Кузнецов, Костанди и т. д. и т. д., и будто бы хотят там устроить нечто вроде академии Джидэри в Риме (вероятно, знаешь) – ну да, это второстепенное, там на месте видно будет, а вот вопрос, как добраться туда».

Как видим, дела сердечные не мешали Михаилу Александровичу активно работать и строить серьезные планы. Он начал искать работу. Вот что пишет он сестре в единственном дошедшем до нас письме того периода:

«Дорогая Анюта, спасибо тебе за доброе и ласковое предложение, за веру в мое призвание – этой поддержки довольно. От первой же отказываюсь: здесь в рисовальной школе открываются уроки, которые мне дадут 75 руб. в месяц. Еще раз большое спасибо. Настроение мое переменное, но думаю-таки сладить с собой, промуштровав себя основательно на этюдах, в которых я за последнее время оказал леность и вольнодумное легкомыслие. <…>

Твой Миша

Адрес: Одесса, Софийская ул., д. 18, кв. 10».

Тогда же начинается работа над «Демоном». Серов вспоминал, что Врубель работал над фоном картины. Купив несколько фотографий с видами гор, он по-разному расставлял их, составляя сложный узор и пытаясь представить пейзаж, на фоне которого будет сидеть Демон. Несколько первых вариантов были потом уничтожены стремящимся к совершенству художником.

Помимо работы над большой картиной Врубель делает в Одессе ряд набросков и акварелей. Это акварель «Одесский порт», четыре разной степени законченности карандашных автопортрета и незаконченный портрет Серова, многочисленные зарисовки с натуры. Вот что пишет в воспоминаниях Н.А. Прахов:

«Наброски карандашом, так же, как и акварелью, Врубель редко доводил до конца. Для него это были только заметки для памяти, как будто не связанные между собой, как в записных книжках писателя – услышанные им характерные слова или отдельные фразы. В том маленьком альбомчике, который он носил постоянно в кармане в 1884-1885 годах, встречаются страницы, на которых нарисованы только ноги в потрепанных брюках и стоптанные башмаки человека, сидящего на скамейке. Тут же сжатые кисти старческих рук. Для головы

и лица на этом наброске не осталось места – они не заинтересовали художника.

– Это сидел на бульваре старый бедный еврей, – объяснял рисунок Врубель, – а еврейской бедности в Одессе достаточно я видел. Обреченные лица стариков и старух мне хорошо запомнились, зарисовывать их на память не имело смысла, вот почему я и взялся за детали одежды.

Головы и фигуры, подмеченные Врубелем на вечернем гулянье в Городском саду, зарисованы на одном листке, как попало, без всякой связи между ними. Надо поворачивать альбом в разных направлениях, чтобы их рассмотреть. Какую-то молодую женщину он нарисовал без головы, сидящей на деревянной скамье бульвара. Очевидно, сама по себе женщина его не интересовала, и все внимание было направлено на мелкие складки лифа, в талию, на простую отделку платья и концы реек скамьи. Голову он мог бы нарисовать по памяти.

Рядом с вполне реалистическими, так тонко законченными, как «Суслон сжатой пшеницы», рисунками в том же альбомчике встречаются какие-то непонятные ломаные и согнутые линии, жирно проведенные мягким карандашом. В некоторых из них можно узнать беглое очертание морского берега, какого-нибудь одесского «фонтана», видимого сверху, остальные остаются загадкой.

Рисуя море, Врубель в одном случае начинает со скал и крупных прибрежных камней, оставляя воду напоследок, только у правой дальней скалы слегка намечая легкую рябь мелких волн; в другом – намечает беглым очерком две скалы и тщательно вырисовывает поверхность воды с падающей на нее тенью, передавая не только рябь, но и камни морского дна.

На отдельном листке несколькими штрихами намечен ритм небольших волн, бегущих одна за другой, а на следующем – очертания легких облаков – это он раньше не наблюдал, а сейчас заметил и наскоро занес на странички крошечного альбома.

Особенный интерес представляют в этом маленьком карманном альбоме шесть портретных набросков: четыре автопортрета и наброски В.А. Серова и писателя И.И. Ясинского. [Писал под псевдонимом Максим Белинский].

<…> По поводу этого рисунка (портрета Серова) Михаил Александрович говорил: «Мы жили с Серовым в Одессе вместе, видались каждый день, дружили с давних пор, лицо его я прекрасно знал, и оттого начал не с него, а с заинтересовавших меня галстука и чуба волос, падающего тремя прядями на его высокий лоб. Думал закончить на следующий день, но что-то нам помешало, а через несколько дней Серов уехал в Москву».

Приехавший в Одессу в середине октября Серов почти полтора месяца прожил в имении Николая Дмитриевича Кузнецова, где работал над известным этюдом «Волы». С конца ноября и до конца года он жил в городе, видясь с Врубелем каждый день. Однако планам организации частной художественной школы не суждено было сбыться, процесс организации Товарищества южнорусских художников пробуксовывал, и в конце декабря 1885 года Врубель сообщил Серову, что собирается уезжать в Киев.

И снова слова Врубеля из воспоминаний Н.А. Прахова: «Одесская жизнь нам обоим не понравилась. Коммерческие интересы поглощали все внимание местного общества, а нам хотелось жить там, где выше их стоят художественные интересы».

Может быть, так оно и было, но не это было основной причиной отъезда из Одессы. В Киев художника влекли многие обстоятельства – не остывшее чувство к Эмилии Львовне, возможность заработка и, конечно, перспектива принять участие в росписи Владимирского собора.

Товарищество южнорусских художников будет организовано через пять лет – в 1890 году. В 1894 году его членом станет и Валентин Серов. А в тот приезд в Одессу он исполнил карандашный портрет К.К. Костанди, хранящийся ныне в Башкирском республиканском художественном музее.

Третий одесский период жизни Врубеля был совсем коротким – чуть больше месяца. Тогда художник после поездки в Италию приехал в гости к родителям. Семья Врубелей по-прежнему часто переезжала. После многолетнего пребывания в Харькове Александр Михайлович переехал в Киев, чтобы быть поближе к сыну, но Михаил в то время уже окончательно переехал в Москву, и в 1890 году семья Врубелей вновь переезжает в Одессу. В архиве Анны Александровны сохранилось 38 писем отца к ней

и к сыну, отправленных из Одессы. Первое письмо датировано 20 октября 1890 года, последнее – 17 мая 1894 года. То есть семья Врубелей вновь прожила в Одессе почти четыре года. Из летнего письма 1893 года Михаила Александровича к сестре видно, что и она жила тогда в нашем городе. Отец ждал сына в гости и постоянно приглашал его. Вот, например, письмо от 2 августа 1893 года:

«Дорогой сын Миша, сейчас получил письмо от Нюты, в котором она, между прочим, сообщает, что тебе нездоровится, и именно – что ты страдаешь ревматизмом. Спешу тебе напомнить, что Одесса с ее морем и Лиманами изобилует средствами от ревматизма и что наилучший сезон для пользования еще не истек. Если можешь, поспеши воспользоваться этим сезоном – приезжай. Мы все будем тебе очень рады, тем более что запускать ревматизм не следует».

А вот выдержка из письма отца к Анне от 12 марта 1894 года:

«…Душевно рад буду видеть Мишу в Одессе. Ведь это уже не за горами… Может быть, это будет на Пасху!»

Отец уже знал о поездке Михаила с сыном С.И. Мамонтова Сергеем в Италию. Они останавливались под Генуей, на обратном пути в Россию – морем – посетили Неаполь, Бриндизи, Пирей (Афины) и Константинополь. С апреля – он приехал как раз перед Пасхой, – по середину мая художник живет у родных в Одессе. Вот что пишет Александр Михайлович в письме Анне от 19 апреля 1894-го:

«Миша гостит у нас со среды. Мы находим очень моложавым. Приехал он сюда на пароходе «Лазарев» вместе с молодым Сергеем Мамонтовым в 7 часов утра… Время проводим больше дома, в своей компании… Миша привез с собою около 20 разных видов, им самим написанных во время последнего путешествия. Некоторые из них очень хороши. Кроме того, Миша написал у нас портрет-фантазию Насти (младшей сестры. – **Прим. автора**).

А вот отрывок из следующего письма, от 11 мая:

«Миша еще у нас. …У нас написал два эскиза, портрет-фантазию Насти и начал – мой. Теперь лепит голову Демона (разбился при перевозке из Одессы в Севастополь. – **Прим. автора**). Вообще, как будто не в своей тарелке, хотя мы стараемся, чтобы ему

было веселее и покойнее… Когда возвратится Миша в Москву – неизвестно: он, кажется, намерен погостить в Киеве».

Михаил Врубель уехал из Одессы во второй половине мая. Эти полтора месяца, как мы видим, были довольно продуктивными. Интересно, что портрет сестры Настеньки Врубель сравнительно недавно – в самом начале 2004 года – пополнил коллекцию Государственной Третьяковской галереи. До этого портрет хранился в семье – Третьяковка приобрела портрет у Ксении Ивановны Каршовой, внучки Анастасии Александровны Врубель по материнской линии.

В письме к сестре от декабря 1895 года Врубель вновь обещает ей приехать в Одессу во второй половине января или первой – февраля 1895 года, но этим планам не суждено было сбыться.

А в 1900-м году могла, но, к сожалению, не состоялась заочная встреча художника с нашим городом. Тогда руководство Одесской рисовальной школы передало Михаилу Врубелю приглашение участвовать в выставке, посвященной 35-летию школы. Обо всем этом мы можем прочесть в письме Леонида Осиповича Пастернака к Врубелю от 12 марта 1900 года. Тогда Пастернак несколько раз заходил к Врубелю, но, к счастью, дома его не застал. К счастью – потому что тогда бы не было письма и еще одной информационной ниточки, связывающей Врубеля с Одессой.

Итак, Пастернак пишет:

«Одесская школа рисования… желает между прочими средствами – пользуясь удобным моментом – исполнения 35 лет ее существования – устроить выставку работ художников, бывших учеников школы. Я получил от Кириака Константиновича Костанди на Ваше имя прилагаемое приглашение, которое я хотел вручить Вам лично и с своей стороны просить Вас не отказать в участии на проектирующейся выставке. Участием своим Вы окажете услугу школе, с одной стороны, а с другой стороны, очень было бы интересно Ваше участие потому, что, как я знаю, и совершенно искренне сообщаю Вам, – о чем я собственно-то и хотел лично заявить – тамошний художественный мир очень вами интересуется и очень рад был бы Вас видеть.

Поклон Вам от Костанди – что за чудесный человек – помните ли Вы его?

В надежде, что Вы вспомните «доброе старое время» и дорогую Школу с покойным г. Моранди во главе… и не откажетесь откликнуться, остаюсь глубоко уважающим Вас Л. Пастернак. Училище живописи, Мясницкая улица».

К сожалению, каталог состоявшейся выставки не оставляет иллюзий – работ Врубеля на ней не было.

В Одессе художника действительно помнили и ценили. 3 апреля 1910 года, в день похорон Врубеля – он похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, – в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества была совершена панихида по скончавшемуся художнику. На заупокойном богослужении присутствовал в числе прочих Леонид Осипович Пастернак. А в мае панихида состоялась и в Одессе, в Одесском кафедральном соборе. Ее инициатором стала супруга управляющего сахарным заводом Александровского товарищества Екатерина Павловна Гулева. Екатерина Павловна была известным в городе благотворителем, дружила с художниками и рисовала сама. На панихиде присутствовали крупнейшие художники нашего города. На смерть Врубеля откликнулись Натан Инбер и Петр Нилус – в апреле в «Одесских новостях» были напечатаны их статьи памяти художника.

Нам повезло – в собрании Одесского художественного музея сегодня экспонируются несколько отличных работ Михаила Александровича. Одна из них – «Болотные огни» 1890 года, – всегда пугала меня в детстве. Работа попала в музей в 1926 году из собрания Брайкевича, так же, как и другая работа – «Валькирия», в образе которой запечатлена княгиня Мария Тенишева. Есть в музейной коллекции два рисунка: «Семья Я.В. Тарновского за карточным столом» 1887 года и «Портрет неизвестной», а также две майолики: «Волхова» – созданная по мотивам оперы Римского-Корсакова «Садко», и «Женщина в кокошнике», ранее бывшая в собрании А.П. Руссова.

Память о Михаиле Александровиче Врубеле увековечена (ой, как не люблю это слово) в разных городах. В Омске его именем назван музей изобразительных искусств и сквер. Возле музея установлен памятник художнику. Улица Врубеля есть в Воронеже. В Москве, в поселке Сокол, именем Врубеля также названа ули-

ца. В Москве же есть детская художественная школа им. М.А. Врубеля. В Киеве на доме по улице Десятинной, 14, есть мемориальная доска в честь М.А. Врубеля (скульптор И. Кавалеридзе, 1962). В городе имеется Врубелевский спуск неподалеку от Кирилловской церкви. Мемориальная доска художнику установлена даже в Саратове, хотя прожил он там с семьей всего три школьных года. Может быть, это произошло потому, что сейчас в доме, в котором жила семья Врубелей, располагается Саратовское художественное училище им. А. Боголюбова. На фасаде здания как раз и установлена доска. Художники не могли не почтить память своего великого коллеги.

Считаю, что давно назрела необходимость установить мемориальную доску художнику и в нашем городе. Доска может быть установлена на здании Ришельевского лицея, в котором он учился, или на Софиевской, 18, – как раз недалеко от Художественного музея, в котором хранится несколько отличных работ мастера. Мемориальная доска могла бы стать еще одной «точкой» для интересного рассказа в ходе экскурсии по художественной Одессе.

Валентин Максименко

Петр Столярский и Исаак Бабель

В нынешнем году исполняется 140 лет со дня рождения Музыканта. В связи с этим неоднократно вспоминали его выдающихся учеников и их питомцев. Мне кажется, что нужно вспомнить и его скромного (по музыкальным успехам) ученика, о котором писали и говорили в связи с осуществлением памятника Писателю в нашем городе.

Среди учеников без преувеличения великого педагога многие достигли мировой известности. Достаточно упомянуть хотя бы некоторых из них – Давида Ойстраха, Елизавету Гилельс, Самуила Фурера, Михаила Фихтенгольца, Бориса Гольдштейна, Натана Мильштейна… Пришла слава и к не достигшему успехов на музыкальной ниве, но завоевавшему мировое признание Исааку Бабелю. Ограничусь сознательно только одной оценкой его деятельности. Максим Горький назвал Бабеля «лучшим стилистом послереволюционной литературы». Лучший стилист оставил лаконичные, но, может быть, лучшие, яркие зарисовки Столярского и его учеников, их родных и вообще музыкальной атмосферы нашего города в довоенные десятилетия минувшего столетия.

Ажиотажная увлеченность родителей музыкальным образованием своих чад, в которых они видели будущих Мильштейнов и Ойстрахов, Гилельсов и других «звезд» музыкального искусства, Бабель колоритно воссоздал в одном из своих «Одесских рассказов» – «Пробуждении».

Как в любом важном деле, в обучении детей музыке есть своя «пена», она и стала объектом ироничного внимания писателя. Ретивые родители, «не видя себе ходу, придумали лотерею и устроили ее на костях маленьких людей… Они учили детей му-

зыке. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда, – в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира».

Бабелю принадлежит гротескное, но не лишенное внутреннего уважения описание вундеркиндов Столярского – «карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках: в душах этих заморышей (но справедливости ради нужно заметить, что среди этих детей встречались и весьма тучные – мечта многих одесских мам. – **В. М.**) с синими раздутыми головами жила могучая гармония, они стали (далеко не все, конечно. – **В. М.**) прославленными виртуозами».

Самого Учителя Бабель вывел в рассказе под псевдонимом «господина Загурского». То, что прототипом Загурского является Столярский, не подлежит сомнению. От такой детали: Бабель пишет, что «Загурский содержал фабрику вундеркиндов» (любимое в духе времени словечко Петра Соломоновича – «фабрика»). До перечня учеников Загурского с фамилиями… РЕАЛЬНЫХ учеников Столярского. Зачем же «камуфляж»? Бабель намекает читателю, что как автор он оставляет за собой право на преувеличение, гиперболу (хуже поступили, например, Смолич и Плоткин, приписывая в своих «художественных» опусах Вере Холодной черты, далекие от оригинала, к тому же обидные для памяти о выдающейся актрисе, оскорбившие тогда живых ее близких, на что, в частности, обратили внимание одесский киновед Георгий Островский и московский кинематографист Алексей Каплер).

Буквально в нескольких строчках Бабель воссоздал картину дома педагога. Врезается в память описание одержимых мамаш, «истерически воспламененных, прижимающих к слабым своим коленям скрипки, превосходящие своими размерами тех, кому предстоит играть в Букингемском дворце». Эти мамы ждут в прихожей очереди для своих чад, чтобы войти в «чистилище».

«Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и с припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика».

Очень интересно, что художественное описание Бабеля оказалось поразительно близким к документальному, которое принадлежит любимейшему ученику Петра Соломоновича Давиду Ойст-

раху: «Все углы большой квартиры были заставлены пюпитрами, завалены футлярами, нотными папками, во всех комнатах толпились возбужденные и радостные малыши, а в коридоре сидели мамаши, ожидавшие вундеркиндов и с невероятным оживлением обсуждавшие чисто профессиональные скрипичные проблемы».

Супруга Петра Соломоновича Фрида Марковна рассказывала: «Он не знал, что такое свободное время… в нашей квартире не утихали звуки скрипок с раннего утра до позднего вечера… спрятаться от звуков было невозможно, ибо в каждой комнате, в каждом коридоре, даже в ванной кто-то стоял со скрипкой и что-то разучивал…».

Конечно, особый интерес представляет для нас описание Бабелем Загурского-Столярского в его если не молодые, то зрелые годы, ибо в большинстве воспоминаний перед читателями предстает старый, убеленный «благородными сединами» Петр Соломонович. «За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель с бантом, в рыжих (не седых! – **В. М.**) кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи, он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато и кантилены».

Здесь мне хочется обратить внимание на слова – образ – «жидкие ноги». В начале первой мировой войны (этот факт не широко известен) Столярский был мобилизован, но всего на неделю: по состоянию здоровья музыкант был освобожден от воинской повинности. Он был спасен от почти неминуемой гибели, спасен для мировой культуры, хотя об этом не имели понятия люди, в руках которых была жизнь Педагога. Однако Столярский не ушел в кусты. Его вклад в защиту родины был осуществлен на языке искусства: ученики Петра Соломоновича играли для солдат и матросов в госпиталях, на призывных пунктах, а сборы с «гражданских» концертов шли в фонд помощи раненым.

…Бабель создал несколько шаржированный портрет Учителя, но поражающий образностью и проникновением в суть. Ирония же писателя простительна, в частности, и потому, что его рассказ проникнут самоиронией, признаком благородства пишущего – одной фразой он расправляется со своим собственным «музыкальным дарованием»: «звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки». Замечательный образ.

Насильственно отданный родителями в обучение к выдающемуся педагогу, который занимался с Исааком из уважения к его деду, мальчик, не ощущая призвания, инстинктивно протестует против нелюбимого дела. «Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитр книги Тургенева или Дюма, и пиликая, пожирал страницу за страницей».

Да что не одаренный музыкально ученик выдающегося педагога! Примерно в те же годы, о которых рассказывает Бабель, «сам» Додик Ойстрах, лучший из лучших учеников Столярского… подрезал струны или волос смычка, обычно в пятницу вечером, чтобы быть свободным от немилых упражнений до понедельника, когда откроются магазины.

А его сын Игорь вспоминал, что однажды уже Давид Федорович застал его, Игоря, «играющим этюд и в то же время читающим стоящий на пульте журнал. Он был настолько возмущен, что ничего не говоря, стал отнимать у меня скрипку и смычок, я же отчаянно в них вцепился».

Естественно, нас не может не интересовать, знал ли Столярский о своем «портрете кисти» Бабеля и, если знал, то как к нему относился. Знал. Не обиделся. По свидетельству очевидца, он сказал: «Бабель неплохой фотограф. Узнаю себя, несмотря на ретушь». Какое нравственное здоровье: не только не обиделся на некоторое шаржирование, но даже отметил «ретушь». Невольно вспомнился Пушкин, который сказал об одном из своих портретов: «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит».

Мне думается, что музыканта и писателя сближал и своеобразный язык Петра Соломоновича (о лексиконе Столярского см. альманах «Дерибасовская – Ришельевская», кн. 44, где я подробно рассказываю о нем на основе свидетельств современников музыканта) и язык героев Бабеля. Бабель черпал его из разных источников. Петр Соломонович был одним из них…

…Петру Соломоновичу и Исааку Эммануиловичу довелось встретиться и много позднее, чем было осуществлено «портретирование». Педагог в славе. На всеукраинском конкурсе его ученики завоевали все призовые места. В 1933 году на Первом Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей третьей премии удостоен ученик Столярского Самуил Фурер (этот конкурс был вообще

успешным для одесситов: вспомним вторую премию Ольги Благовидовой, первую Эмиля Гилельса). Два года спустя на Втором конкурсе Столярский триумфатор: первая премия у Давида Ойстраха, вторые премии с москвичами разделили Елизавета Гилельс и Михаил Фихтенгольц, среди лауреатов третьей премии М. Гольдштейн. В ленинградскую гостиницу к Петру Соломоновичу пришел поздравить Учителя с успехами воспитанников его не сделавший музыкальной карьеры ученик Исаак Бабель. Маэстро узнал его, был рад встрече. Бабель с грустью отметил, что памятная ему рыжая шевелюра теперь кажется ему «натертой канифолью». Что ж, за минувшую четверть столетия музыкант стал седым.

По воспоминанию очевидца встречи Столярского и Бабеля Михаила Гольдштейна, Бабель сказал, что необходимо писать книги о великом педагоге. Сам мемуарист написал и издал в Израиле, на мой взгляд, не лишенную тенденциозности небольшую книжку, в которой Столярский предстает перед нами чуть ли не борцом с советской властью и даже всесильным КГБ, что совершенно невероятно. Кроме того, в этой работе есть отдельные неточности и ошибки.

В Одессе была издана содержательная работа Натальи Ломоносовой, посвященная Петру Соломоновичу, но это скорее брошюра, чем обстоятельная монография. С изданием большой книги нужно спешить: неумолимое время уносит воспитанников Столярского и их питомцев.

Дело Столярского в консерватории ныне продолжает профессор М.А. Турчинский, который учился у Петра Соломоновича в 1939-41 годах. Михаил Аркадьевич мог бы дать содержательный материал об Учителе. Толчком же к появлению книги могут стать два приближающихся юбилея – столетие консерватории (которую, к слову, ныне украшает портрет профессора Столярского, хотя в двадцатые годы прошлого века некоторые педагоги противились привлечению его к работе в этом вузе) и 80-летие школы имени П.С. Столярского. Только нельзя медлить… Да и до юбилеев-то всего около двух лет остается.

Готов предложить малоизвестный материал в будущую книгу.

Ростислав Александров

Возвращение «Калиостро»

Никогда не знаешь, что прорастет поиском. Это может быть все что угодно. Старинная фотография, сделанная, к примеру, в ателье К. Мульмана, удостоенного «Высочайшей награды Его Императорского Величества Шаха Персидского». Такого же возраста билет в театр-иллюзион «XX век» на Ришельевской, 50, угол Базарной. Несколько слов, походя брошенных одесским человеком «с раньшего времени», или несколько строк в старой одесской газете, о коих в данном случае и пойдет речь.

7 сентября 1921 года в газете «Моряк», не просто описанной, но воспетой бывшим секретарем ее редакции Константином Паустовским, появилась и пятьдесят лет спустя была прочитана мною крошечная информация о том, что «в театре Государственных производственно-художественных мастерских принята к постановке пьеса местных авторов Георгия Шенгели и Эдуарда Багрицкого «Калиостро» и «уже приступлено к изготовлению декораций». Что имелось в виду, было совершенно непонятно, помимо, разве, театра Государственных производственно-художественных мастерских. Большевики уничтожали, перекраивали, переиначивали на свой лад все, что только можно было. Снесли памятник Основателям Одессы на Екатерининской площади, знаменитую Дерибасовскую переименовали в улицу покойного немецкого философа и политического деятеля Лассаля, нога которого не ступала в Одессе, Городской сад назвали именем итальянского монаха Джордано Бруно, сожженного за ересь без малого за двести лет до ее основания, цирк на Коблевской улице преобразовали в «Дворец искусств и спорта», куда в конце 1920 года литературными инструкторами были зачислены Э. Багрицкий и Г. Шенгели.

А известное своими преподавателями и учениками «Имени Великого Князя Владимира Александровича художественное училище Общества изящных искусств» на Преображенской, 14, преобразовали в Государственные производственно-художественные мастерские, в зале которых Э. Багрицкий читал свои стихи осенью 1921 года.

Весной того же года Георгий Шенгели закончил «стихотворную революционную пьесу «Броненосец «Потемкин», отрывок из которой напечатал в первомайском номере «Моряка». А летом Илья Ильф, Юрий Олеша, Лев Славин, их друзья, поклонники и поклонницы в кафе поэтов «Мебос» («Меблированный остров») в подвале на улице Щепкина, 18, инсценировали утерянную впоследствии поэму Эдуарда Багрицкого «Харчевня». На то время этим, по-моему, и ограничивалось прикосновение Багрицкого и Шенгели к сценическому искусству, а тут вдруг объявилась какая-то пьеса «Калиостро», к тому же, написанная ими совместно. Словом, было что искать, чем я и занялся, перелистывая страницы «Моряка», напечатанные на тончайших, шевелящихся, казалось, от одного дыхания листах неразрезанных чайных и табачных бандеролей. Вскоре в номере от 24 сентября попалось на глаза сообщение о том, что «В театре художественно-производственных мастерских приступлено к репетициям водевиля в стихах Георгия Шенгели и Эдуарда Багрицкого» и «над этой пьесой проводятся опыты коллективной режиссуры».

События развивались так, как должны были развиваться, – сначала пьеса, а точнее, водевиль в стихах, принята к постановке, изготовляются декорации, начинаются репетиции. Значит, нужно было искать объявление о премьере, и если уж очень повезет, рецензию или хотя бы какой-нибудь отзыв о постановке, которые позволят представить себе содержание пьесы. Но, как иногда еще говорят в Одессе, что я имел, кроме ничего? Просмотрел все номера газеты за 1921 год, прихватил еще изрядный период следующего года – и никаких материалов о спектакле не обнаружил. К этому времени уже не было в живых вдовы Багрицкого милейшей Лидии Густавовны, к любезнейшей помощи которой я частенько прибегал, обращения к старожилам ясности не внесли, и поиск, по сути своей, зашел в тупик. И тогда неожиданно, но аккурат ко времени, появилась возможность побывать

в Москве у вдовы Георгия Шенгели поэтессы Нины Леонтьевны Манухиной.

Конечно, не мог я прямо с порога начать расспрашивать ее о «Калиостро». Поговорили о Шенгели, главным образом, о его жизни в Одессе, о том, как еще в 1916 году он побывал тут и читал стихи вместе с Игорем Северяниным, о чем потом написал в книге «Ни дня без строчки» Юрий Олеша: «Я помню, Георгий Аркадьевич, как вы стояли в углу сцены, над рампой, в Одессе, в Сибиряковском театре – в черном сюртуке, с черными кудрями, страстный, но не громкий, как показалось мне, небольшой, о, чудесная фигурка, Георгий Аркадьевич! – да-да, странно, непохоже на других красивый, вот именно черный, с медовым тяжелым блеском глаз – и читали стихи… Это было в Одессе в ясный весенний вечер, когда мне было восемнадцать лет». Я обратил внимание Манухиной на то, что по прошествии многих лет Юрий Карлович чуточку ошибся в датировке – не восемнадцать лет ему было тогда, а семнадцать, поскольку три поэзо-вечера Северянина с участием Шенгели состоялись в первой декаде мая 1916 года в тогдашнем Драматическом театре или, как его еще по старой памяти называли одесситы, Сибиряковском театре, на улице Херсонской, 15. И очень уж развеселилась она, когда я прочитал несколько строк из рецензии некоего подписавшегося одной лишь буквой С одесского журналиста о том, что «Георгий Шенгели по-своему чувствует душистый аромат поэзии Игоря Северянина, страстным панегириком (выделено мной. – **Р. А.**) которого он является».

И только потом я спросил Нину Леонтьевну о пьесе «Калиостро», а она спокойно, будто только вчера ее спрашивали об этом, сказала: «Одну минуточку», – достала из старинного, темного дерева книжного шкафа и протянула мне самодельную тетрадку, сшитую из листков какого-то неопределенного цвета случайной бумаги двадцатых годов. Текст в ней был напечатан скачущим шрифтом старой пишущей машинки, какого-нибудь «Ундервуда» или «Ремингтона» с разбитой лентой, что не мешало ей считаться, наверное, драгоценностью в тогдашней Одессе.

На первой странице тетрадки было напечатано: «Эдуард Багрицкий и Георгий Шенгели. «Влюбленного рука, или Месть Калиостро». Пьеса в 1 действии», а чуточку ниже – автограф: «На-

писано летом 20 г. в Одессе. Багрицкому полностью принадлежат заключительные куплеты, сюжет мой, текст слагали вместе, сидя за столом, я записывал. Г. Шенгели. 1938, 29.X, Москва».

Нужно ли говорить, что я, извинившись, испросил разрешения хозяйки тут же прочитать тетрадку? Сюжет водевиля, как положено произведению этого жанра, изобилует неожиданными ситуациями и превращениями: гвардейский капитан арап Ибрагим страстно влюблен в прекрасную княжну Елену, но ее родители не соглашаются на их брак. К тому же, оказавшийся там знаменитый маг и волшебник Калиостро ревнует княжну к Ибрагиму и, в свою очередь, дьявольскими кознями стремится помешать свадьбе. Но это возымело только противоположное действие, и родители княжны не просто согласились, а пожелали выдать ее за Ибрагима. К всеобщему, включая самого Калиостро, удовольствию все заканчивается благополучно, и друзья Ибрагима поют веселые куплеты, которые, по словам Шенгели, принадлежат Багрицкому.

Не считая себя вправе злоупотреблять любезностью, временем и терпением Нины Леонтьевны, я переписал тогда только название пьесы, автограф Шенгели и несколько куплетов. И поиск вроде бы подошел к концу, поскольку найден был текст забытой пьесы, установлено ее подлинное название, уточнено время и выяснены некоторые подробности создания. Но знаменитое «чеховское ружье» все-таки не выстрелило, потому как судьба постановки «Калиостро» оставалась неизвестной. И тут в который уже раз пришло на помощь живое, согретое теплом человеческой памяти свидетельство современника.

В печати появились воспоминания активного участника литературной жизни Одессы начала 1920-х годов Николая Данилова, которому, как оказалось, была поручена роль одного из друзей Ибрагима в спектакле по пьесе Шенгели и Багрицкого. Последний же, по словам Данилова, не только согласился руководить постановкой, но решил сыграть роль самого Калиостро: «Его глаза сверкали, он ходил по сцене какой-то особой скользящей походкой. Перед нами был маг и волшебник. На сцене его огромный поэтический темперамент легко переключался в актерский». Из этих же мемуарий стало понятно, почему я так и не нашел в газете упоминание о премьере «Калиостро». «Когда речь зашла

о премьере, – вспоминал Данилов, – случилось то, чего мы никак не предвидели: Багрицкий вдруг перестал ходить на репетиции. Мы попробовали репетировать без Багрицкого, но с его уходом и сама пьеса, и все, что мы придумали, как-то потускнело, перестало увлекать нас».

Теперь уже трудно сказать, почему это произошло. По мнению Данилова, Багрицкому «доставляла удовольствие игра в театр, но демонстрировать свое актерское искусство перед зрителями он не захотел». Тут можно возразить, потому что в упомянутой инсценировке «Харчевни» Багрицкий успешно сыграл роль трактирщика. Правда, обстановка и зрители в кафе поэтов были более близки ему, да и сама инсценировка отдавала самодеятельностью. Только ведь и театр художественно-производственных мастерских тоже был изрядно далек от профессионального. Так или иначе, но «не увидели зрители «Месть Калиостро», – сокрушался Н. Данилов, – и, что особенно жаль, Багрицкого-актера». А вот эти слова мемуариста можно уточнить: не увидели «Калиостро» одесские зрители…

Перед тем как распрощаться с Ниной Леонтьевной, я спросил ее, почему это по прошествии без малого двух десятилетий Георгий Шенгели осенью 1938 года сделал авторскую надпись на первой странице тетрадки с текстом «Калиостро». И она сказала, что, если память ей не изменяет, пьеса вроде бы готовилась к постановке в каком-то московском театре. Я ушел от нее вечером, а утром в тогдашней «Ленинке» – нынешней Российской государственной библиотеке – номер за номером, начиная с ноября 1938-го, перелистывал бюллетень «Декада московских зрелищ». В номерах за 1938 год ничего, относящегося к пьесе, не оказалось, зато в десятом номере следующего, уже 1939 года, сообщалось, что «в третью программу, которая будет дана в первых числах апреля, Театр эстрады и миниатюр включил водевиль Эдуарда Багрицкого «Месть Калиостро», написанный в содружестве с Г. Шенгели». Объявленные сроки были по какой-то причине смещены, и московские зрители увидели «Месть Калиостро» в первой декаде мая в Театре эстрады и миниатюр на улице Горького, там, где потом разместился театр им. М. Ермоловой.

Только на этом история «Калиостро» не закончилась. Через несколько лет после меня у Манухиной побывали приехавшие из

Одессы Евгений Голубовский и Сергей Калмыков, которые тоже поинтересовались пьесой. Но, как это ни обидно и ни странно, Нина Леонтьевна… не смогла ее у себя отыскать, и куда она запропастилась, даже представить не могла. Наверное, я все-таки опрометчиво поступил, не переписав тогда ту тетрадку от первой буквы до последней точки…

С той поры уже прошло-пролетело почти четыре десятилетия. А недавно литературовед и поэт Вадим Перельмутер отыскал в Российском государственном архиве литературы и искусства, сокращенно именуемом РГАЛИ, рукопись пьесы «Месть Калиостро», машинописный текст которой давно и загадочно исчез из дома Н.Л. Манухиной. Право первой публикации пьесы он любезно предоставил альманаху «Дерибасовская – Ришельевская», в 46-м номере которого она напечатана и мною прочитана, напомнив многое и наведя на некоторые размышления.

В 1919 году, когда Алексей Толстой с женой Натальей Крандиевской, подобно многим, бежали от большевиков в тогда еще свободную от них Одессу, он начал писать здесь повесть «Граф Калиостро», действие которой разворачивается в княжеской усадьбе, а в числе персонажей присутствуют творящий всякие козни влюбленный Калиостро и арап, правда, не гвардейский капитан и не Ибрагим, но это сейчас не суть важно. Толстой и Крандиевская сошлись с местными поэтами и бывали у них на вечерах легендарного литературного объединения «Зеленая лампа». Не исключено, что Толстой, которого молодые одесские поэты по праву считали мэтром, мог в порядке, так сказать, мастер-класса поделиться с ними сюжетом будущей повести. И так же не исключено, что летом следующего года, когда Толстой и Крандиевская уже пребывали во французском далеке, Багрицкий и Шенгели в какой-то мере использовали этот сюжет при написании «своего «Калиостро». Впрочем, это не более чем предположение.

И еще. Найденная рукопись не имеет названия, а литературные достоинства позволяют считать ее лишь рифмованной записью замысла или, по крайней мере, первой редакцией текста. Во всяком случае, так показалось мне, когда я, пусть по памяти, но попробовал сравнить его с текстом, который я читал у Нины Леонтьевны Манухиной. В пользу этого свидетельствуют и вос-

поминания художника Евгения Адольфовича Кибрика, который в 1920-х годах учился Одесском художественном институте, где несколько раз выступал Эдуард Багрицкий:

«…Я запомнил читанную им у нас шуточную поэму «Граф Калиостро».

Музыка два часа гремит.
Княжна Елена по паркету,
Душой предавшись менуэту,
С арапом медленно скользит…»

В новонайденной же рукописи эта строфа, открывающая текст, не содержит имени одного из главных действующих лиц пьесы и выглядит, мягко говоря, несколько по-другому:

Музыка два часа гремит,
И вот, с арапом два часа скользит.
Лилейну шею наклоняя
И пальчиками свой роброн
С лукавствием приподымая,
К арапу ластится…

При любом раскладе возвращение «Калиостро» состоялось. А совсем недавно я узнал, что в том же РГАЛИ в фонде бумаг Эдуарда Багрицкого хранится машинописный текст пьесы «Месть Калиостро». Похоже, что он попал туда относительно недавно, поскольку никто из литературоведов, изучающих творчество поэта, до сих пор его не опубликовал. Тот ли это экземпляр, который был у Н.Л. Манухиной, или какой другой, пока неизвестно. Можно лишь с уверенностью считать, что он содержит более позднюю или даже окончательную редакцию, поскольку на машинку отдают обычно уже правленый текст. Если же это так, то не исключено еще одно возвращение «Калиостро».

Ирина Кузнецова

Открываем Америку

Наши в Нью-Йорке

Линкольн-центр находится в самом сердце Манхеттена. Это творческая душа Нью-Йорка. На его площади три уникальных сооружения – Метрополитен-опера, Театр балета Баланчина и филармония. Расположены они вокруг красавца фонтана, традиционного места встреч. Взгляд Линкольн-центра обращен к Бродвею, откуда стекаются толпы зрителей.

Одесситка Ольга Ширманова-Кострицкая – более десяти лет ведущий педагог хореографической школы при театре балета Жоржа Баланчина. Живет она на соседней улице. Идя с ней в этом районе Бродвея, я неизменно наблюдала трогательные картины – Ольга постоянно оказывалась в чьих-то объятиях. Так с присущей американцам непосредственностью выпускники ее класса выказывали любовь к педагогу.

Первые шаги в хореографическом искусстве Ольга, тогда просто Ширманова, сделала в одесской школе. Благословением Бога стала ее учеба у педагога Екатерины Антоновны Пушкиной, выпускницы Петербургского хореографического училища по классу выдающейся русской балерины Ольги Преображенской. Молодая талантливая прима-балерина Екатерина Пушкина, приехав в Одессу, организовала балетную школу. В 1923 году ее первые выпускники стали основой при создании балетной труппы в оперном театре. В послевоенном 1945 году в Одессе возродилась хореографическая школа. Пушкина продолжила педагогическую деятельность.

Семь лет учебы у Пушкиной Ольга буквально впитывала основы хореографии. Мечтая стать педагогом, она вела записи уроков,



Ольга Ширманова в одесском театре

отмечая замечания и рекомендации любимой учительницы. Незабываемыми были беседы. Для учеников Пушкиной стало традицией отмечать День святой Екатерины 7 декабря. По старой традиции Екатерина Антоновна праздновала именины, а не день рождения. Жила она на улице Островидова в доме № 100. В этот день ее квартира наполнялась веселыми голосами учениц, рассевшихся за щедро накрытым столом. Екатерина Антоновна рассказывала разные истории из театральной жизни. Гости покатывались от хохота, слушая ее рассказ о том, как ее партнер Роберт Баланотти, исполнитель роли принца Зигфрида, в третьем акте «Лебединого озера» вышел на поклон совершенно лысый, парик зацепился за декоративное дерево. Или, например, разве не смешно услышать, как тот же Баланотти любил в концерте объявлять: «Вариацию из балета «Дон Кихот» исполнит вдова поэта Екатерина Пушкина!».

Эти именинные посиделки любили посещать все ученики. Да и в любой день можно было прийти к Екатерине Антоновне домой за советом. Ольга Ширманова пользовалась этим, накапливая записи советов и предосторожностей, которыми щедро делилась обожаемая учительница.

Еще будучи ученицей младших классов в балетной школе, Ольга принимала участие в детских эпизодах балетов «Щелкунчик», «Али Батыр», «Дон Кихот». А по окончании школы Ольга Ширманова была принята в балетную труппу театра оперы и балета. В это период в театр пришли балетмейстеры В. Васильева и С. Павлов. Оба воспитанники ленинградской школы. Желая поднять исполни-



Класс Е.А. Пушкиной перед выпуском

тельскую культуру артистов послевоенного периода, они сами давали уроки, пополнили репертуар постановкой классических балетов «Шопениана», «Жизель». Для Ширмановой это оказалось продолжением и расширением знаний в хореографии. Несмотря на то, что работа артистки была вполне успешной, Ольга заочно окончила педагогический институт. В дальнейшем, оказавшись в Нью-Йорке, она окончила Колумбийский университет, получив высшее педагогическое образование. Ольга и сейчас, имея десятилетия опыта работы педагогом-хореографом, продолжает учиться. Ее встречи с коллегами по работе всегда выглядят забавно. Когда они рассуждают о каком-то исполнителе или спорят о проведенном уроке, создается впечатление – окружающий мир исчез, только они существуют. С горящими глазами они доказывают друг другу, например, в какой позиции должна быть опорная нога при исполнении «гранд-фуэте»! Конечно, они дополняют собственные слова жестами, понятными только артистам балета. Страстная увлеченность своим делом – истинная натура Ольги Ширмановой-Кострицкой.

Георгий Баланчивадзе, или, как его знает весь мир, Жорж Баланчин, выпускник того же хореографического училища, что



Екатерина Антоновна Пушкина с ученицами. Ольга сидит крайняя справа

и Пушкина, но уже ставшего Ленинградским. Балетмейстер-новатор, создатель собственного стиля на балетной сцене, Баланчин высшей истиной в обучении артистов балета считал русскую школу. Ольга Ширманова – единственный русский педагог в школе Баланчина. Начиная учебный год, она обязательно рассказывает о своей учительнице, о преемственности в искусстве танца. Выпускники ее класса стали ведущими артистами многих балетных театров мира. В конце учебного года руководство школы выбирает лучшего педагога и лучшего ученика. Награда – 10000 долларов. Ольга была удостоена этой награды. Но особую радость ей приносили ученики, не раз названные лучшими.

Сейчас ее знают как Ольгу Кострицкую. Но она любит свою фамилию Ширманова, напоминающую, что «все мы родом из детства». Не забывает она и об одесских корнях. Кто бы из коллег ни приехал в Нью-Йорк, Ольга особым чутьем вычисляет их. Пригла-

шает на балетные спектакли, после чего уже дома потчует с одесской щедростью. Одаривает пуантами и другими необходимыми артистам балета принадлежностями. Она знает о трудностях с этим в Одессе.

С ней любят работать балетмейстеры-постановщики. Ольга Кострицкая считается среди русских педагогов-репетиторов едва ли не единственной, в совершенстве владеющей основами классического танца не только русской школы, но и элементами, присущими американской школе, что особенно важно при перенесении постановок Баланчина на сцены разных театров мира. Одна из немногих, Ольга обладает правом переноса на другие сцены творческого наследия выдающегося балетмейстера Жоржа Баланчина.

Летом 2010 года во время гастролей в Париже балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета особым успехом пользовались спектакли «Master class with Olga Kostritsky». На сцене у балетных станков вся труппа. Ольга вела урок – у станка, на середине. Звезды мирового балета Даяна Вишнева, Леонид Сарафанов, Елена Вострotина, Иван Васильев, Игорь Зеленский вместе со всей труппой демонстрировали повседневную учебу артистов балета. Шесть спектаклей – шесть аншлагов. Театр Шатле взрывался овациями.

Ольга Кострицкая и Игорь Зеленский давние знакомые, со времени его работы в Нью-Йорке. Став главным балетмейстером Новосибирского театра, Зеленский пригласил Ольгу для работы с солистами, подготовки с ними новых партий. Воспользовались также правом, данным Ольге, переносить спектакли, поставленные Баланчиным. Перелет Нью-Йорк – Новосибирск длится двое с половиной суток, плюс 11 часов разницы во времени не страшат, ведь работа любимая.

На Международном кинофестивале в Италии фильм «Dancing Across Borders» – «Танец без границ», занял первое место среди документальных фильмов. В США он был удостоен первой премии за режиссерскую работу. Награду получила Анна Басс, в одном лице режиссер и продюсер. Меценат – пожалуй, главная ее роль. Именно так ее знают не только в Нью-Йорке, но и в разных странах мира. К примеру, узнав о плохом финансировании



Щелкунчик – Сакваннара Сар

хореографического училища в Санкт-Петербурге, она три года оплачивала питание учащихся.

На фольклорном танцевальном фестивале в Камбодже внимание Анны Басс привлек один из участников. В юноше привлекла удивительная пластичность движений, легкость прыжка. Его звали Сакваннара Сар. Анна Басс привезла его в Нью-Йорк. Она один из самых давних и активных спонсоров Театра Баланчина. Шестнадцатилетнего юношу, не знающего азов классического танца, она вручила Ольге Кострицкой. Наняла для уроков балетный зал, аккомпаниатора. Основу фильма составили съемки процесса обучения в течение четырех лет. Балетный зал – станок, зеркала, педагог, ученик, аккомпаниатор – ежедневно по три урока. Из податливого одаренного природой юноши вырастал великолепный танцовщик. Для демонстрации успехов был выбран конкурс балета в Варне. Юный камбоджиец стал одним из победителей кон-



Ольга и Сакваннара

курса. Это был невероятный успех учителя и ученика. Продолжение следует. Став ведущим артистом балетной труппы, Сакваннара каждую новую партию готовит с Ольгой.

Обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль в 2011 году стала Наталья Портман. В ее благодарственной речи прозвучало имя – «Олга Кострицки». Именно так, без мягкого знака, произносят американцы привычное для нас имя Ольга. Актриса благодарила педагога-репетитора, подготовившую ее к роли. Речь шла о фильме «Черный лебедь». Конечно, у Портман была дублерша-балерина, но в этой сложной роли много моментов, требовавших от исполнительницы профессиональной балетной пластики. Вручение премии «Оскар» – подтверждение успешного дуэта педагога и актрисы.

Из рассказа Оли о съемках меня заинтересовали два факта. Оказалось, семья Портман – выходцы из СССР. Впрочем, в Голливуде много «наших» работают успешно. А вот то, что у режиссера-постановщика Даррена Аранофски дедушка одессит, заставило меня поразмыслить. Вспомнился главный администратор Одесского театра оперы и балета в послевоенные годы Мирон Соломонович Аранович, замечательный человек и высокий профессионал. Вспомнилось, сколько гонений он перенес после выезда в эмиграцию части его семьи. Возможно, этот одаренный кинорежиссер – его внук? Аранович – Аранофски, менять таким образом окончание фамилии характерно для переехавших в США, начиная с послереволюционного периода. Надо уточнить.

Удивляет и радует жизненный ритм Оли Ширмановой-Кострицкой. Последний пример: вечером вернулась из другого штата, где неделю готовила с камбоджийцем новую партию. На следующее утро – урок с бывшим учеником, ведущим танцовщи-



Кадр из фильма «Танец без границ»

ком, прилетевшим специально из Европы. В этот же вечер вылет Нью-Йорк – Новосибирск.

Родилась Оля Ширманова в День Победы. Однажды в этот день ее ждал сюрприз. Благодаря интернету ее бывшие ученики, ведущие артисты балетных театров разных стран, договорились встретиться в Нью-Йорке, поздравить любимого педагога. Фото на память – свидетель радостной встречи.

Вероника Коваль

Удивить постоянством

Живопись Татьяны Гончаренко не кричит о себе всполохом красок или причудливостью замысла. Работы невелики по размеру и спокойны по колориту. Но при кажущейся простоте они притягивают взор. Нужно довериться первому впечатлению и постоять возле. И настанет момент, когда вы мысленно войдете в раму, словно распахнете ворота в потерянный мир.

Почему – потерянный? На натюрмортах все знакомо: кружки, вазочки, шкатулки, тарелки, безделушки, фрукты. Мы вырастаем среди таких вещиц и так привыкаем, что их облик стирается в нашем сознании, красота не ощущается. Накатывают волна за волной вещные приметы нового времени, вытесняют старые в дальние темные углы.

Сколько такого, оказавшегося немодным, безвозвратно ушло!

Татьяна относится к любой вещице с нежностью. Может быть, даже как к живому существу. Переносит на полотно, не украшая, не обобщая. Художница доверяет мастерам, которые ее сделали. И оказывается, что бытовые предметы – это остановленное время, Татьяна пишет время своего и нашего детства – трогательного, теплого. Вот на картине игрушечный слон. Когда Таня заиграла его до потертости, бабушка обтянула слоненка вельветом. Теперь он передает вложенную в него любовь нам, зрителям.

Мама Татьяны, художница Вера Кулигина, привила ей уважение к семейным реликвиям и научила понимать их эстетику. В доме хранилось все, вплоть до цветных лоскутков, – кстати, они служат фоном на многих натюрмортах Гончаренко. И сама художница признает: «Всё – из детства».















В последнее время явен всплеск интереса к истории своих родов. Люди собирают «листочки» генеалогического древа, книги пишут. А ведь можно и так – сохраняя предметное окружение и приучая детей видеть его ценность, которую не выразишь в денежных знаках.

В такой атмосфере формировалось мировосприятие художницы. Не говорю уже о художественных журналах, каталогах, книгах о мастерах прошлого. Понятно, откуда у Татьяны тонкий вкус. Одесское художественное училище усилило это свойство, дав профессиональные знания и умения, чтобы передать его в живописи.

Есть художники, которые стремятся поразить зрителей смелостью манеры.

А меньше ли нужно смелости, чтобы вызывать интерес верностью своему стилю?

Интерес к работам члена СХ Татьяны Гончаренко обусловлен сочетанием профессионализма и прочувствования материала. Она пишет только с натуры. Натюрморты отличает тщательная проработка деталей, не убивающая, однако, живость изображаемого. Больше того, кажется, предметы беседуют друг с другом на неслышном нам языке. Шляпа с перчатками вспоминают вечерний променад, старинная шкатулка выдает секреты содержимого. Золотой диван и розовый диван написаны фронтально, крепко стоящими на витых ножках, будто заявляя: мы – хозяева дома. Такая вот метафизика повседневности…

Работы Татьяны, как живописные, так и графические, вызывают, конечно, воспоминания о «малых голландцах». Как точно сказал автор одной из статей, «у них всегда тепло, но никогда не жарко». Душевная привязанность к быту, тонкость письма, колористические нюансы на холстах Гончаренко так же, как и у мастеров XVII века, говорят о прелести размеренной жизни, уюта, спокойствия. Но не чужда ей и романтическая взволнованность, особенно в пейзажах, которые чаще всего создают атмосферу для натюрмортов на переднем плане. У Татьяны ностальгия по разным эпохам. Она любит старых мастеров за их взгляд на мир, за виртуозную технику и хочет передать их очарование, поэтому неко-

торые натюрморты пишет на фоне картин в стиле Ватто и французских шпалер.

В последние годы Татьяна заявила о себе и как поэт. Удивительное дело: чувство меры и творческой дисциплины остаются в живописи, стихи же полны страсти! А похожесть – в выразительности красок и прекрасного языка.*

Работы Татьяны Гончаренко узнаваемы в любой экспозиции. И в этом – ее достоинство как художника и как личности.

* Стихи Татьяны Гончаренко публикуются в разделе «Поэзия».

Снежана Павлова

«Долго пахнут порохом слова...»

23 февраля 1990 года умер советский поэт Давид Самойлов.

Давид Самойлов – один из поэтов, рожденных Великой Отечественной войной, который не участвовал в официозной писательской жизни, сторонился политики.

Как это было! Как совпало -
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом
во мне очнулось!..

Мы нашли старшего сына Д. Самойлова, ***Александра ДАВЫДОВА***, писателя, переводчика и издателя, в Москве и узнали, как КГБ пыталось завербовать Самойлова, почему он усомнился в Борисе Пастернаке и что связывало его с дочерью Сталина.



Давид Самойлов

Имя отца мешало

– Ощущалась ли особая атмосфера в семье писателя?

– Атмосфера, конечно, была особая. Хорошо помню еще 50-е годы. Тогда у нас собирались самые, наверное, талантливые

и умные люди поколения моего отца. Не только поэты, но и художники, ученые. Все еще довольно молодые, в большинстве вовсе не знаменитые, но уже на пороге известности. Именно в их беседах формировалась идеология и эстетика будущего – то, что называют шестидесятничеством. Но я-то не воспринимал эту атмосферу как «особую». Я жил в среде литературы – отцовских стихов и запыленных книжных полок. Существовал, окруженный литературным бытом, когда «поэт» – не экзотика, а обыденное состояние человека. Все исключения я считал нормой. Для меня было удивительным, если кто-то НЕ писал стихи или вообще НЕ обладал каким-либо талантом. К этому высочайшему уровню я относился как к норме. Может быть, поэтому и сохранил слишком, наверное, большую требовательность к людям, что мне жизнь отнюдь не упрощало.

– Каким отцом был Давид Самойлов?

– Он очень любил всех своих детей, но нельзя сказать, что был внимательным, «хорошим» в привычном смысле отцом. Как я написал в своих лирических воспоминаниях «49 дней с родными душами», отец с малолетства подавлял нежность своей натуры, да и вообще всю жизнь изображал презрение к тонким чувствам. Но не был и строг. Вполне попустительствовал неисполнению мною мелких детских повинностей. Всего пару раз я видел его в гневе. Признаюсь, было жутковато, главное – своей неожиданностью.

Но, с другой стороны, он был больше чем «хорошим», так как почерпнуть от него можно было бесконечно много. Отец был склонен к поучениям, но они оказывались столь банальны, что обижали меня даже в ранние годы. Некоторые из истин действительно были мудры и пригодны, но все равно чересчур настойчивы, если не сказать настырны. Отец явно гордился своим постижением простейшего. Меня ж сердило, что сам, проживая жизнь сложно и необычно, он меня пытался приохотить к совсем уж простецкому. Вынужден признать, что отец где-то оказался и прав, возвращая меня к реальности, о которой, впрочем, сам имел довольно фантастическое представление.

– Как отец оценивал ваши первые творческие шаги? Помогал ли в оттачивании пера?



С женой Ольгой (Лилей)

– До 15 лет я писал стихи, отец их весьма одобрял. Когда ж годам к 30-ти начал писать прозу, у отца она вызывала явное раздражение, хотя и уважение также. Как-то он себе по-другому представлял прозу следующего за шестидесятниками поколения. В «оттачивании» не помогал впрямую. Его прямые поучения были не слишком интересны. Он разве что научил меня отличать ямб от хорея. А я все ждал выражения словами той бездонной прозрачности, что питала его стихи и личность. Но отец, человек не только вдохновения, но и мысли, блестяще умевший разъяснять и объяснять, упорно молчал о важнейшем. В оставленных им записках отец трактует многое, вплоть до политики, в которой, кстати сказать, был замечательным провидцем. Притом о литературе рассуждает наименее интересно. При этом, внимательно прислушиваясь к его «проговоркам», можно было очень многому научиться, как в литературе, так и в жизни.

– Помогало ли вам когда-либо имя отца?

– Имя отца не помогало, а скорее, мешало. Так что наше родство я никогда не афишировал. Кстати, во времена борьбы с ту-

неядцами, когда процветала государственная настороженность к людям творчества, отец сам мне советовал любопытствующим отвечать на вопрос «Кто твой отец?» не торжественным «поэт» или, там, «писатель», а скромным – «переводчик». Признаться, я не любил отцовскую славу. Да и за что? Мне от нее не было пользы, а между нами с отцом она не то чтобы проложила социальный барьер, но из личного моего достояния отец превратился в достояние общественное. «Я не человек, а учреждение», – выразился коммунистический классик. Он поскромничал – целое министерство, и не из мелких. Но и любой известный человек уже не вовсе он сам, а институция. Да времена тогда еще были дурные, слякотные, вечное сейчас, не предполагавшее перемены. Отец превратился в небольшое учреждение, со своим штатом, интригами и субординацией. Я был строптив, а с отцом в период его славы стал подчеркнуто фамильярен, сознательно руша субординации. По наивности я надеялся, что нас сблизит общая беда – смерть мамы, которую и он переживал остро и трагично. Мамина смерть, пожалуй, нас с отцом еще больше развела.

– Многие вспоминают, что он любил повеселиться, покутить.

– Вроде бы и Пушкин не был аскетом! Да, отец был человеком компанейским, артистичным, блистательно остроумным. И повеселиться любил, и покутить, в чем его сейчас упрекают угрюмые зануды из «почвенников». Ему как артисту нужна была аудитория, атмосфера дружеского застолья его окрыляла. Надо сказать, что дома он бывал совсем другим – задумчивым и немногоречивым, не стремился развлечь.

Ахматова высоко ценила талант

– Кого-то из известных друзей отца помните?

– Любимова, переводчика, помню хорошо с раннего детства. С поэтом Левитанским отец в первой половине 60-х снимал зимнюю дачу в Шереметьеве, куда я приезжал на каникулы и выходные. В том же поселке «Литературной газеты» проводил зимы и Булат Окуджава, познакомившись с которым, я на него обидел-

ся, так его облик, с моей точки зрения, не соответствовал его песням. Он был лысоватым, молчаливым, угрюмым. А Фазиль Искандер стал нашим соседом по писательскому дому у метро «Аэропорт» (со второй половины 60-х), тогда я с ним и познакомился. С Зиновием Гердтом и Лидией Чуковской Давид Самойлов сдружился значительно позже, уже после того как развелся с моей мамой. Когда бывал у отца в гостях, Гердта видел многократно, Чуковскую несколько раз.

– Не могу не спросить о встречах Самойлова с Анной Ахматовой. Как состоялось их знакомство?

– Ахматову я, увы, не видел ни разу. А Давид Самойлов писал в своих «Памятных записках», что позвонил ей, и Анна Андреевна пригласила прийти. Встречались всегда с Ахматовой, когда она бывала в Москве, или он оказывался в Ленинграде. Ахматова высоко ценила талант Самойлова. Много стихотворений посвящено ей. Самойлов считал Ахматову последним гением в русской поэзии.

– Всю жизнь Самойлов тесно дружил с поэтом Борисом Слуцким, который, однако, выступил против Бориса Пастернака на собрании Союза писателей СССР. Как отец отнесся к этому? Ведь он уважал Пастернака, был с ним знаком и даже по воле судьбы умер на вечере его памяти.

– Давид Самойлов в юности боготворил Пастернака, все его стихи знал наизусть. После войны в нем усомнился, даже написал антипастернаковское стихотворение «Пастернаку», которое, однако, не стал публиковать. Как раз из него и ясно, почему усомнился. Самойлову казалось, что война четко разделила мир на белых и красных, друзей и врагов, а Пастернак все усложняет. Мне, к сожалению, с Пастернаком на даче Всеволода Иванова в Переделкино, где я в детстве бывал с родителями много раз, повстречаться не удалось. Знаю, что травлей Пастернака отец был возмущен. И выступление Слуцкого, с моей точки зрения, было подоплекой их разрыва на несколько лет. Потом они опять сошлись. Смерть Слуцкого (дружили с юности) отец перенес с необычайным драматизмом, как предвестье своей собственной. Напомню, что смерть их выпала на одну и ту же дату. Только отец умер на четыре года позже. В последний месяц стал звонить мне

часто, бывало, два раза в день. И говорил он со мной непривычно тепло, без упреков и житейских поручений. Свои звонки отец объяснял тревогой обо мне – в ту пору ходили слухи о готовящихся зверствах. Но опять мы не сказали друг другу ничего важного, да было ли чего важней этой прощальной заботы? Отец предчувствовал, а я вот нет. Моя точная в мелочах интуиция отказывала в самые грозные минуты. Видимо, подавлялась нежеланием знать трагическое будущее. В тот вечер отцовской смерти я был спокоен и деловит, ждал заграничного звонка, который и прозвучал в срок, но только принес совсем другую, чем я ожидал, страшную весть.

– А в каких отношениях Самойлов был со всем известными «шестидястниками»?

– С большой симпатией относился к Ахмадулиной, хотя в его дневниках попадаются и раздраженные реплики. Евтушенко знал с его ранней юности и очень хорошо относился лично. «А все-таки Женя хороший», – отвечал тем, кто ругал Евтушенко. Самойлов признавал его талант, но как поэт Евтушенко был ему не близок. Также и Вознесенский, с которым общения почти не было. Рождественским Давид Самойлов вовсе не интересовался.

– Кого выделял из более молодых поэтов?

– Бродского. И считал его самым талантливым из современных поэтов.

Цензура не жаловала

– Почему Давид Самойлов не состоял в рядах партии после войны?

– Это малоизвестные эпизоды из жизни Давида Самойлова. На фронте он вступил в партию, но, вернувшись в Москву, не встал на партийный учет и таким образом выбыл. Каким-то чудом ему это сошло, не дознались. В начале 50-х его вербовали в стукачи, и он отказался. И это сошло с рук, так как вскоре умер Сталин.

– Наверняка был на прицеле у КГБ?

– В брежневские годы, наверное, КГБ за всеми следило. В нашем писательском доме все телефоны были на прослушке, а лифтерши числились сотрудницами КГБ в мелких чинах. К тому же

Самойлов дружил и открыто общался с диссидентами: Даниэлем (ему после лагеря помогал с работой), Сахаровым, Копелевым, Анатолием Якобсоном, уже помянутой Чуковской (не так давно издательство «НЛО» опубликовало книгу их переписки) и другими. Но Давид Самойлов не был по своей натуре революционером, он избегал интеллектуальной и эстетической зависимости от какого-либо круга: как от власти, так и от диссидентского. Как-то в середине, по-моему, 70-х, его вызвал секретарь Союза писателей бывший (или не бывший) генерал ГБ Ильин и потребовал «прояснить свою позицию: все-таки с нами вы или не с нами?». Ответ Давида Самойлова был краток: «Пошел ты на х…». А тут еще в дверь заглянул Войнович и хихикнул. Такой вот вышел для генерала конфуз. Однако надо ему отдать должное: не мстил. Опять сошло. Наверное, просто везенье. Есть еще и такая история. Однажды фотограф Виктор Перелыгин (благодаря которому последующие поколения получили целую галерею фотоматериалов о жизни поэта) поехал проведать живших в Калининграде родственников. Обедая в ресторане города Черняховска, он увидел за другим столиком подозрительно знакомого человека. Через несколько недель он вспомнил его, увидев выходящим из здания пярнуского отделения КГБ. Самойлова эта новость нисколько не удивила. «Они проверяли, не передаете ли вы от меня какое-нибудь послание в черняховскую психушку». В этом заведении, как оказалось, содержались «ненормальные», подвергающие сомнению идеи и дела КПСС.

– И тем не менее, хоть как-то сказалось такое положение дела на писательской судьбе?

– Конечно, неприятности у него были, так как советскую власть раздражала его независимость. После того как Давид Самойлов подписал письма в защиту Синявского и Даниэля, а потом Гинзбурга и Галанскова, был рассыпан уже готовый набор его книги и несколько лет его не печатали. Да и вообще, пакостили по мелочам, не выпуская, к примеру, за границу.

– То есть советская цензура не миновала творчество Самойлова?

– Да, цензура его не жаловала. Более или менее регулярно он стал печататься (имею в виду стихи, а не переводы), когда ему

было уже за 35, а первая крошечная книжечка вышла, когда было под 40, – для поэта очень поздно. Известность он приобрел, когда ему было уже за 50. Однако сказать, что его творчество от нее пострадало, нельзя. Самойлов ведь не был поэтом политическим. Ничего принципиально «непечатного» в его архиве не обнаружилось. В общем, опубликовал при жизни все, что считал нужным. Конечно, судьба отца видится благополучной в сравнении с другими литературными российскими судьбами, словно б его Бог упасал или отцовская молитва. Войну прошел с одним нетяжелым ранением. Тюрьмы избежал, которая совсем уж была рядом, когда его вербовали в стукачи. Но вовремя умер тиран. Дождался славы, нисколько не поступившись собой. Даже наше угрюмое государство, в конце концов, пошло с ним на мировую, удостоив пары наград.

– Почему отец не ставил даты под своими стихами?

– Даты он ставил, как правило, задним числом, и очень условные. На вопрос, почему он так поступает, кому-то Самойлов ответил: «Не хочу отнимать хлеб у литературоведов».

– С чем связан переезд Давида Самойлова в Эстонию?

– Да все, наверное, надоело. И общая ситуация была в то время, в 80-е, мрачная. Да и дружеское общение уже стало тяготить. Захотелось тишины. Притом летом в Пярну, где жил со второй женой отец, съезжалось множество его друзей и знакомых, толчея в их доме была еще какая! Но это только на пару месяцев.

Через 50 лет откроют письма Аллилуевой

– Это правда, что у Давида Самойлова и дочери Сталина был роман, о котором шепталась вся Москва?

– Роман был, об этом очень подробно написал в своих воспоминаниях друг Борис Грибанов. Он рассказывал, что отец оказался рядом за одним столом со Светланой Сталиной, которая после смерти отца взяла фамилию матери – Аллилуева, в доме Анастаса Микояна, который был в то время Председателем Верховного Совета СССР. Случайная связь переросла в длительные и довольно серьезные отношения. Светлана была натурой очень эмоциональной, влюбчивой, готовой до конца отдаться каждой

новой влюбленности, готовая всем пожертвовать ради любимого мужчины. Позже Светлана вышла замуж за индийского коммуниста, работавшего переводчиком в Москве. Он умер, Светлана получила разрешение отвезти прах к нему на родину, в Индию. Там она решила не возвращаться в СССР и, в конце концов, оказалась в США. Как-то, будучи в Грузии, Светлана узнала у кого-то из грузинских поэтов адрес Самойлова в Пярну и написала ему письмо. У меня осталась пачка ее писем Давиду Самойлову, которые он просил уничтожить (притом все же оставил их у меня). Не знаю, стоит ли в данном случае исполнять волю умершего. Может быть, отдам в московский Литмузей с запретом обнародовать лет на 50.

– Есть ли в репертуаре московских театров спектакли, поставленные по произведениям Самойлова?

– В московских театрах уже нет. Да, собственно, и были-то только «Павшие и живые» (в соавторстве) в Театре на Таганке и его стихотворная драма «Сухое пламя» в Театре им. Ермоловой в 90-х – совершенно бездарная постановка.

– Стихи Давида Самойлова можно слышать со сцены от артистов разных поколений: от Михаила Казакова до Максима Аверина. Как вы считаете, доносят ли они до сердец слушателей все то, что хотел сказать своей поэзией Самойлов?

– Лично я вообще не очень признаю чтецов. Однако Самойлову повезло: его читает Рафаэль Клейнер, один из немногих чтецов, кто не убивает поэзию (кстати, его именно Давид Самойлов и учил читать стихи), а также несколько талантливых и понимающих поэзию актеров – в первую очередь, покойный Гердт и ныне здравствующий Райкин.

– Как прошло в Москве в 2010 году 90-летие со дня рождения Давида Самойлова?

– Прошло с большой помпой, даже неожиданно: несколько крупных вечеров, конференция. На вечере в Центральном Доме литераторов был полный аншлаг, что теперь редко бывает. Чувствовалось, что интеллигенции среднего и старшего поколения он по-прежнему дорог. А молодые, думаю, его совсем не знают.

Фото из личного архива Александра Давыдова

Софья Лебензон

Пушкин о Шенье

Прославленный генерал Н.Н. Раевский с семьей и путешествующий с ними Александр Пушкин прибыли в Гурзуф в ночь на 19-е августа 1820 г; обосновались на даче герцога Ришелье.*

У Раевских царил культ книги, что естественно: отец Софьи Александровны – жены генерала – А.А. Константинов был библиотекарем Екатерины II, а мать – единственной дочерью М.В. Ломоносова.

В первый же день младший сын генерала Николай вместе с Александром побывали в старинной библиотеке герцога. Взгляд Александра отметил томики любимого Вольтера, а Николай извлек стоявшие рядом две книги: на английском языке – Байрона, на французском – Шенье, и с улыбкой протянул их другу: «Рекомендую!».

Так состоялось знакомство Пушкина с именем Андре Шенье. Во Франции был известен его недавно скончавшийся брат – Мари Жозеф – поэт, драматург, в прошлом революционер-якобинец. Об Андре знали, что он казнен на гильотине 27 июля 1794 г. по приговору якобинского правительства. Полагали, что основной причиной сурового решения стало то, что во время процесса над Людовиком XVI А. Шенье по его просьбе составил текст обращения короля к Национальному собранию с требованием разрешить ему апеллировать к народу.

Что до поэтических произведений Андре, они в преобладающем большинстве были далеки от современности, даже противо-

* Ришелье (Арман Эммануэль дю Плесси – 1766-1826) эмигрировал в Россию во время Великой французской революции. В 1805-1814 гг. – генерал-губернатор Новороссии, содействовал развитию Одессы.

поставлялись ей. Молодой автор порой читал их друзьям, но, как правило, не печатал.

В 1819 г. Йозеф Анри де Латуш (1793-1861) собрал авторские рукописи Андре и подготовил их к публикации. В предисловии рассказал о короткой жизни Шенье, подчеркнул его приверженность истине, справедливости.

Многие парижские литераторы помнили третьего сына дипломата Луи Шенье. Луи в прошлом являлся французским консулом в Константинополе, где и родился Андре. Его считали одаренным широко образованным человеком. С раннего детства в парижском салоне матери он слышал не только имена античных поэтов, но и звучание их стихов. Оно стало для него привычным еще до поступления в привилегированный Наваррский коллеж. Там глубоко изучил латынь, древнегреческую литературу, историю Византийской империи. При этом в его идиллиях, элегиях наряду с темами античных авторов искренний призыв:

Должны мы из цветов античных мед извлечь
……
О новом будем петь античными стихами.

Свои письма и редкие публикации подписывал Andreas Bysantinus; знавшим его такой псевдоним казался естественным. В конце предисловия Латуш назвал Шенье «юным лебедем, задушенным кровавой рукой революции».

Пушкин полюбил поэзию Шенье и к моменту отъезда из Гурзуфа (5 сентября 1820 г.) многие строки прочитанной книги хранил в памяти.

Яркость мыслей молодого французского поэта, оригинальность их изложения определили популярность издания А. де Латуша, оно повторялось еще неоднократно, увлекая читателей. Установлено (О.И. Губарь, 1993 г.), что А.С. Пушкин во время южной ссылки приобрел в Одессе у книготорговца Колена сочинения Шенье, Альфиори, Боккаччо, Дидро, Данте, изданные во Франции, Италии в 1819-1820 гг.

Сборник Шенье в Пушкинской библиотеке сохранился. Он в красном сафьяновом переплете с золотым тиснением, содержит более 400 страниц.

А.И. Гессен (1965 г.) сообщает, что на чистом листе вслед за переплетной крышкой рукою Пушкина записаны «неизданные стихи Андрея Шенье». 17 сентября 1827 г. поэт перевел их на русский язык:

Близ мест, где царствует Венеция златая,
Один, ночной гребец, гондолой управляя,
При свете Веспера по взморию плывет,
Ринальда, Годфреда, Эрминию поет.
……..

В 1828 г. эти стихи были опубликованы во Франции.

Текстологические исследования П.Е. Щеголева, С.А. Фомичева, В.Б. Сандомирской, М.А. Цявловского, осуществленные в XX веке, показали, что Пушкин часто упоминал о Шенье в письмах, рабочих тетрадях. Так в черновике письма П.А. Вяземскому от 4 ноября 1823 г., где речь о французском реализме, в том числе о реализме Шенье. В наброске письма П.А. Вяземскому от 5 июля 1824 г., касаясь романтизма, Пушкин высказывает одобрение Ламартину и восторгается Шенье: «Никто более меня не любит прелестного André Chénier – но он из классиков классик – от него так и несет древней греческой поэзией». Подобных примеров исследователи приводят много.

В 1821 г. Александр Сергеевич на черновых набросках стихотворения нарисовал наряду с Ипсиланти, Зандом, Лувелем, – портрет Марата (Т.Г. Цявловская, 1980 г.). Вероятно, портрет Марата – отзвук чтения оды Шенье в честь Шарлотты Корде, вонзившей нож в Марата. В оде автор негодует против осудивших ее на казнь. В той же монографии Т.Г. Цявловской («Рисунки Пушкина») есть три автопортрета поэта на черновиках стихотворений 1824 г. в прическах и костюмах эпохи Великой французской революции.

Образ талантливого французского поэта привлекает все больше внимания Пушкина, и в 1825 г. он написал элегию «Андрей Шенье». Так по нормам своего времени Александр Сергеевич назвал «лучшего поэта революционной Франции, поэта-гражданина, вдохновленного Революцией и Революцией казненного» (С.С. Аверинцев, 1989 г.). Элегия посвящена Николаю Раевскому, опубликована в конце раздела элегий сборника стихотворений

Пушкина, изданного в 1825 г. по разрешению Цензурного комитета от 8 октября, то есть за два месяца до восстания декабристов. При этом цензура полностью исключила монолог Шенье от «Приветствую тебя, мое светило». Но даже при таком сокращении элегия явно направлена против самодержавия:

Заутра казнь, привычный пир народу:
Но лира юного певца
О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца!

Отрицательное отношение Александра Сергеевича к террору: естественно, он считал, что душа истинной поэзии несовместна с атмосферой смертной казни.

Во всей элегии, начиная с эпиграфа – «Но хоть был я печальным пленником, все же моя лира пробуждалась», – написал не только о Шенье, но и о себе.

Вот и 13 июня 1825 г. писал князю Вяземскому: «Читал ли ты моего Шенье? Суди об нем как иезуит, по намерению». Голос Пушкина подчеркнуто звучит в монологе благодаря автоцитациям, но вот строки:

…Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных…

Несомненно, многие строки, запрещенные цензурой, получили распространение в рукописях и были названы «На 14 декабря». Когда один из таких списков попал в руки полиции, возгорелось дело.

По вызовам московского, а затем и петербургского обер-полицмейстера, А.С. Пушкин трижды (27 января, 29 июня и 24 ноября 1827 г.) давал комиссии военного суда объяснения по поводу «Андрея Шенье». Александр Сергеевич не отрицал своего авторства, подчеркнул лишь, что слова «Убийцу с палачом избрали мы в цари» Шенье адресовал Робеспьеру и Конвенту; «позорная твердыня» – это Бастилия, и подчеркивал, что сти-

хи «Андрей Шенье» «не могут без явной бессмыслицы относиться к 14 декабря».

Решение комиссии, утвержденное Николаем I 28 июля 1828 г., было: «…иметь за ним и на месте его жительства секретный надзор».

Чрезвычайно значимыми представляются примечания, которыми автор снабдил элегию. Одно из этих примечаний – цитата из книги Латуша: «На роковой телеге везли на казнь с Андре Шенье и поэта Руше, его друга. В свои последние мгновения они говорили о поэзии: после дружбы она была для них самая прекрасная вещь на земле. Предметом их разговора и последнего восхищения был Расин. Им хотелось декламировать его стихи. Они выбрали первую сцену «Андромахи». Последнее приведенное Пушкиным замечание: «На месте казни он ударил себя в голову и сказал: «Все же у меня здесь кое-что было».

В 1836 г. А.С. Пушкин вновь напомнил читателям о французском поэте, воспевавшем Свободу как «свое Светило», напечатав в «Современнике» «Из Шенье» («Покров, упитанный язвительною кровью...») – миф о конце земной жизни Геркулеса. Возможно, не без волнующего влияния поэтических строк А. Пушкина 60 лет спустя, в 1896 г., была создана опера Умберто Джордано «Андре Шенье» (либретто Луиджи Иллики), поставленная тогда же в Милане. Одна из последних премьер оперы успешно прошла в октябре 2010 г. на сцене Шведского Королевского оперного театра в Стокгольме. В этом году настоящим театральным зрелищем на уникальной и самой большой в мире плавающей сцене Боденского озера в рамках ежегодного Брегенцкого фестиваля стала опера «Андре Шенье».

Время уходит в вечность. Яркая память о достойных не меркнет.

Израиль

Александра Ильф

«Дела призывают нас в Одессу»

Илья Ильф и Евгений Петров – одесситы, и это, как говорил Остап Бендер, медицинский факт. Не удивляет поэтому, что их романы прослоены Одессой, – не могли же они забыть родной город, который знали лучше других городов?

Ильф писал когда-то: «Я был на нашей далекой родине. Снова увидел недвижимый пейзаж бульвара, платанов, улиц, залитых итальянской лавой».

Мне приятно следовать за Ильфом и Петровым.

Можно, например, выйти прекрасным летним утром из гостиницы «Карлсбад» («Лондонская». Архитектор Г.К. Швейрембрандт), фасад которой, «построенный в стиле Второй империи, украшен побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцыбашева». Можно полюбоваться «общеизвестной одесской лестницей» (Потемкинской) и «бронзовой фигурой екатерининского вельможи, стоящего посреди площади» (то есть Дюка Ришелье), пройти по аллее Николаевского (то есть Приморского) бульвара мимо всего того, без чего нет Одессы, миновать Музей древностей (то есть Археологический музей), на ступенях которого «в тени музейных колонн» великий комбинатор признавался когда-то в любви Зосе Синицкой, и войти, например, в великолепный дом князя Гагарина.

Но сначала – об Остапе Бендере.

Бендер – образ собирательный. Но совершенно одесский. В нем проглядывают черты и мелкого ловкача Мити Ширмахера, и Остапа Шора, «внешность которого, по словам В. Катаева, соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосно-



И. Ильф и Е. Петров в «Гудке». 1929 г. Фото В. Иваницкого

венности: атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер».

А фамилия?

Когда будущий Ильф жил на Малой Арнаутской (помните – «Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице»?), по соседству была мясоторговля Бендера. Не ему ли обязан фамилией великий комбинатор?

Вполне возможно. Но эта фамилия была не такой уж редкой в Одессе:

Франц Францевич Бендер – преподаватель немецкого языка Одесского военного училища, где преподавал отец братьев Катаевых.

Луиза Мартыновна Бендер – преподаватель немецкого языка в частных гимназиях Одессы. В 1915-1916 жила по адресу: Пироговская ул., № 3, то есть в том же доме, где поселились Катаевы.

Еще один Бендер – сослуживец Ильфа по Опродкомгубу.

Настоящая Одесса навсегда поселилась в романах Ильфа и Петрова, прослоенных одессизмами, не всегда узнаваемыми иногородними читателями.

Кстати, нужно сказать, что эти иногородние жители склонны присваивать упоминаемые в романах географические точки. Например, по мнению жителей Саратова, Арбатов – это и есть их родной город (рифма!), жители Старобельска хотят быть Старгородом; если первый трамвай был пущен в Воронеже, значит, Старгород – это Воронеж. И так далее. Хвала Создателю, Жмеринка, не претендуя ни на что, всего лишь ограничилась памятником Бендеру рядом с вокзалом. Смешно утверждать, что авторы ставили целью подробно описать тот или иной город, в котором они побывали (из них лишь Козмодемьянск вполне «рифмуется» с Васюками).

Нам-то известно, сколько одесских реалий перекочевало в Старгород («Двенадцать стульев»)!

Не исключено, что одесская бубличная артель «Московские баранки» ведет свое происхождение от московской булочной и бубличной пекарни Яковлева, с 1872 г. помещавшейся на Пушкинской угол Ново-Рыбной, дом Томазини.

В Старгород перенесены одна из самых красивых улиц в Одессе – Пушкинская, где находится, как сказано в романе, «новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле», и каланча «пушкинской части с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникший в районе». Здание биржи по-прежнему украшает Пушкинскую улицу, переквалифицировавшись, правда, в филармонию.

В главе «Прошлое регистратора ЗАГСа», где приводятся колоритные подробности светской жизни в дореволюционной столице Причерноморья, упомянут «известный всему городу фельетонист Принц Датский». Это одесский журналист Борис Давидович Флит, писавший под псевдонимами Маллори, Незнакомец и пр. Он был заикой. Эпизод с публикацией статейки Принца Датского о похождениях предводителя восходит к подлинному факту: в 1919 г. одесские власти созвали редакторов всех газет и категорически потребовали, чтобы никто не смел в своей газете даже заикнуться о расстреле семи человек (это была группа Жанны Лябурб). Флит ответил: «П-простите, но я з-заикаюсь решительно обо в-всем». Так давняя история высветила прото-

тип Принца Датского, и эту фразу запомнили не только Ильф и Петров.

В той же главе описывается событие, «взволновавшее передовые слои местного общества» и происходившее в кафешантане «Сальве». Кафешантана с таким названием в Одессе не было (были папиросы «Сальве»), однако кафешантаны пользовались популярностью. И Старый путеводитель по Одессе с увлечением сообщал: «К 3 часам ночи в ресторане полно, температура повышенная, пульс бьется усиленно, веселье и разгул в полном разгаре; за столами – артистки, распивающие со своими поклонниками шампанское, со всех сторон раздается пение шансонеток, тех же самых, которые час-два тому назад распевались со сцены; два оркестра наперерыв шумно исполняют те же модные шансонетки, тщетно пытаясь заглушить шум, стоящий в зале. Слышится звон посуды, пьяные голоса, ругань…». Приблизительно то же описано в романе.

Клуб Благородного собрания, где Воробьянинов избил присяжного поверенного, также был отлично знаком одесситам того времени: «Благородное собрание, на Дворянской улице угол Елисаветинской, носит несколько широкое название и не соответствует действительности. Доступ в члены этого клуба гораздо свободнее, чем можно это ожидать, судя по названию. В клубе сильно развита карточная игра. Устраиваются часто концерты, балы, маскарады» (Путеводитель по Одессе, 1905).

Нельзя не вспомнить, что в 1921 году в помещении бывшей редакции «Одесских новостей» рядом с Городским театром располагалась редакция профсоюзной газеты «Станок», где печатались Э. Багрицкий, В. Катаев, В. Нарбут, в ее редакции работал К. Паустовский. Ильф и Петров назвали «Станком» московскую газету «Гудок», где оба трудились.

Упоминание о костюме «лодзинских коричневых цветов» Авессалома Изнуренкова объясняется тем, что на Прохоровской улице в Одессе продавалось дешевое сукно из Лодзи.

«Мой папа, – говорил Бендер, – был турецко-подданный». Многие одесские евреи принимали турецкое подданство, что при некоторых житейских обстоятельствах было очень удобно. К примеру, тесть Эдуарда Багрицкого назывался: «католическо-

го вероисповедания турецко-подданный Густав Суок». В импровизированном некрологе Бендер называет себя Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей. Гибридное (турецко-немецкое) имя также характерно для Одессы.

По сути, вся вторая часть «Золотого теленка» посвящена Одессе.

Тождество Одессы устанавливается легко и неопровержимо.

Год основания Одессы соавторы знали точно, почему и написали в первом варианте романа («Великий комбинатор»), что «между древним Арбатовым, основанным в 794 году, и Одессой, основанной в 1794 году, лежали – тысяча лет и полторы тысячи километров грунтовой дороги». Не преминули они отметить, что в чемоданчике, в котором Корейко хранил свои неправедно нажитые миллионы, честный человек мог держать брюки из клетчатой ткани «Столетье Одессы».

Споры относительно происхождения названия города (Черноморск) совершенно беспочвенны. В «Великом комбинаторе» этот город на Черном море без затей называется Одессой. Открытым текстом сказано, что Корейко служил «в канцелярии юридической консультации, находившейся на Пушкинской улице в Одессе» (гл. 5).

Кстати, Черное ли море? Можно, конечно, затеять склоку: уж не Азовское ли оно? Нет, Черное! Читаем: «Горящий обломок луны низко висел над остывающим берегом. На скалах сидели черные базальтовые, навек обнявшиеся парочки. Море шушукалось о любви до гроба, о счастье без возврата, о муках сердца и тому подобных неактуальных мелочах. Звезда говорила с звездой по азбуке Морзе, зажигаясь и потухая. Световой туннель прожектора соединял берега залива. Когда он исчез, на его месте долго еще держался черный столб».

Закончим убедительными цитатами из «Великого комбинатора»:

– Привет первому одесситу! – крикнул Остап… – Морские ванны еще работают? Бани Исаковича функционируют? Уже объявили Одессу вольным городом?

– Дела призывают нас в Одессу, – говорит Бендер своим соратникам.

Продолжаем читать «Золотого теленка»:

Кафе «Флорида» – это кафе Фанкони, теперь возрожденное на прежнем месте. По словам Дона Аминадо, «…Настоящее кофе со сливками можно пить только у Либмана, чай с пирожными лучше всего у Фанкони…». Но не это было главным у Фанкони: «Кафе очень усердно посещается хорошей публикой и коммерсантами, – утверждает старый путеводитель по Одессе. – Место, где узнаются всякие злободневные новости». В «Золотом теленке»: «Здесь, у столовой № 68, где раньше помещалось прославленное кафе «Флорида», собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска: маклера, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера. Когда-то они собирались здесь для совершения сделок». «Пикейные жилеты возле бывшего кафе Фанкони утверждали, что «такого августа не было со времени порто-франко». Был такой август или не был, но порто-франко, осчастливив и обогатив Одессу еще в 1817 году,



Кафе Фанкони

продолжало это делать сорок лет кряду». Не забавно ли, что будущий Ильф родился на Старо-Портофранковской улице?

Гостиница «Карлсбад» – псевдоним «Лондонской». Из старого путеводителя по Одессе: «Из всех гостиниц Одессы первое место бесспорно принадлежит «Лондонской», помещающейся на Николаевском бульваре. Гостиница роскошно обставлена по образцу лучших европейских отелей, имея все новейшие приспособления и удобства… Чудный вид на море и порт…» и т. д. В. Катаев называл «Лондонскую» «самой шикарной нашей гостиницей». В романе упомянуты бесчисленные вестибюльные, лестничные и коридорные зеркала, просторные номера, красные плюшевые кресла с бахромой и кистями, бархатная скатерть с позументами, гравюра «Явление Христа народу», ковер, сияющий яркими химическими колерами, золоченые ламбрекены и т. д. Даже десять лет советской власти не смогли истребить эти «остатки прежней роскоши».

«Учреждение… называлось «Геркулес» и помещалось в бывшей гостинице» (гостиница «Большая Московская» на Дерибасовской угол Колодезного переулка, против Городского сада, «где толстая струя фонтана оплывала как свеча»). В годы революции в этом здании размещался Опродкомгуб (Особая губернская продовольственная комиссия по снабжению Красной Армии), где Ильф служил бухгалтером в 1921 г.

Киностудия, которой Бендер удачно продал сценарий «Шея», – 1-я Черноморская кинофабрика ВУФКУ (Всеукраинского фотокиноуправления) на Французском бульваре. Гипсовые (как написано в романе) или алебастровые (как уверяет А. Розенбойм) львы по-прежнему караулят ворота киностудии.

О Приморском бульваре и одесском порте: «Внизу, на бульваре, лепетали гуляющие, перемалывая ногами гравий, реяло над черными кленами слитное дыхание симфонического оркестра. В темной глубине порта кичился огнями и гремел железом строящийся холодильник. За брекватером ревел и чего-то требовал невидимый пароход, вероятно просился в гавань». А Корейко «взрывал ногами гравий на бульваре и глядел в темную пропасть порта. Там переговаривались невидимые пароходы, слышались милицейские свистки, и поворачивался красный маячный огонек».

Частная гимназия Илиади «со всеми правами правительственных гимназий», где в третьем классе Бендер зазубрил латинские исключения («пуэр, соцер, веспер, генер…»), была на Дворянской угол Херсонской, и в этой гимназии учились друг Ильфа Лев Славин, а также прототип Бендера – Остап Шор.

«Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я, второе общество взаимного кредита?» – с горечью вопрошал зиц-председатель Фунт, и земляки – современники Ильфа и Петрова вспоминали 1-е общество взаимного кредита на углу Пушкинской и Греческой улиц, и 2-е общество взаимного кредита (Торгово-промышленное и ремесел общество взаимного кредита) на Греческой, между Ришельевской и Пушкинской.

Паниковский делится с Балагановым тайной якобы золотых гирь Корейко в буфете искусственных минеральных вод. Буфеты Одесского общества искусственных минеральных вод, основанные в 1829 г., помещались в Малом переулке, на Николаевском бульваре, вблизи Александровского парка, на Дерибасовской, на Гаванной, в Пассаже и др. Такие заведения, оставшиеся с дореволюционных времен, еще при нэпе были разбросаны по всей Одессе.

Своеобразной достопримечательностью города были теплые морские ванны, о которых Ильф писал: «Когда всё в Одессе разрушится, морские ванны по-прежнему будут сиять и переливаться светом. Одесситы любят морские ванны». В старой Одессе были популярны «Заведения теплых морских ванн – Гойковича, Гроссмана и Тригера».

Зиц-председателя Фунта милиционеры увозят в «дом из красного кирпича, к окнам которого по странному капризу архитектора привинчены толстые решетки». Одесская тюрьма в юбилейном для Одессы 1894 г. была переведена с Ново-Рыбной на дорогу к Люстдорфу в новое здание, отвечающее описанию.

Слух одесситов ласкает указание на то, что акации «в Черноморске несли некоторые общественные функции: на одних висели синие почтовые ящики… к другим же были прикованы жестяные лоханочки с водою для собак». Об этих «зеленых жестянках с водой у акаций, с надписью «для собак», поставленных «иждивением» одного сумасшедшего грека, писал еще Жаботинский, а потом и В. Катаев.

Улицей Полтавской победы, на которой молодой Корейко мечтал найти бумажник с деньгами, одно время называлась бывшая и нынешняя Канатная. Кстати, прототип Бендера – Остап Шор – жил на этой самой улице, в доме № 78.

Малая Касательная улица – «гибрид» Малой Арнаутской и спародированной (однако существующей до сих пор) Косвенной.

Арнаутские галереи опоясывают старинные дворы на обеих Арнаутских и других одесских улицах.

«Бронзовая фигура екатерининского вельможи, стоящая посреди площади», – конечно же, памятник герцогу Ришелье.

Улица Лассаля – послереволюционное название Дерибасовской. Улицей Меринга именовалась Нежинская: «Миновали несколько зеркальных пивных баров и остановились на углу улицы Меринга. Цветочницы с красными матросскими лицами купали свой нежный товар в эмалированных мисках». Эти цветочницы десятилетиями сидели на углу Екатерининской и Дерибасовской.

«Как ближе проехать к Старому рынку?» – улица Базарная получила название от рассекавшего ее Старого базара.

Второе христианское кладбище, раскрывшее объятия отцу «вице-короля Индии», находилось на границе с Молдаванкой. В «Двойной автобиографии» Ильфа и Петрова сказано, что один из соавторов, родившийся «под видом Ильи Ильфа», в детстве лазил «через забор на кладбище, чтобы рвать сирень».

Одесский костел, где ксендзы боролись с Остапом за душу Козлевича, – католический костел Св. Климента (Молдаванка, угол Балковской и Выгонной, против Конной площади), построенный в готическом стиле: «Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость… Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяные флаги, глухие контрфорсы…».

В 1920-е годы завод № 1 «Одесская Бавария» выпускал и рекламировал пиво «Тип-Топ», о котором теперь можно прочесть разве что в «Золотом теленке»: «А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду, за соседним столиком, и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот какой была увлекательная реклама тех лет:

ПЕЙТЕ ПИВО «ТИП-ТОП» В ПИВНЫХ БАРАХ ПИЩЕТРЕСТА.
ПИВНОЙ БАР.
УЛ. ЛАССАЛЯ, 8 ПИЩЕТРЕСТА.
ПИВО: ПИЛЬЗЕНСКОЕ, МАРТОВСКОЕ, «ТИП-ТОП».

В записной книжке Ильфа (1927) над подписью: «А вот я и в дражайшей Одессе» прикреплена наклейка с бутылки пильзенского, однако венчает композицию рекламный призыв Ильфа на «державной мове»:

Пійте пиво Тип-Топ!

Кроме пива популярностью пользовалась сельтерская вода с зеленым сиропом «Свежее сено».

«И вообще последний город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана». После революции через пограничный город Шепетовку люди выезжали в Польшу. То есть за границу. Но в начале 1930-х это стало невозможным. «В конце концов заграница – это миф о загробной жизни, – печально резюмировал Ильф. – Кто туда попадает – не возвращается назад». И еще пару десятилетий назад мы были того же мнения.

Остап пытался бежать из Одессы в Румынию. В начале 1920-х сотни смельчаков проделывали этот рискованный путь. Некоторые погибали на границе или от рук чекистов. Бегство через замерзший Днестр в Румынию было настолько обыденным явлением, что нашло отражение в «Золотом теленке». Но у некоторых одесситов это получалось удачней, нежели у великого комбинатора.

Фамилии

Реально существовали носители фамилий, доставшихся литературным персонажам: это часовщик Фунт; представитель фирмы «Патефон» Залкинд; купец 1-й гильдии Зайонц; владелец аптекарского и парфюмерного склада Бомзе; инженер Генрих Христофорович Брунс и его однофамилец, владелец знаме-

нитой пивной; служащий ссудно-сберегательной кассы Берлага… Многие из сослуживцев Ильфа по Опродкомгубу переместились в «Геркулес»: еще один Берлага, Лапидус, Пружанские. З.К. Остен-Сакен превратился в друга детства Бендера – Колю Остен-Бакена.

Елена Станиславовна и вправду существовала, только ее фамилия была не Боур, а Гинцингер. Фамилия окружного прокурора Боура принадлежала одесскому мировому судье З.С. Боуру, имевшему местожительство на Черноморской улице в Одессе.

Сколько ни бился один американский славист, но не смог догадаться, что немецкий специалист Генрих-Мария Заузе получил свою фамилию от одесского художника В.Х. Заузе (1859-1939).

Евсей Рудольфович Полуфабрикант – спародированная, очень «одесская» фамилия Фабрикант.

Сереженька Кастраки – определенно греческая фамилия (напрашивается вариант: Костаки).

Директор дворянской гимназии, где учился юный Воробьянинов, носил прозвище Сизик. Как писал В. Катаев, в его гимназии был «классный наставник, латинист, поляк Сигизмунд Цесаревич, которому была дана странная, ни на что не похожая кличка Сизик…». В той же 5-й гимназии учился и его младший брат, будущий соавтор Ильфа.

Не случайна фамилия Брунса (того, кому достался гарнитур генеральши Поповой), проживающего на Виноградной, № 34: «Старейшая и самая популярная пивная, принадлежащая Брунсу, помещается во дворе огромного дома Вагнера», – сказано в путеводителе по Одессе (1905). Виноградная улица находится на Молдаванке. «Пивная Брунса считалась первой на всем земном шаре, подавали там единственные в мире сосиски и настоящее мюнхенское пиво» (Дон Аминадо).

Прочие одесские реалии

…от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. По словам К. Паустовского, «древний закон барахолки в Одессе» был таков: «Если хочешь что кушать, то сумей загнать на Толчке рукава от жилетки».

Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. С давних времен там фабриковали, к примеру, слабительные таблетки, выдавая их за патентованные заграничные, там жили скупщики краденого, карманные воры, мелкая уголовная сошка.

Знаменито! Одесский поэт Марк Тарловский определил это восклицание как «одесское словечко. Синоним слов «превосходно», «отлично».

Честное благородное слово. Вспомним, что Петя Бачей в сочинениях В. Катаева постоянно употреблял эту, не побоюсь сказать, одесскую клятву.

Шмуклерский товар. Из одесских объявлений: «В новооткрытом магазине № 15 МОДНО-ПОЗУМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫШИТЫХ ТУЛЬЕВ Н.О. СТЕПКОВСКОГО имеются в большом выборе всевозможные шмуклерские и галантерейные товары. Цены самые умеренные. Одесса, Александровский проспект, дом наслед. Бармаса, № 15».

Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. Одессит Л. Славин в романе «Наследник» писал о девушке, которая «бежала обедать в столовку, волнуемая… предчувствиями крем-марго на сладкое».

«Битва при пирамидах, или Бендер на охоте!» Источник восклицания великого комбинатора – выставка польского художника Войцеха Коссака (1856-1942), состоявшаяся в Одессе (1906). На ней экспонировалась серия картин «Битва при пирамидах».

…Грудастые дамские оркестры беспрестанно исполняли «танго-амапа…». «Танго-амапа» – бразильский вариант модного перед первой мировой войной танго. В одесском альманахе «Серебряные трубы» в 1915 году появилось стихотворение молодого поэта Анатолия Фиолетова «Пьяный вечер»:

> В тавернах, полных народа, трубил граммофон огромный,
> Звенел жеманный танго, кружился танго истомный.
> <…> …Хозяин, почтительно снявши шляпу,
> Просил, чтоб я еще раз сплясал пьянящий «Амапа»…

Нельзя не вспомнить об одесской артистке и певице Изе Кремер, знаменитой и, пожалуй, первой исполнительнице авторских

песен. Именно ей принадлежит «давно позабытая мелодия», под которую танцевал Бендер в «Золотом теленке»: «Под небом знойной Аргентины, Где небо южное так сине, Где женщины, как на картине, Танцуют все танго». «Его медальное лицо было повернуто в профиль. Он становился на одно колено, быстро поднимался, поворачивался и, легонько переступая ногами, плавно скользил вперед. Невидимые фрачные фалды разлетались при неожиданных поворотах»: «Остап танцевал классическое провинциальное танго, которое исполняли в театрах миниатюр двадцать лет тому назад».

Изабелла Яковлевна Кремер (1887-1956) родилась в Бессарабии, в 1914-1919 жила и выступала в Одессе, в журналах печатались ее стихи. Удивительное совпадение: она скончалась в той самой «далекой знойной Аргентине», о которой написала когда-то свой знаменитый романс.

В фельетоне Ильфа и Петрова «Саванарыло» (1932) встречается цитата, происхождение или автора которой никак не удавалось определить: «Она была бы в музыке каприччио, в скульптуре статуэтка ренессанс». И что же? В конце концов оказалось, что это романс Изы Кремер. Не могу отказать себе и вам в удовольствии привести его хотя бы частично:

Романс «Мадам Люлю»

Слова Изы Кремер, музыка А. Симциса

Она была бы в музыке каприччио,
В скульптуре статуэтка ренессанс.
От всех в ней есть какое-то отличие –
Мадам Люлю, бульвар де Франс.

Ее изящной тайной окружает
Шуршанье шелка, ласковый угар,
Что скрыто им – тот угадает,
Кто знает тайну женских чар.

Ей запах амбры так подходит,
Ее движенья рай сулят.
Мадам Люлю с ума вас сводит,
Глаза мерцают и горят.

«Мадам Люлю, я вас люблю!» –
Ей шепчут страстно и знойно.
Она молчит, лишь взгляд скользит
Так равнодушно, спокойно…

Двадцать пять лет жизни, проведенные в родном городе, навсегда привязали к нему Ильфа. Начать с того, что в 1923 году, после приезда в Москву, Ильф написал с десяток «одесских» рассказов. В его записях нет-нет, а мелькнут одесские фамилии – *Манылам*, *Пфеферкорн*, *Ксида*; одесские улицы – *Косвенная* и *Гулевая*. Запомнилась Ильфу и вывеска *Генерального общества французской ваксы* (бывш. завод Жако), располагавшегося на Молдаванке. В Минске – «*плитчатый одесский тротуар*».

Это об Одессе сказано в его записных книжках:

Общество приказчиков-евреев и общество приказчиков-христиан.

В 1920 году в пустынный порт пришел итальянский пароход с шляпами-канотье.

Счастливые годы прошли. И уже показался человек в деревянных сандалиях. Нагло стуча, он прошел по асфальту.

Когда всё в Одессе разрушится, морские ванны по-прежнему будут сиять и переливаться светом. Одесситы любят морские ванны.

Что же касается пикейных жилетов, то они полны таких безумных сожалений о прошлом времени, что, конечно, они уже все сумасшедшие.

Я был на нашей далекой родине. Снова увидел недвижимый пейзаж бульвара, платанов, улиц, залитых итальянской лавой.

Памятник Суворову во дворе жилтоварищества.

Конная статуя профессора Тимирязева в повести соавторов «Светлая личность» (1928) – по сути, дубликат памятника Суворову в Одессе, во дворе бывшей мастерской скульптора Эдуардса.

«В Одессе, в Софиевском переулке, против Художественного музея, до революции была мастерская известного скульптора Б. Эдуардса. По заказу военного министерства он отлил огромную бронзовую статую Суворова для Измаила. После революции скульптор эмигрировал, а невостребованная статуя долго стояла во дворе бывшей мастерской», – сообщает одесский краевед С.З. Лущик.

Из записных книжек Ильфа (1928): «Во дворе была когда-то скульптурная мастерская. И до сих пор стоит посреди жилтоварищеского дома конная статуя Суворова и пешая какому-то герою 12-го года, а какому, уже нельзя узнать. Видны только баки Отечественной войны».

Подтверждает Л. Славин: «Самый большой памятник в Одессе – фельдмаршал Суворов на коне, помещающийся во дворе жилтоварищества № 7 по Софиевскому переулку» (Лев Славин. Одесские гасконцы. 1929).

Ксидо. В нем вдруг и с необыкновенной силой пробудились древнееврейское влечение к золоту и новогреческая страсть к торговле.

Никто не пытался комментировать эту эффектную фразу. Догадки не помогают, это нужно знать. Информацию, как всегда, ищем и находим в Одессе: «В 1856 году совсем еще немногочисленная индустрия Молдаванки пополнилась свечной фабрикой греческого купца Константина Ивановича Ксиды… В начале 80-х годов XIX века наследники покойного купца получили разрешение на устройство при действующем предприятии мыловарни, и через десять лет мыловаренно-свечная фабрика Ксиды становится одной из крупнейших в городе» (Донцова Татьяна. Молдаванка. С. 183).

В конце позапрошлого и начале прошлого века Молдаванка была наиболее оживленным и густо заселенным предместьем Одессы, примыкавшим к центральной части города по черте Старопортофранковской улицы, на которой родился будущий автор «Записных книжек». Что это нам дает? Константин Ксида (не Кси-

до, как у Ильфа, а Ксида) был греком, – отсюда «новогреческая страсть к торговле». Свечная фабрика (не прототип ли свечного заводика, о котором мечтал отец Федор?) находилась в многонациональном районе, населенном бабелевскими типами, что и объясняет «древнееврейское влечение к золоту».

Ильф никогда не забывал «дражайшей Одессы», хотя бывал не слишком часто. В июле 1926 года он пишет: «Получу отпуск 10-го августа. Выторговал себе отпуск на 5 дней раньше. Выеду, наверно, 9-го и приеду 11-го. Мечтаю есть следующее: скумбрию во всех видах, помидоры, пшенки, кавуны, кефир, брынзу и дыни». Командировка 1929 года принесла очерк «Путешествие в Одессу», который можно назвать юмористической характеристикой родного города:

«Любознательному туристу Одесса дает вкусную пищу для наблюдений.

Одесса один из наиболее населенных памятниками городов.

До революции там обитало только четыре памятника: герцогу Ришелье, Воронцову, Пушкину и Екатерине Второй. Потом число их еще уменьшилось, потому что бронзовую самодержицу свергли. В подвале музея истории и древностей до сих пор валяются ее отдельные части – голова, юбки и бюст, волнующий своей пышностью редких посетителей.

Но сейчас в Одессе не меньше трехсот скульптурных украшений. В садах и скверах, на бульварах и уличных перекрестках возвышаются ныне мраморные девушки, медные львы, нимфы, пастухи, играющие на свирелях, урны и гранитные поросята.

Есть площади, на которых столпились сразу два или три десятка таких памятников. Среди этих мраморных рощ сиротливо произрастают две акации.

Стволы их выкрашены известью, на которой особенно отчетливо выделяются однообразные надписи – «Яша дурак». На спинах мраморных девушек тоже написано про Яшу.

Львы и поросята перенесены в город из окрестных дач. Что же касается нимф и урн, то похоже на то, что они позаимствованы с кладбища. Как бы то ни было, вся эта садовая и кладбищенская скульптура очень забавно украсила Одессу.

Кроме памятников город населяют и люди.

Об их числе, занятиях и классовой принадлежности турист может узнать из любого справочника. Но никакая книга не даст полного представления о так называемом «Острове погибших кораблей».

«Остров» занимает целый квартал бывшей Дерибасовской улицы, от бывшего магазина Альшванга до бывшей банкирской конторы Ксидиаса. Весь день здесь прогуливаются люди почтенной наружности и твердых соломенных шляпах, чудом сохранившихся люстриновых пиджаках и когда-то белых пикейных жилетах.

Это бывшие деятели, обломки известных в свое время финансовых фамилий.

Теперь белый цвет акаций осыпается на зазубренные временем поля их соломенных шляп, на обветшавший люстрин пиджаков, на жилеты, сильно потемневшие за последнее десятилетие.

Эти погибшие корабли некогда гордой коммерции. Время свое они всецело посвящают высокой политике, международной и внутренней. Им известны также детали советско-германских отношений, которые не снились даже Литвинову.

Отвлечь от пророчеств их может только процессия рабов в хитонах, внезапно показавшаяся на Ришельевской улице.

Рабы с галдением останавливаются на углу. Вслед за ними движутся патриции в тогах. За преторами бегут какие-то начальники когорт и пращники. За пращниками следуют тяжеловооруженные воины из секции совторгслужащих биржи труда. Шествие замыкает разнокалиберная толпа, которая несет в кресле очень тощего Юлия Цезаря.

Делается шумно и скучно.

Всем становится ясно, что ВУФКУ пошло на новый кинематографический эксцесс – опять ставит картину из быта древнеримской империалистической клики.

Подъехавшие на семи фаэтонах кинорежиссеры устанавливают римско-одесский народ шпалерами. Статисты, стоя на фоне книжного магазина Вукопспилки, машут ветками акаций, потому что на пальмы не хватило кредитов.

Граждане города, не нанятые в римляне, с омерзением смотрят на действия родной киноорганизации.

После триумфа фаэтоны с режиссерами трогаются в направлении общеизвестной одесской лестницы. Туда же несут Цезаря, закусывающего на своей высоте «бубликами-семитати».

На общеизвестной одесской лестнице снимаются все картины, будь они из жизни римлян или петлюровских гайдамаков – все едино.

Если турист располагает временем, то ему стоит подождать судебного процесса, который обязательно возникнет по поводу постановки римского фильма».

Венцом одесских реминисценций Ильфа могут быть названы микроновеллы об Одессе, оккупированной древними римлянами. Не касаясь юмористических ситуаций, задержусь лишь на топонимике Одессы:

Костецкая – улица на Молдаванке; *бывшая улица Лассаля* – Дерибасовская; *Тираспольская*, *Преображенская* – улицы в центре Одессы; *кафе Дитмана* – известное кафе-кондитерская П. Дитмана на Тираспольской, № 2; *Дворец командующего Одесским военным округом* (ныне Дворец моряков) – *Николаевский* (ныне Приморский) бульвар, № 9; *«Альказар»* – кафешантан; *Литературно-Артистический клуб* (1912–1920), членами которого были одесские писатели, журналисты, музыканты, художники; *Большой Фонтан* – когда-то дальний пригород у моря, на станции которого паровозики привозили желающих отдохнуть; *Музей истории и древностей* – ныне Археологический музей; *Горсад* – Городской сад, примыкающий к Дерибасовской улице; *кино «Слон»* Я. Калениченко на Мясоедовской, № 1 (Молдаванка); *Пале-Рояль* – камерный сквер возле Оперного театра, по периметру которого располагались модные магазины и кафе, в том числе *кафе-кондитерская Печеского*.

Перед тем как отправиться в путешествие на кораблях Черноморского флота (осень 1933), Ильф совершает двухдневную поездку из Севастополя в Одессу, где живет в «холодном храмовом номере «Бристоля». Он наносит визит теще Елене Андреевне, которую называет по-одесски «момчик» («Момчик даже дал мне жареную скумбрию»). В Минске – «плитчатый одесский тро-

туар». В Неаполе он сравнивает какие-то здания с «магазинчиками в доме Вагнера».

Одесса для Ильфа и Петрова – некий эталон для сравнений: «В салоне для сочинения писем <…> живопись такая, как в фойе какого-нибудь одесского театра миниатюр в 1911 году». «Сегодня в Голливуде просто жарко, как в Одессе летом». «И здесь, по другую сторону океана, те же Бени Крики» (письма Ильфа из Штатов).

В «Одноэтажной Америке» слышится элегический вздох соавторов: «Есть Одессы. Не беда, если возле Одессы нет не только Черного моря, но и вообще никакого моря. Помещается она в штате Техас. Какого это одессита забросило так далеко?».

Можно с удовольствием назвать еще многое, но и без того очевидно, что одесские мотивы в романах Ильфа и Петрова звучат весьма отчетливо, и это своего рода фонограмма тех далеких времен.

На прощанье – некий парадокс: если ранее комментарии к романам Ильфа и Петрова сопровождались отсылками к самым разнообразным литературным и документальным материалам, то сейчас любые изыскания в соответствующей области уверенно подтверждаются цитатами из знаменитой дилогии.

И. Вышеславская, Г. Вышеславский

Леонид Вышеславский и Одесса

Одесса-94

С богатым скарбом плыли греки
Под сень одесских берегов,
И с нами сблизилась навеки
Страна героев и богов.
Колонны, портики, ограды,
Парадной лестницы разлет –
В Одессе вольный дух Эллады
Сильней, чем где-либо, живет!
Как со стволом платана – ветка,
Срослась давно с ней жизнь моя,
Горжусь я, что во мне от предков
Есть крови греческой струя.
За плотной времени завесой
Мне видится в морской дали
Мой славный прадед – мэр Одессы,
Достопочтенный Маразли.
И я, где блещет в красках броских
Прибойной пены торжество,
Иду по улице приморской,
По старой улице его.
И направляю взор свой ныне
К Большефонтанским берегам,
Моей любви. Моей святыни
Следы отыскиваю там.
Рожденный морем город славы,

Целую, с трепетом в крови,
И твой ракушечник шершавый,
И волны жаркие твои!



Харлампий Иванович Платонов
и Евридика Митрофановна Цицильяно. 1886 г.

Эти стихи были написаны в 1994 году Л. Вышеславским.

Корни нашей семьи уходят в Одессу, а оттуда тянутся через Филиппополь (современный Пловдив) в Афины. Но это все очень далеко не только в пространстве, но и во времени. Лишь с начала XVIII века родословная приобретает конкретные черты. И хотя поэт Леонид Вышеславский родился уже в Николаеве, с Одессой его связь не прерывалась никогда. Этот чудный город был рядом, совсем рядом, и там жило много родственников и друзей.

Бабушка Леонида Вышеславского Евредика Митрофановна Цицильяно, в доме которой он рос, была представительницей ветви знаменитого рода одесских греков Маразли, из которого происходил и великий мэр Одессы Григорий Маразли. Она приходилась ему внучатой племянницей и была названа Евредикой в честь своей бабушки, родной сестры Григория Маразли.

В 1887 году Евредика Митрофановна вышла замуж в Кишиневе за молодого священника, впоследствии протоиерея Харлампия Ивановича Платонова (1866-1942), тоже грека, но молдавского, из числа тех греков-фанариотов, в роду которых священство считалось обязательным для всех мужчин. Так она стала родоначальницей большого, дружного и необыкновенно талантливого рода Платоновых.

После ряда переездов (Дубоссары, Елисаветград) Платоновы осели в Николаеве, по месту службы отца Харлампия (церковь

св. Марии Магдалины в Ингульской слободе города Николаева). Но всех своих сыновей Платоновы отправляли учиться в соседнюю Одессу:

Николай (1890-1918) – юрист и богослов, учился в Одесском университете, жил в Одессе, погиб во время гражданской войны;

Андрей (1892-1937) – учился в Одессе, участник первой мировой войны, офицер, был ранен, награжден орденом св. Георгия. После войны несколько лет жил в Одессе, занимался литературой. После переезда в Харьков женился и работал строителем. В результате сталинских репрессий был расстрелян;



Харлампий Иванович Платонов и Евридика Митрофановна Цицильяно. 1888 г.

Константин (1895-1944) – учился в Одессе. Офицер Белой армии. После победы «красных» остался в Кишиневе и только после присоединения Молдовы к СССР встретился с родней;

Павел (1902-1968) – учился в Одесском художественном училище, в Ленинграде в Академии художеств, затем в Москве. Известный архитектор, художник, был одним из разработчиков Генерального плана развития Москвы, главным архитектором города, автором павильонов ВДНХ в Москве и некоторых станций Московского метро. Его творчество было весьма разносторонним – кроме архитектуры он занимался графическим дизайном – почтовые марки, оформление пачек папирос и сигарет, разработкой рекламы товаров, и совсем неожиданно – участвовал в создании рецептов духов.

Дочери Платоновых, Елена, Вера и Клеопатра, учились в Николаевской гимназии. Средняя дочь – Клеопатра (1892-1939), впоследствии вышла замуж за инженера горного дела Николая

Вышеславского и стала матерью будущего поэта Леонида Вышеславского (1914-2002). Вся семья называла мальчика «Люсик».

О своих старших дядьях-офицерах Леонид Вышеславский вспоминал в устных рассказах следующим образом: «У меня было три дяди – офицера. Один любил карты, второй – женщин, а третий – вино. Но у всех троих были восхитительные колесики на шпорах. И когда они приезжали к нам домой и садились за стол, я тут же под него залазил и с наслаждением крутил эти колесики». Вообще, в семье Платоновых был культ чувства юмора. Может, это тоже было связано с Одессой? Особенными остряками и любителями всяческих проделок были Андрей, Павел и Клеопатра.

Еще известно, что всем семейством иногда из Николаева ездили в Одессу навещать родственников. Вот воспоминания Павла Харлампиевича Платонова своей одесской юности в изложении его сына, Андрея Павловича Платонова (художник, Канада).

«Несколько раз в году мама (Евридика Митрофановна) возила нас с Андрюшей* в Одессу на какие-то семейные праздники Маразли. (Вполне возможно, что она брала с собой и других детей тоже, но папа рассказывал так.) По приезде в Одессу она брала коляску с кучером, причем выбирала самого красивого кучера, и они ехали через весь город к дому Маразли. Насколько я знаю, сейчас в этом доме находится Союз архитекторов Одессы. Папа сидел на мягком сидении рядом с мамой, а Андрюша, несмотря на то, что в коляске было полно места, всегда стоял на подножке и, придерживая канотье, улыбался прохожим своей неподражаемой белозубой улыбкой. Особенно страдали от этой улыбки, зубов, канотье, широких плечей и сумасшедшего бесстрашия девушки, которые просто столбенели от всей этой подчеркнуто мужественной красоты… Весь остальной рассказ был, видимо, менее впечатляющим, и поэтому я запомнил только, что там, на этих праздниках, всегда угощали сахарной ватой…»

«Однажды мы плыли с папой на пароходе «Победа» из Сочи в Одессу. У нас была каюта, но спать там было душно, и мы поднялись на палубу, раздобыли два шезлонга… Над нами было южное звездное небо, а вокруг какая-то сумасшедшая тишина, на-

* Андрюша – Андрей Харлампиевич Платонов, старший брат.

полненная звуками беспрерывного движения громадного металлического сооружения по черной маслянистой глади остывающего от дневного зноя моря.

Одесса была для отца родным домом, местом, воспоминания о котором сжимали горло и путали мысли. Так много было связано с этим удивительным городом… И папа рассказывал без умолку, перескакивая с одного на другое, волнуясь, что-то забывая, потом, вспоминая, радуясь этому и снова отвлекаясь на что-либо, начинал уже совершенно новый рассказ… О Школе живописи и ваяния, где его учителями были Кандинский, Малевич и кто-то еще, я уже не помню имен… О Молдаванке, биндюжниках, о дружбе Андрюши с Мишкой Япончиком… О том, как он с Костей** и Андрюшей ходили на их собственной яхте из Николаева в Турцию… О Катаеве, Утесове, Олеше… Читал наизусть куски из одесских рассказов Бабеля… Смеялся до слез над анекдотами своей одесской юности… Потом небо стало светлым, и звезды исчезли, и я заснул… Когда я проснулся, уже давным-давно было утро. Кругом шастали какие-то люди, шум, гвалт… Папа стоял рядом с моим шезлонгом и держал у меня над головой развернутое полотенце, чтобы солнце не напекло голову… Я не знаю, сколько он так стоял».

Все Платоновы были литературно одарены. Это видно и из приведенных отрывков писем Андрея Павловича Платонова, который по своей основной профессии художник. Но среди Платоновых были и профессиональные литераторы: поэт Леонид Вышеславский, прозаик Юрий Гаврилович Платонов (двоюродный брат), серьезно писал Андрей Харлампиевич Платонов, но из-за политических преследований ничего не успел издать. Очень литературно одаренной была и мать поэта Вышеславского – Клеопатра Харлампиевна Платонова.

Революция перевернула жизнь Платоновых. Часть семьи Маразли эмигрировала, часть рассеялась по Советскому Союзу. Платоновы потеряли в гражданской войне сына Николая, за границу бежал Константин. Церковь св. Марии-Магдалины в Ингульской слободе Николаева закрыли. Постепенно все оставшиеся члены семьи перебрались в Харьков. Но судьба подарила им еще один одесский период.

** Костя – Константин Харлампиевич Платонов, второй брат.



Леонид Николаевич Вышеславский
Успенский монастырь. Одесса. 1926 г.

В 1925 году протоиерей Харлампий был направлен служить в Одессу, в Свято-Успенский монастырь на Большом Фонтане. Монастырь этот был резиденцией митрополита Ювеналия (В.К. Машковский). Священники жили в кельях, которые сохранились и сейчас между храмом и центральными воротами. Жизнь в монастыре оказала большое влияние на мировоззрение будущего поэта Леонида Вышеславского, который приезжал туда во время школьных каникул. По свидетельству Л. Вышеславского, храм закрыли в 1928 году.

Колокол

Памяти Харлампия Ивановича Платонова

Июльский вечер над церковным садом.
На колокольне время льется зря:
Давным-давно звонить к вечерне надо,
А колокол молчит, нет звонаря.
Вновь загулял, наверно. Прощелыга…
Дед говорит мне: «Леня, выручай!»
И я по лестнице крутой взбегаю мигом,
Схватил канат и оттянул на край.
«Язык» тяжел. Скрипит. Его непросто
Так раскачать, чтоб вызрел громкий звук,
В нем, верно, два моих мальчишьих роста,
И он моих не слушается рук.
На колоколе потемневшем, старом

Медь в противоположных двух местах,
Куда обычно падают удары,
Блестит. Но вот уж «языка» размах
Обрушился на колокол. И дрогнул
Подвешенный под небо медный свод,
И звуки мерно, полновесно, гордо
Плывут, и мне подвластен их черед.
Все с колокольни видно: отблеск моря,
Обрывы в красной глине и сады,
Шаланды острогрудые у мола,
Крыш черепичных пестрые ряды.
Где нынче камни этой колокольни?
Где этот колокол? Он вырван с «языком»
Безумьем века. Горше, неспокойней
И глуше стало на сердце людском.

1979

Именно в этот период с отцом Харлампием очень сблизился молодой одесский врач-офтальмолог Владимир Филатов. Тот самый впоследствии прославленный академик Владимир Петрович Филатов, основатель Одесского научно-исследовательского центра глазных болезней.

Филатов всегда был глубоко верующим человеком, углубленным в философско-религиозные поиски, а также писал стихи. Это очень сблизило его с Харлампием Платоновым. Тогда, во время всеобщего триумфа безбожия, он находил близкую его душе атмосферу глубокой веры среди обитателей Успенского монастыря. Много позже, когда отца Харлампия уже не было в живых,



Окно кельи, где жил о. Харлампий. 1926 г.



Акварель Л.Н. Вышеславского. 1926 г. Большой Фонтан

в 50-х годах, поэт Леонид Вышеславский приезжал с киевскими литераторами в Одессу и был необыкновенно сердечно и даже торжественно принят академиком Филатовым, который организовал в его честь обед. Во время этой встречи он много раз вспоминал о. Харлампия. Литераторы были потрясены приемом, устроенным в их честь.

Впечатления от встреч с Филатовым отразились в таких стихах Леонида Вышеславского, как «Глаза не мерзнут» и «Сонет прозрения».

Сонет прозренья

Лучами света в новой роговице
Врожденная прошита темнота,
Но исцеленный все еще в больнице,
С прозревших глаз повязка не снята.

Уже он зряч. Уже владеет зреньем.
Спасибо чудотворному труду!
Но яблоки глазные не созрели
Для созерцания яблока в саду.

И люди осторожно, постепенно
Впускают в душу и цветенья пену,
И нагруженный звездью небосклон.

А если мир, которого ни разу
Не видел он, ему покажут сразу, –
Он красотою будет ослеплен!

Как это перекликается с главной идеей Филатова: «Каждый человек должен видеть солнце» – и филатовскими строчками: «Меня увлекли в офтальмологии и изящество органа зрения, и значительность его функций, дарящих человеку радость видеть природу…»!

В течение жизни Леонид Вышеславский множество раз приезжал в Одессу. И по своим литературным делам: выступления, связи с одесскими литераторами, дружба с Одесским литературным музеем, и отдыхать, и работать в Дом творчества писателей на Большом Фонтане. Дом творчества размещался в двух шагах от Успенского монастыря, который после войны был вновь заселен монахами. Большефонтанский мыс и монастырь были для него святыней. Последний раз Леонид Вышеславский был там со своим внуком, художником Глебом Вышеславским.

Улица Амундсена на Большом Фонтане

Выступами глины бухту стискивая,
берега на жгучем солнце млеют,
по-былому стены монастырские
у подножья маяка белеют.
И все так же яростней паяльника
полдень с морем небеса сливает,
улица великого полярника

от жары нещадной изнывает.
День переливается под кручею,
отданный на растерзанье зною,
доверху наполненный трескучею
тишиною.
Но от прежних дней с их радостью и мукой
не осталось ни следа,
ни следушка…
Уходил когда-то я отсюда
внуком,
а теперь сюда вернулся
дедушкой.

1976

Одесса – яркая и важная страница в творческой жизни Леонида Вышеславского. Здесь, по словам поэта, строилась его душа. И когда на закате жизни он попал в Средиземноморский рай – Лазурный берег Франции, он сказал, что ему там очень хорошо потому, что места эти напоминают Одессу.

В Литературном музее Одессы хранятся материалы о творчестве Леонида Вышеславского и его книги. Существует обширная переписка с одесскими литераторами, в частности, с Батровым, Рядченко и др.

Воспоминания дочери – Ирины Вышеславской

Одесса – это был город юности моего отца, и бывала я в Одессе почти всегда с ним. Когда мне было девять лет, меня отправили на два месяца в Одессу лечиться солнцем и грязями. Путевки были две: одна в оздоровительный лагерь в Люстдорфе, вторая – в Холодную Балку.

Отвез меня в Одессу папа, и перед поступлением в лагерь мы с ним провели день в самой Одессе. Я хорошо помню одесские улицы, погруженные в сквозную тень акаций. Мы зашли в гости к какой-то старой папиной знакомой. Жара, а в доме прохладно. Комната была большая, с высоким лепным потолком и…



Акварель Л.Н. Вышеславского. 1926 г. Сад Успенского монастыря

совершенно пустая. Только софа, покрытая потертым ковром, и старый туалетный столик. Этот минимум напоминал театральную декорацию. Я с девчоночьим любопытством уставилась на содержание столика, который был сделан, как открытый ящик, с зеркалом в стоящей вертикально крышке. В ящике было все перемешано: пудра, булавки и много разных ожерелий и колье. А в зеркале отражался угол софы и сидящая на ней хозяйка – милая, очень нежная и грустная женщина, которая держала в руках бусы, старинные, крупные, из темного янтаря, и перебирала их, как четки. Кто она была? Конечно, я этого не помню. Это была «папина» Одесса.

А потом мы опять пошли сквозь жару и пятнистые тени по улицам и пришли в полуподвальный кабачок, где в углу стояла большая бочка, наверно, с пивом. Меня посадили на бочку. Папа сказал, что здесь у него встреча с одесскими литераторами. Их было много, но запомнила я только морского писателя Батрова с трубкой, и то потому, что он потом приезжал к нам в Киев

и неоднократно вспоминал мое заявление в этом кабачке. А было так, что вся эта компания много шумела, спорила и пила пиво. И в какой-то момент я решила, что этому надо положить конец. И вот слазит с бочки девятилетняя пигалица и громко заявляет: «Папа, хватит пить! Как ты думаешь, маме это может понравиться?». Конечно, всеобщий хохот.

Второй раз мы были в Одессе, когда мне было уже четырнадцать, в одесском Доме творчества писателей на Большом Фонтане. В это время я уже лучше представляла себе, где находится город, где Люстдорф, а где Дом творчества. Приехали мы туда на допотопном трамвайчике, который звонил на каждой остановке. Большой Фонтан утопал в пыли. За последней станцией сразу начиналась степь, полная зноя и сусликов.

Среди писателей почему-то ходила легенда, что главный дом и сад Дома творчества – это бывшая «Дача Качалова», дача великого актера, и якобы на этой даче Есенин написал свое знаменитое стихотворение «К собаке Качалова»:

Дай, Джим, на счастье лапу мне.
Такую лапу не видал я сроду…

Здесь было какое-то глубокое заблуждение и путаница.

«Дача Качалова» существует в Сочи, стихотворение о Джиме написано в Москве, а в Одессе есть только улица Качалова.

На самом деле «Дача» была построена намеренно забытым писателем Александром Митрофановичем Федоровым, эмигрантом и другом Бунина. Перед тем как стать «Домом творчества», эта дача увидела много разыгравшихся там трагедий…

Но этого никто в то время не знал. Была середина 50-х. Совсем недавно умер Сталин, и еще существовал могущественный Берия. Именно во время нашего пребывания в Одессе Берия был объявлен врагом народа. Это был всеобщий шок. Все ужасно перепугались и не верили до конца. Газеты туда приходили не сразу, радио было только в столовой. Помню, как все притихли, и даже шептаться между собой боялись.

В Доме творчества жило тогда очень много москвичей. Я помню богатыря Спешнева с дочкой, которая стала потом знаменитым художником-мультипликатором, и разных столичных литературных дам, нарядных и ухоженных. Из Киева было несколь-

ко человек: поэтесса Татьяна Волгина, Ярослав Шпорта, семья Кучер. Еще запомнился молодой и нервный литератор из Львова, кажется, Глазов.

Все проводили дни под глиняной кручей, среди съехавших к морю пластов глины, на узкой полоске берега из ракушечника, служившей пляжем. Туда спускалась старая плохо сколоченная деревянная лестница со многими зигзагами и площадками.

Вдали, на мысе, был виден силуэт монастыря. Однажды на этой лестнице папа сказал мне, показывая рукой на дальний монастырь: «Там прошло мое детство». И ничего больше! Я ему не поверила. Это было слишком фантастично. Детство в монастыре? Да еще здесь, в двух шагах от писательского дома? Почему никогда раньше я этого не слышала? Не слышала я об этом и долгое время потом. Только много позже я поняла, что папа оберегал меня. Детство в монастыре, у деда-священника, одесские родственники-дворяне из знаменитой фамилии Маразли – все это было тем, что нужно было тщательно скрывать. И уже лишь во времена Брежнева папа стал писать рассказы о своем детстве, об Одессе, но все еще избегая конкретности.

Моему сыну Глебу повезло гораздо больше. Он тоже побывал с Леонидом Вышеславским в одесском Доме творчества. Брежневское царствие подходило к концу. Многое стало дозволено. Какой контраст с пятидесятыми! И Леонид Вышеславский подробно рассказывал своему внуку о митрополите Ювеналии (Машковском), об их длительных философских беседах под стенами Успенского монастыря, о дедушке-священнике отце Харлампии, образованнейшем человеке, и его друзьях архитекторе Кальнинге и враче-офтальмологе Филатове, о Маразли.

С дочерью Кальнинга Люсей юный Леонид Вышеславский дружил. Потом она тоже стала архитектором, вышла замуж за архитектора-реставратора Соболева (сына того Соболева, что написал уникальную книгу «Стили мебели») и жила в Москве, в большой коммуналке в Театральном проезде. С ними со всеми Леонид Вышеславский продолжал дружить всю жизнь – навещал, переписывался.



Кальнинг. 1950-е. Вход в кельи, где жил о. Харлампий и Л. Вышеславский

Однажды на той же лестнице, ведущей к пляжу, папа сказал мне: «А ты знаешь, что вот этот дом, в котором мы живем (это был главный дом, собственно, сама Дача Федорова), тоже съедет в море. «Да как же это может быть?» – изумилась я. «Это неизбежно», – сказал папа. Весь берег. Вся Одесса сползает туда. Потому что это глина. Само время состоит из ее пластов».

Я поняла, что это какой-то очень важный для него образ, грандиозная метафора. И правда, потом он написал целый цикл, который называется «Глина». «…Весь круг земли – гончарный круг». В этом цикле много строчек посвящено детству:

Детство берег морской исходило и обжило,
Все излазило кручи до самых вершин,
Потемнело от солнца, как глина от обжига,
И наполнилось небом, как влагой кувшин.

Для понимания этого образа глины и ее пластов, который так часто повторяется в поэзии Леонида Вышеславского, очень важно стихотворение «Оползни».

Оползни

Обламываясь плотными пластами,
Высокий берег оползает в море
С деревьями, оградами, домами,
С надеждами, утехами и горем,
С нелегкой человеческой судьбой.

Обламываясь плотными пластами,
Десятилетья оползают в вечность,
Одна лишь память остается с нами,
Одних лишь звезд не оплывают свечи
Над оползнями медленных годов.

Обламываясь плотными пластами,
В конце концов и память оползает,
И мы, дивясь, проходим берегами,
Которых наше прошлое не знает,
Которые неведомы для нас.

Образ пластов глины и времени присутствует и в двух последних строфах стихотворения Л. Вышеславского «Листва десятки раз успела обветшать…»:

Состарясь, берега морские оползли,
И волны извелись, достигшие предела,
Под ветром одряхлев, лежат пласты земли,
И даже синева над ними поредела.

Не так лучится кровь, свой трепет приглуша,
Не так легко ногам, не так светло во взоре,
И лишь – назло всему – не старится душа, –
И в этом, может быть, вся наша боль и горе.

70-е

Так одесские оползни стали для поэта символом самой жизни. А светлейшая память о детстве в Одессе светится в таких строчках:

Хранится там с твоей улыбкой детской
Иная даль, иная сторона:
Ракушечник Аркадии одесской
Обкатывает жаркая волна.

Крошатся блестки утреннего света
По берегу. По всей его резьбе.
Рука в часы наручные одета,
Да наблюдать их незачем тебе!

(Из стихотворения «Осенние проводы»,
посвященного И.К. Черновой)

Продолжение следует



Наши предшественники

322 Татьяна Щурова
«Одесский понедельник»

Татьяна Щурова

«Одесский понедельник»

Речь пойдет об общественно-политической литературной и коммерческой газете, выходившей в нашем городе всего два месяца – с начала августа до начала октября 1913 года. Тем не менее, это издание, думается, еще не раз пригодится исследователям.

Ответственным редактором в газете был известный критик и журналист Петр Моисеевич Пильский (1876-1941), автор хлестких дерзких статей. В воспоминаниях о нем отмечается, что он «писал умно и увлекательно, блестяще владел стилем». Одесситы хорошо его знали, в частности, по работе в популярном журнале «Южная неделя» (1912-1913).

Высокий профессионализм Пильского проявлялся и в подборе авторов. В девяти номерах газеты были опубликованы зарисовки из еврейской жизни Семена Юшкевича, рассказ Шолом-Алейхема «Ритуальное «убийство», мемуары Сергея Уточкина «Моя жизнь», стихи одаренного Семена Кесельмана. Последний был, кстати, не единственным автором «Одесского понедельника», кто интересно заявил о себе еще в 1911-12 гг. в журнале «Одесский крокодил». Это художники Борис Антоновский и Лазарь Митницкий, автор небольших рассказов и зарисовок Ефим Зозуля. Когда они пришли работать в газету, каждому из них исполнилось 22 года.

Публикации самого Петра Пильского звучат злободневно и в наши дни. Например, в статье-фельетоне «Литература в шляпе», где он общается с воображаемым скептическим другом, есть слова, вполне актуальные сегодня: «…Вождей нет. Авторитета у читателей тоже нет. Любовь масс утеряна. Органы печати вянут, блекнут, линяют и поспешно, задыхаясь от бега, устремляются… на услужение. …Теперь пришел на смену литературы рахат-лукум. Картофельная мука – раскрашенная и подслащенная. Липко, приторно и несытно…».



Знатоки театра во многом согласятся с Пильским, прочитав его статью «Роман с театром». Нас тоже смущает сегодня, что «есть борьба за роли. Есть борьба за оклады. Но нет – и притом никакой! – борьбы за будущее театра… Театр перестал пленять. Иногда он тешит, но это не санкция существования и не право на жизнь… Между публикой и сценой давно постылая семейная жизнь: все знакомо, все приелось, все известно заранее. На сцене умер фанатизм исканий и завоеваний…».

В каждом номере «Одесского понедельника» находим публикации наблюдательного Ефима Зозули, приехавшего в южный город и быстро напитавшегося его соками. Точные зарисовки людей, улиц, событий поданы им с глубинной психологичностью, которой он, не скрывая этого, учился у Чехова.

Сегодня трудно сказать, почему это удачное периодическое издание просуществовало столь недолго, почему его постигла судьба многих одесских газет и журналов того времени. Безусловно, спустя почти сто лет что-то неизбежно устаревает. Но возвращение к публикациям талантливых людей остается драгоценным материалом для изучения и просто удовольствием для многих читателей.

Большіе и малые.

ПОРТРЕТЫ И ШАРЖИ.

(Наши писатели и журналисты).

...Средь дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.
Но лишь божественный глаголъ...
И такъ далѣе...

Х. Н. Бяликъ.

Довольно рослый, плотноватый человѣкъ, съ плѣшью во всю голову и простоватымъ свѣтлоусымъ лицомъ.

Это – поэтъ Бяликъ. Тотъ самый Бяликъ, котораго вполнѣ заслуженно называютъ еврейскимъ Пушкинымъ.

У него собственная типографія. Въ ней онъ проводитъ не мало времени. Озабоченно щелкаетъ на счетахъ. Внимательно вглядывается въ конторскія книги. Морщитъ лобъ. Вытираетъ платкомъ потъ съ лысины. Слювомъ, работаетъ. Совсѣмъ по обыкновенному.

Дома тоже самое. Въ обыкновеннѣйшей квартирѣ пьетъ обыкновеннѣйший чай. Радъ побесѣдовать съ гостемъ. Иногда легко смущается. Говоритъ охотно: о литературѣ, русской и еврейской, о людяхъ, «о томъ, о семъ». Гостепріименъ. Милъ. Любитъ разсказать анекдотъ – мадороссійскій или еврейскій. Разсказываетъ и хохочетъ. Громко, грубовато и сочно.

И кто – глядя на него – подумаетъ, что это тончайшій, глубочайшій поэтъ, высоко взлетающій надъ жизнью, знающій нѣжнѣйшіе оттѣнки всѣхъ ея скорбей, тревогъ, красотъ и радостей?...

А. Бискъ.

Тоже поэтъ. Очень любитъ посвящать стихи барышнямъ и носитъ длиннополый сюртукъ въ стилѣ сороковыхъ годовъ. И котелокъ тоже, приблизительно, въ этомъ стилѣ, какой-то четырехугольный.

Говоритъ томно. Улыбается томно. И стихи читаетъ тоже томно и нараспѣвъ.

Но дома энергично, безъ пиджака, помогаетъ вести дѣла отцу и вмѣстѣ съ нимъ продаетъ брилліанты.

Свою книжку назвалъ: «Разсыпанное ожерелье». Однако, въ жизни онъ осторожнѣе. Еще ни разу не случилось, чтобы покупателю, вмѣсто ожерелья, хотя-бы и разсыпанного, онъ отпустилъ свои стихи...

И. Горѣликъ.

Корреспондентъ «Русскаго Слова», корреспондентъ «Русскаго Слова» и... корреспондентъ «Русскаго Слова»...

Кромѣ того, милый одесситъ и любитъ разсказывать у Робина анекдоты.

Е. Генисъ.

Терпѣливый человекъ. Редактируетъ «Одесское Обозрѣніе Театровъ». Не пьетъ. Не куритъ. Не питаетъ особой слабости къ женскому полу. Любитъ почему-то слово «человѣкъ», но произноситъ его такъ: «челаэкъ».

Л. Думскій.

Большой, бродягообразный, но не страшный, а «такъ». Себѣ на умѣ.

Тихо заикается, причемъ придерживаетъ указательнымъ пальцемъ верхнюю губу и усиленно мигаетъ. Самоувѣренъ и отдаетъ далекой милой провинціей...

Вл. Жаботинскій.

Опрятный господинъ, съ яркопунцовыми цѣломудренными щеками и съ добродѣтельно-скромно и гордо выпяченной нижней губой.

Очень наблюдателенъ, дѣятеленъ, энергиченъ.

Все успѣваетъ: разъѣзжать, писать, учиться, бывать въ иллюзіонѣ, читать лекціи, экзаменоваться и переводить не только съ древне-еврейскаго, но еще и съ итальянскаго.

Очень порядоченъ, уменъ, корректенъ. Красиво говоритъ. Словомъ, во всѣхъ отношеніяхъ – «первый ученикъ», котораго ставятъ въ примеръ безпутнымъ молодымъ людямъ.

С. Ипполитовъ.

Пишетъ въ «Листкѣ», и лицо имѣетъ блѣдное-блѣдное. На немъ свѣтится пара полуусталыхъ, полуиспуганныхъ глазъ Писать онъ будетъ еще много, но когда поставятъ памятникъ – пока никому неизвѣстно. Говоритъ громоздко, картаво, но мило. Во рту много золотыхъ зубовъ, но въ рѣчахъ золота меньше.

Отъ него вѣетъ чѣмъ-то благороднымъ, джентльмэнскимъ. Играетъ на билліардѣ.

Инберы.

Ихъ два: отецъ и сынъ. Отецъ (псевдонимъ – Кинъ) славный, хорошій культурный человѣкъ, но выраженіе лица имѣетъ такое, точно собирается чихнуть...

Сынъ-же веселѣе: одѣвается по-парижски и немножко похожъ на япон-

ца. Очень, какъ говорится, талантливъ, и въ пасмурную погоду ходитъ съ зонтикомъ.

Л. М. Камышниковъ.

Легкомысленъ. Быстръ. Молодъ. Джентельменистъ. Носитъ проборъ. Старается быть солиднымъ. Въ редакціи – даже важнымъ. Но похожъ на мальчика... Въ глазахъ стремительность, мягкость и неуверенность. Что-то хорошее и тутъ-же – неожиданно странное. Тоже въ сужденіяхъ, вкусахъ, даже шуткахъ.

Лоренцо.

Изящно одѣтъ, любезенъ и мягокъ. Скроменъ. Щеголяетъ цитатами изъ старыхъ «трогательныхъ» пьесъ и ошарашиваетъ вопросомъ:

– Откуда?

Любитъ поострить и самъ-же смѣется. Въ обществѣ «занимателенъ». Показываетъ мудреные фокусы. Охотно и не-вульгарно говоритъ о женщинахъ. Лѣнивъ, безпеченъ. Въ редакціи держится гостемъ. Когда снимаетъ шляпу, то ежесекундно гладитъ макушку...

М. Линскій.

Извѣстенъ, какъ каррикатуристъ, но и пишетъ очень недурно. По внѣшности вполнѣ европеецъ, чѣмъ (вмѣстѣ еще кое съ кѣмъ) замѣтно выдѣляется въ средѣ одесскихъ журналистовъ.

А. Муровъ.

Худенькій, утленькій, «птичій» молодой человѣкъ. Полу-мужчина, полуканарейка. Кромѣ того: политикъ, эстетъ, фельетонистъ и редакторъ. Втайнѣ очень самолюбивъ. Необычайно гордъ знаніемъ газетной техники. Фанатикъ типографіи. На людяхъ веселъ и покладистъ. Дамамъ неуклюже цѣлуетъ руку. Любитъ спорить. Въ спорѣ чувствуется невывѣтрившійся эсдекъ.

Нсзнакомецъ.

Самая благодатная фигура для шаржа. Но и самая легкая: втяните въ ротъ нижнюю губу, обнажите зубы верхней челюсти и скажите:

– Нну... дда...

И получится – Незнакомецъ.

Довольно милый человѣкъ, хотя чуть-чуть трусливъ и чуть-чуть боится жизни. Иногда бываетъ разсѣянъ. Тогда путаетъ: пишетъ въ «Одесскихъ Новостяхъ» правду, а говоритъ... фельетонами.

Н. Пересвѣтовъ.

Въ жизни ровно вдвое ярче, чѣмъ въ статьяхъ. Въ статьяхъ – хоть и подъ двумя псевдонимами – однотоненъ. Въ жизни-же природа была къ нему щедрѣе: отпечатала его въ двѣ краски...

Быть можетъ, поэтому у него часто – видъ именинника. Впрочемъ, можетъ быть, еще и потому, что служитъ въ банкѣ.

П. Пильскій.

Свою характеристику любитъ дѣлать самъ... дворникамъ при прописк‍ѣ на новой квартир‍ѣ.

Такъ, на листк‍ѣ для прописки онъ написалъ однажды слѣдующее: «Петръ Пильскій, дворянинъ» и т. д.

А въ рубрик‍ѣ «особыя примѣты» два слова:

– Уменъ и молчаливъ...

Это было въ прошломъ году, но дворникъ до сихъ поръ ходитъ съ открытымъ ртомъ...

Что-же касается меня, то я нахожу, что эти «особыя примѣты», конечно, очень опредленны, но нѣсколько кратки, а дополнить ихъ мнѣ мѣшаетъ священный трепетъ: редакторъ...

Сѣдой.

Сѣдоватая борода, близорукіе глаза, очки, кажущаяся сутулость и двѣ руки, вѣчно торчащія передъ грудью. Кажется, не то онъ ихъ собирается обнюхать, не то что-то схватить.

Тихъ, скроменъ, простъ и милъ. Безъ дѣла чувствуетъ себя, повидимому, неловко. А дѣло это – сидѣть, уткнувшись въ газету, или книгу, или-же писать своими таинственными іероглифами статьи.

Д. Тальниковъ.

Маленькій, коротконогій человѣчекъ съ большимъ собственнымъ достоинствомъ и чуть вздернутымъ носомъ. Обладаетъ счастливой особенностью: говоритъ длинно и упрямо о томъ, что всѣмъ давно извѣстно.

И. М. Хейфецъ.

Высокій, сильный, суровый и твердый человѣкъ. Самое характерное въ фигурѣ – это упрямый наклонъ головы и шеи, съ смотрящими изподлобья глазами. Фактическій редакторъ «Одесскихъ Новостей». Гроза и ужасъ для начинающихъ.

Говоритъ очень мало. Ходитъ по комнатѣ такъ, точно собирается что-то опрокинуть. Удивительно трудоспособенъ, находчивъ, неожиданъ, смѣлъ. Внѣшне холоденъ, но, кажется, втайнѣ очень нѣженъ.

Приходитъ въ редакцію раньше всѣхъ и, прежде всего, составляетъ самъ списокъ умершихъ...

Е. Н. Щепкинъ.

Литературный профессоръ. Милый человекъ. Вѣчно сѣменитъ куда-то въ своемъ смѣшноватомъ котелк‍ѣ, коротенькой крылатк‍ѣ и съ саквояжикомъ въ рукѣ...

Говоритъ быстро-быстро, напряженно мигаетъ глазами и подергиваетъ лицомъ.

Иногда въ литературно-профессорскомъ обществѣ выпиваетъ вина. Тогда произноситъ длинные тосты и читаетъ наизусть массу стиховъ. Но чаще – тихо дремлетъ, положивъ подбородокъ на выскакивающую изъ жилета манишку...

С. Юшкевичъ.

Большое, грубоватое неяркое лицо. Большой ростъ. На писателя похожъ мало. Больше такъ, приблизительно, на приличнаго уѣзднаго мясоторговца...

Славный человѣкъ. Немножко подражаетъ Куприну. Хочетъ быть «стихійнымъ». Ходитъ по Дерибасовской, широко размахиваетъ руками и говоритъ:

– Эхъ, хорошо-бы выпить...

Но пьет сладкій чай...

Увлекается живописью. Въ карманѣ пиджака носитъ спеціально-намѣненныя копѣйки: для нищихъ...

А. Ѳедоровъ.

Самое храктерное въ лице это – странное сочетаніе сѣдыхъ волосъ и юношески-живыхъ глазъ.

Держится, какъ знаменитость, но съ «чеховской» простотой. Однако, простота выходитъ не чеховская, а чуть наивная... Очень увлекается живописью, старинными вещами и культурой Востока. И это у него то-же выходитъ почему-то наивно... Впрочемъ, эта хорошая, добросовестная, свѣжая федоровская наивность достаточно знакома изъ его книгъ.

Кажется, хорошій семьянинъ, легкій, мягкій, славный человѣкъ.

Пріятный собесѣдникъ. Умѣетъ выслушать и согласиться какъ разъ тогда, когда нужно.

———

Пессимистъ.

Журналистъ внѣ алфавитнаго списка. Выше средняго человѣческаго роста, небрежно-одѣтое, плотноватое существо, похожее на человѣка. Имѣет даже большой, совсѣмъ похожій на человѣческій, лобъ и неглупые глаза. Говоритъ членораздѣльно и даже въ иныхъ случаяхъ грамотно. Въ общемъ, внѣшность довольно пріятная. На истинно-русскаго похожъ мало. Въ лицѣ даже нѣкоторая интеллигентность имѣется – такъ, приблизительно, – мѣстечковаго помощника провизора изъ евреевъ.

ЗОЗУЛЯ.





Начало осени.

Тревожнѣй шелестъ старыхъ сосенъ,
Уютнѣй домъ по вечерамъ;
Еще никто не скажетъ: осень,
Но сердцу грустно по утрамъ.
Въ аллеѣ мокнетъ чей-то мячъ,
И плачетъ мраморная Сафо,
И воробьи слетѣли съ дачъ
На проволоку телеграфа.
Гдѣ ты теперь? Въ тоскѣ, въ слезахъ
Ты не надъ прошлымъ-ли склонилась,
Или на-вѣки заблудилась
Въ чужихъ веселыхъ городахъ?
Несутъ письмо. Въ тревожномъ снѣ
Я странной радостью ужаленъ:
Я знаю: міръ вездѣ печаленъ, –
И ты жалѣешь обо мнѣ.

Семенъ Кесельманъ.

УЛИЦЫ.

(По поводу 119-ой годовщины основанія Одессы). Снимки, наброски и шаржи.

Предисловіе.

У беллетриста Сергѣева-Ценскаго есть великолѣпное сравненіе: «у него было лицо – как широкая, немощенная провинціальная улица».

Надъ этимъ сравненіем много смѣялись.

Поэтому, я поступлю какъ-разъ наоборотъ: буду искать не въ лицахъ – улицы, а въ каждой улицѣ – лицо.

И, – кто знаетъ? – можетъ быть, надо мною будутъ смѣяться меньше...

———

Дерибасовская.

Ея лицо я вижу только вечеромъ и на разсвѣтѣ. Днемъ – это пестрая, красивая, живая европейская улица съ яркими нарядами, кричащимъ блескомъ витринъ, улыбками женщинъ, автомобилями, афишами, дразнящимъ грохотомъ города и веселымъ солнцемъ юга.

Но вечеромъ она другая. Настоящая. У нея особый, только ей свойственный, запахъ. На ея скамьяхъ, въ тѣни деревьевъ, сидятъ особые люди. Они серьезны. Пугливо озираются. При встрѣчѣ съ знакомымъ принимаютъ непринужденный видъ, посвистываютъ или напѣваютъ... но это – такъ, для вида. И дѣвушки съ сумочками, питомицы Дерибасовской, понимаютъ ихъ и покорно ждутъ приглашенія...

И въ ихъ грубыхъ или равнодушныхъ, заискивающихъ или грустныхъ взглядахъ и чувствуется лицо Дерибасовской улицы.

Но еще ярче оно чувствуется на разсвѣтѣ, когда по ея усталой влажной мостовой плетутся сонныя дрожки съ блѣдными проститутками, когда падаютъ лошади на поворотахъ, а на мокрыхъ отъ росы скамьяхъ уже сидятъ какіе-то странные, невыспавшіеся люди съ сырыми газетами въ рукахъ и надъ всѣмъ этимъ одиноко высится милый единственный и странный тополь Дерибасовской улицы...

———

Ришельевская.

Излюбленное мѣсто шестнадцатилѣтнихъ флиртующих одесситовъ. Отъ угла Успенской, приблизительно до

Полицейской. На правомъ, если стать лицомъ къ театру, тротуарѣ.

Ежедневно, отъ пяти часовъ вечера, тамъ ржущими и гогочущими стаями бродятъ рослые и франтоватые одесскіе ученики. Фуражки у нихъ такъ изломаны, что походятъ больше на калошу, нежели на фуражку. Поясокъ обнимаетъ не торсъ, а лопатки, при чем пряжка приходится какъ-разъ на сердцѣ. Брюки, конечно, по-модному – «колоколомъ».

Бродятъ они группами, плечо къ плечу, курятъ, гудятъ, хохочутъ басомъ и острятъ на «популярномъ» жаргонѣ В. Хенкина...

Пушкинская.

Хорошая улица! Вегетаріанская: по ней еще не ходитъ трамвай...

Впрочемъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ онъ ее пересѣкаетъ, и тамъ она вегетаріанствуетъ меньше...

По ней всегда ходитъ и ѣздитъ много новыхъ людей. Это пріѣзжіе. Лица у нихъ въ большинствѣ случаевъ, удивленныя. Въ глазахъ – любопытство. За то радостныхъ лицъ еще больше: это у ѣдущихъ не съ вокзала, а на вокзалъ...

Преображенская.

Шумъ, грохотъ, рекламы, торговля, грязь... Будничная улица, но съ претензіями. Въ ней есть что-то, напоминающее длинный, неугомонный, болтливый и заплетающійся одесскій языкъ, который начинаетъ съ «аристократизма», а кончаетъ базаромъ. Такъ и она. Начинается с «аристократическаго» садика и домовъ-дворцовъ, а кончается привознымъ базаромъ...

И, конечно, у базара видъ какъ-будто искреннѣе, чѣмъ у «дворцовъ»...

Тираспольская.

Трудовая, суетливая, «передаточная» улица. Непосредственно соединяетъ центръ съ Молдаванкой.

Любимое мѣсто для прогулокъ веселыхъ старичковъ и скучающихъ мужчинъ: по ней четыре раза въ день проходятъ съ работы и на работу сотни дѣвушекъ изъ магазиновъ, конфексіоновъ, конторъ, фабрикъ, мастерскихъ...

Канатная.

Узкая. Чуть хмурая. Какая-то прищуренная. Много солдатъ: казармы. Измѣнчивая, какъ все одесскія улицы: въ одной части строгая, чуть-чуть петербургская; въ другой – сразу дряблѣетъ. Въ первой части шляпы на головахъ сидятъ чинно. Въ другой-же сами собой съѣзжаютъ на затылокъ... Это вяжется со стилемъ.

Маразліевская.

По этой гуляютъ самоубійцы и влюбленныя парочки. Первыя – когда до «рѣшительнаго момента», т. е. до спуска къ морю остается всего недели двѣ, а вторые – когда весна еще въ самомъ зачаточномъ состояніи и, ког-

да даже людныя аллеи парка могутъ помѣшать возвышеннымъ рѣчамъ о томъ, что жизнь – «это сфинксъ», душа человѣческая – загадка и т. д.

Для такихъ рѣчей лучшей улицы въ Одессѣ нѣтъ.

Приморская.

Интересная, холодноватая, немного средневѣковая и немного грустная улица. Вечеромъ и въ сумерки она прекрасна и поэтична съ висящими надъ ней мостами, съ своей кривизной, бѣднымъ освѣщеніемъ и неподвижностью...

Днемъ-же буднична, немного даже казарменна, пыльна и загромождена безконечными обозами, волами и краснощеими грудастыми «биндюжниками» съ широко-разстегнутыми воротами грубыхъ рубахъ...

Б.-Арнаутская.

Улица бывшихъ экстерновъ и старьевщиковъ. Бывшіе экстерны ѣдятъ «пшонки», по субботамъ толпятся около сіонистской синагоги и усиленно читаютъ газеты. А старьевщики ходятъ по дворамъ, осматриваютъ вещи на свѣтъ и вздыхаютъ.

На этой улицѣ масса озабоченныхъ и какихъ-то немытыхъ лицъ.

М.-Арнаутская.

Еще хуже. Сначала какой-то ужасъ: груды фруктовъ, доски, кнуты, ящики, могильныя плиты, каменные кресты... Запахъ пекаренъ, смолы, гнилыхъ огурцовъ, тѣсноты и грязи... На тротуарахъ – полуголыя грязныя дѣти; у воротъ и на ступенькахъ толстыя, грязныя отвратительныя бабы и старухи... Все это неопрятно ѣстъ, пьетъ, хрипло ругается, шевелится, копошится, ходитъ...

За то дальше – лучше, хотя отпечатокъ первой половины не совсѣмъ утрачивается.

Херсонская.

Университетъ и студенты. Студенты и университетъ. Радости не доставляютъ ни тотъ, ни другой. На Херсонской студенты, почему-то скучнѣе, чѣмъ на другихъ улицахъ. Да и улица сама по себѣ не веселитъ. Въ ней чувствуется что-то сонное и сытое. Не оживляютъ ее ни трамвай, ни театръ, на библіотека, ни больница, ни университетъ, ни участокъ...

Княжеская.

Улица курсистокъ. Почти въ каждой семьѣ сдается комнатка или почти въ каждой живетъ курсистка. Комнатка, обыкновенно, чистенькая и скромная, кровать – заботливо прибрана, и надъ ней висятъ «виды»: «Островъ Мертвыхъ» Беклина и «Меланхолія», не помню чья, изображающая полуодѣтую дѣвушку съ руками на поясницѣ, стоящую на разсвѣтѣ у окна...

Кажется, этотъ «Островъ Мертвыхъ» съ этой неизмѣнной «Мелан-

холіей» висятъ и надъ всей узкой, скромненькой и прибранной Княжеской улицей – этой сѣренькой улицей, маленькой, комнатной тоски…

Улица Гоголя.

Милая, красивая улица. И самая тихая: на ней нѣтъ ни одного ресторана. По ней иногда гуляютъ непонятные, неудачливые, но чувствующіе красоту люди. Примыкающій къ ней Сабанѣевъ мостъ, высокія стильныя зданія, заколоченные окна толстовскаго дома, тишина и густыя деревья – все это дѣйствуетъ почти всегда умиротворяюще и тихо будитъ больную, обиженную мечту...

Московская.

Пересыпь. Тутъ ужъ совсѣмъ иной стиль. Широкая, безалаберная, незастроенная, полу-пустынная. Заводы. Мельницы. Странные дома. Странные люди. Полудикія лица. Безпрерывное движеніе: на странныхъ, грязныхъ кибиткахъ ѣдутъ куда-то, поджавъ подъ себя ноги, какія-то бабы, мужики. Они страшно здоровы и, должно быть, по-звѣриному жестоки и наивны. Отъ домовъ пахнетъ скверной пищей… Скучно!

Прохоровская.

А это – молдаванка. И еще цѣлый рядъ улицъ: Мясоѣдовская, Болгарская и т. д.

То-же впечатлѣніе полудикости, заброшенности. Жалкія парикмахерскія. Комичные франты. Дикіе парни съ надвинутыми на глаза фуражками. Разбитныя дѣвушки. Грязныя, полуголыя дѣти. И все это живетъ, движется, дерется, смѣется, смотритъ на все новое жадными горящими готтентотскими глазами…

Всюду торгуютъ, божатся, не довѣряютъ. Подъ деревьями часто валяются пьяные. Имъ растираютъ уши или тащатъ на дрожкахъ въ полицію.

Кладбищенская.

Довольно веселая, живая улица, съ трамваемъ, освѣщеніемъ и т. д.

Но на ней есть нѣсколько типовъ тихихъ сумасшедшихъ… Одинъ изъ нихъ, старикъ, наиболѣе характеренъ. Онъ всегда спокоенъ и еле-замѣтно улыбается въ усы. Съ утра до вечера онъ на улицѣ и съ неизмѣнной своей полу-улыбкой провожаетъ похоронныя процессіи. Проводитъ одну, возвратится, по дорогѣ встрѣтитъ другую и – опять… И такъ изо дня въ день…

И, мнѣ кажется, этотъ старикъ несетъ въ себѣ душу этой улицы…

Елисаветинская.

Тихая, «аристократическая» улица. И по ней идетъ трамвай, но оживленія, какъ и на Херсонской, нѣтъ. Все почему-то кажется, что на ней живутъ однѣ вдовы и сдаютъ комнаты солиднымъ жильцамъ.

Глухая.

Улица красныхъ фонарей, бурнаго веселья, и неожиданныхъ встрѣчъ: отцовъ съ сыновьями, учениковъ съ воспитателями и т. д. и т. д.

Одна изъ «искреннѣйшихъ» улицъ въ Одессѣ.

Для института благородныхъ дѣвицъ подходитъ мало.

Но на ней, кажется, и не собирается никто строить этотъ институтъ.

ЗОЗУЛЯ.

Фельетонъ.

I.
RUE DE-RIBAS.
(Дерибасовская).

Милый, мелькнувшій обманъ...
Rue De-Ribas...
Былъ я изысканно пьянъ
Вечеромъ разъ.
Глупо ревущій авто
Яростно мчалъ...
Все было то, да не то...
Что-то я ждалъ.
Дымная мгла фонарей,
Лента толпы.
Женщина, греза о ней?
Явь?.. Нѣтъ не ты!
Милый, мелькнувшій обманъ, –
Огненность глазъ.
Сладкихъ свершеній дурманъ, –
Rue De-Ribas!



Влад. Дитрихштейнъ.

СЕНТЯБРЬ

Ты вновь стоишь у темныхъ береговъ,
Вновь на стѣнахъ твои сырыя вязи,
Больная осень звонкихъ городовъ, –
Печальный праздникъ золота и грязи.

* * *

Надъ заводью вечернихъ площадей
Дрожатъ огни прозрачными слезами,
И ночь, глядя незрящими глазами,
По небу гонитъ черныхъ лебедей.

Семенъ Кесельманъ.



Первыя ласточки

Большіе и малые.

Портреты и шаржи (Наши писатели и журналисты).

«...межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.
Но лишь божественный глаголъ...»
И т. д.

Примѣчаніе.

Собственно говоря, это продолженіе вынужденное: послѣ появленія прошлаго фельетона на меня обидѣлись многіе – очевидно, не совсѣмъ разобравшіеся ни въ значеніи, ни въ цѣляхъ, ни въ видахъ шаржа. Но, оказывается, еще больше обидѣлись тѣ, о которыхъ я не писалъ совсѣмъ. Нѣкоторые изъ нихъ письменно жаловались мнѣ и редактору «Понедѣльника». Что-жъ «восполняю пробѣлъ».

М. Аринштейнъ (Андрей Маркекъ).

Польско-еврейский драматургъ. Человѣкъ съ кошачьими жестами и походкой. Любитъ поговорить по-русски, терпѣливо выслушивать поправки и тут-же перевирать ихъ. Пишетъ по 10 пьесъ въ недѣлю, а потомъ говоритъ съ лукавой скромностью, не сдерживая, однако, самодовольной улыбки:

– Я работалъ нимножко...

Б. Антоновскій.

Художникъ. Каррикатуристъ и иллюстраторъ. Очень наблюдателенъ. Немного знаетъ и хорошо любитъ жизнь. Рисуетъ мало, но по утрамъ поетъ басомъ, подражая Шаляпину и Цесевичу. Дома имѣет канарейку, которая по приказу садится къ нему на палецъ. Очень доволенъ симъ обстоятельствомъ...

К. Бархинъ.

Поэтъ, библіографъ и библіофилъ. Очень дорожитъ старыми завѣтами русской литературы и говоритъ женскимъ голосомъ. Въ редакціи ходитъ безъ пиджака и имѣетъ вѣчно-невыспавшійся видъ. Кроме того, корректный, мягкій, добросовѣстный и милый человѣкъ.

С. Закъ.

Малъ ростомъ, вѣчно ходитъ съ книжкой подъ мышкой, но на ученика все-таки не похожъ. Тихій, любезный и пріятный человѣкъ, но когда говоритъ въ одной комнате, то въ пятой спрашиваютъ: «что случилось? Гдѣ скандалъ?».

Говорить менѣе страстно не можетъ. Когда говоритъ, то одной рукой держится за спинку стула, другой размахиваетъ надъ головой, а сидѣнье стула безжалостно бодаетъ колѣномъ...

Очевидно желаетъ, чтобы и оно слушало...

С. Кесельманъ.

Студентъ. Пишетъ нѣжные, задумчивые, покорно-тонкіе и очень художественные стихи. Остроуменъ. Очень мнителенъ. Очень боится простудиться, а также испачкать новое пальто.

Комаръ.

Плотный, веселый, брюшковатый типъ съ вѣчнымъ видомъ именинника. Одѣвается весьма экзотично: зеленый галстухъ, гороховаго цвѣта пиджакъ и оливковые брюки. Ходитъ переваливаясь на мягкихъ подошвахъ. Сыплетъ экспромтами и сам-же хохочетъ. Въ самоубійцы не годится и надъ «проклятыми вопросами» страдаетъ умѣренно.

И. Ксидіасъ.

Издатель газеты «Южная Мысль». Иногда и самъ любитъ пописать – все о сильныхъ людяхъ. Напримѣръ, о Наполеонѣ. Очень спокоенъ, черенъ, моложавъ, удивительно-корректенъ и милъ. Самый хладнокровный, сдержанный человѣкъ въ Одессѣ. иногда, впрочемъ, напряженно размышляетъ. Если это на улицѣ, то руки при этомъ держитъ на поясницѣ, головой слегка подергиваетъ, точно поправляя воротникъ, а котелокъ при этомъ чуть-чуть съѣзжаетъ на макушку...

Э. Кроткій.

Маленькій, сухонькій мальчикъ. Остритъ. Иногда довольно остроумно. Но при этомъ суетится: нагибаетъ головку къ плечу, машетъ ручкой и подтанцовываетъ на одной ножкѣ... Вообще, способный юноша.

Лери.

Большой, высокій, съ круглымъ немного бабьимъ лицомъ, напоминающимъ почему-то плохо-выпеченное тѣсто... носитъ бѣлые брюки, и пишетъ въ «Листкѣ» звонкіе стихи.

Лоэнгринъ.

Милый, мягкій добрѣйшій человѣкъ съ легкими замашечками стараго холостяка. Добродушно улыбается въ усы. Чуть-чуть медлителенъ. Когда рѣшаетъ что-нибудь сдѣлать или куда-нибудь уйти, то самъ себѣ «даетъ звонки»:

– Первый звонокъ. Дзинь-дзинь-дзинь...

И только послѣ «третьяго звонка», добродушно улыбаясь въ усы и посапывая, уходитъ...

Mad.

Каррикатурист. Похожъ на англичанина. Чопоренъ, холоденъ. Говоритъ съ застывшимъ лицомъ. Очень тактиченъ.

Л. Митницкій.

Тоже каррикатурист. Очень любитъ литературу, вѣчно занятъ размышленіями и задаетъ всѣмъ такіе, напримѣръ, вопросы:

– Скажите, пожалуйста, кто талантливѣе: Леонидъ Андреевъ или Л. Думскій?

Я.Г. Натансонъ.

Издатель «Одесскихъ Новостей». Господинъ с желтой бородкой и рыбьими глазами. Любитъ кататься на автомобилѣ и смотрѣть по сторонамъ. Легкій и щедрый человѣкъ. Страстно любитъ почет и тайно мечтаетъ стать сербскимъ консуломъ.

В. Надель.

Полжизни своѣй проводитъ въ Крыму, а въ остальное время ходитъ по одесскимъ улицамъ вдоль стѣнъ со своимъ мечтательно-наивнымъ и разсеянно-угнетеннымъ лицомъ. Жалуется на одиночество. Въ Крыму пишете объ Одессѣ. В Одессѣ – о Крымѣ.

П. Нилусъ.

Беллетристъ и художникъ. Средняго роста мужчина съ сытой и чуть топорной нижней половиной лица. Незримо пишетъ романы и озаглавливаетъ приблизительно такъ: «Жизнь». Но, глядя на него, поневолѣ думается: нѣтъ, братъ, о жизни ты не напишешь...

Н Осиповичъ.

Самый нужный человѣкъ въ Одессѣ: издаетъ популярный «журналъ для еврейскихъ дѣтей» «Колосья». Но еврейскимъ «дитятей», въ данномъ случаѣ, оказывается одинъ только корректоръ – да и то за приличное вознагражденіе.

Коренастый, короткошеій человѣчекъ. Похожъ больше на шахдена или на ходатая по бракоразводнымъ дѣламъ, чѣмъ на литератора.

Пишетъ еще въ «Современномъ Мірѣ» и часто справляется въ адресномъ столѣ, гдѣ находится слава, а также, гдѣ-бы добыть грамматику.

С. Пенъ.

Адвокатъ, раввинъ и истинно-курчавый еврей. Пишетъ надрывно-патетически и любитъ такія фразы, какъ «великій русскій языкъ». Увѣряетъ, что пишетъ не чернилами, а кровью. Лѣтомъ-же ѣздитъ за-границу.

Фаустъ.

Средняго роста, чернобородый еврей, лѣтъ сорока. Выраженіе лица

нѣсколько затаенно-ехидное. Носъ крючкомъ. Одѣтъ неважно. Когда сидитъ въ театрѣ, въ первыхъ рядахъ, то смущенно уходитъ головой въ плечи, жадно, пугливо смотритъ по сторонамъ и мнетъ программу.

А. Цѣновскій.

Журналистъ, композиторъ, дирижеръ, врачъ, безпощадный обличитель зла и защитникъ угнетенныхъ и оскорбленныхъ.

На-рѣдкость толковый человѣкъ. Никогда ничего не путаетъ! Еще ни разу не случилось, чтобы онъ въ редакцію, вмѣсто статьи, прислалъ ноты, продирижировалъ-бы симфонію – перомъ, а угнетенныхъ защитилъ-бы дирижерской палкой.

Прямо изумительный человѣкъ!

Ш. Шварцъ.

Живой настой изъ непримиримаго сіонизма. Покорно носитъ кличку «еврейскаго Пуришкевича». Лицо имѣетъ блѣдное, глаза уходящіе въ себя – глаза фанатика, но на губахъ – неожиданно-пріятная улыбка. Хорошій товарищъ и скромный, порядочный человѣкъ.

С. Штернъ.

Единственный журналистъ среди коммерсантовъ, но не единственный коммерсантъ среди журналистовъ. Высокій господинъ съ выбритымъ, матовымъ лицомъ и наивно-внимательными близорукими глазами. Ходитъ по улицѣ съ торопливымъ и дѣловымъ видомъ. Но отъ него вѣетъ почему-то не дѣльцомъ, а дилетантомъ.

Зозуля.

Тоже обиделся, что не замѣтилъ себя въ прошлый разъ. На послѣднее мѣсто поставилъ себя потому, что скроменъ. Вообще, очень скромный, тихій, милый человѣкъ. Хочетъ быть вторымъ Чеховымъ, но, вѣроятно, будетъ первымъ Зозулей. Больше всего на свѣтѣ любитъ: во-1) прекрасныхъ женщинъ и во-2) хорошіе разсказы. Женщинъ любитъ толстыхъ, а разсказы тонкіе.

Зозуля.

Замѣтки актера.

1.

Въ послѣдней книжкѣ «Вѣст. Европы» начало повѣсти П.Д. Боборыкина: «Туда! Туда»! По всѣмъ даннымъ, главное лицо – В.Ѳ. Комиссаржевская. Легко угадываются фигуры Савиной, Яворской, Мейерхольда, Художественниковъ. Повѣсть ведется отъ имени главной героини и пестритъ интересными, то мѣткими, то простыми и зна-

комыми афоризмами наблюденіями, парадоксами, замѣчаніями.

2.

Одинъ изъ основныхъ завѣтовъ великаго служенія актрисы:

«Прежде всего, надо уйти отъ создаванія себѣ мѣста «премьерши».

3.

Грустная истина:

«Роль – при туалетѣ – честь женщины! Это взятка или директора, или режиссера, или актера»!

А, въ общемъ, жалкое и странное явленіе, будто «человѣкъ... при саванѣ!..»

4.

Объ опустошеніи душъ и о живой смерти:

«Сцена почти у всѣхъ выѣдаетъ душу. Точно нѣтъ ни Бога, ни природы, ни общества, ни добра, ни нравственнаго идеала, ни той к р а с о т ы, къ которой тянется всякая неомертвѣлая душа».

5.

Нѣчто о психопатіи, хотя и лестной:

«Онѣ (поклонницы) васъ цѣлуютъ, обнимаютъ, бросаются на колѣни, говорятъ всякія безумныя вещи.

Подъ всѣмъ этимъ есть какое-то даже извращеніе».

6.

А вотъ и рѣшительное слово по спорнѣйшему изъ вопросовъ:

«Актеръ и актриса именно въ бытовыхъ пьесахъ и находятъ пищу въ томъ, что называется «художественнымъ развратомъ».

ѣ.

Но тутъ-же и другое, – уже безспорное:

«Убить актера, это все равно что убить самый театръ».

8.

Характеристика, такъ-называемыхъ, «школъ»:

«Прославленная парижская консерваторія – фабрика канареекъ, выученныхъ пѣть, или говорить подъ органчикъ».

9.

И еще, какъ будто о томъ-же:

«Да погибнетъ всякая «читка», если подъ нею нѣтъ полнаго сліянія съ тѣмъ «я», которое вы воплощаете на подмосткахъ»!

10.

О художественникахъ:

«О н и открыли секретъ изъ н и з к о й пьесы создавать нѣчто цѣльное».

Просто, казалось-бы, но не легко!

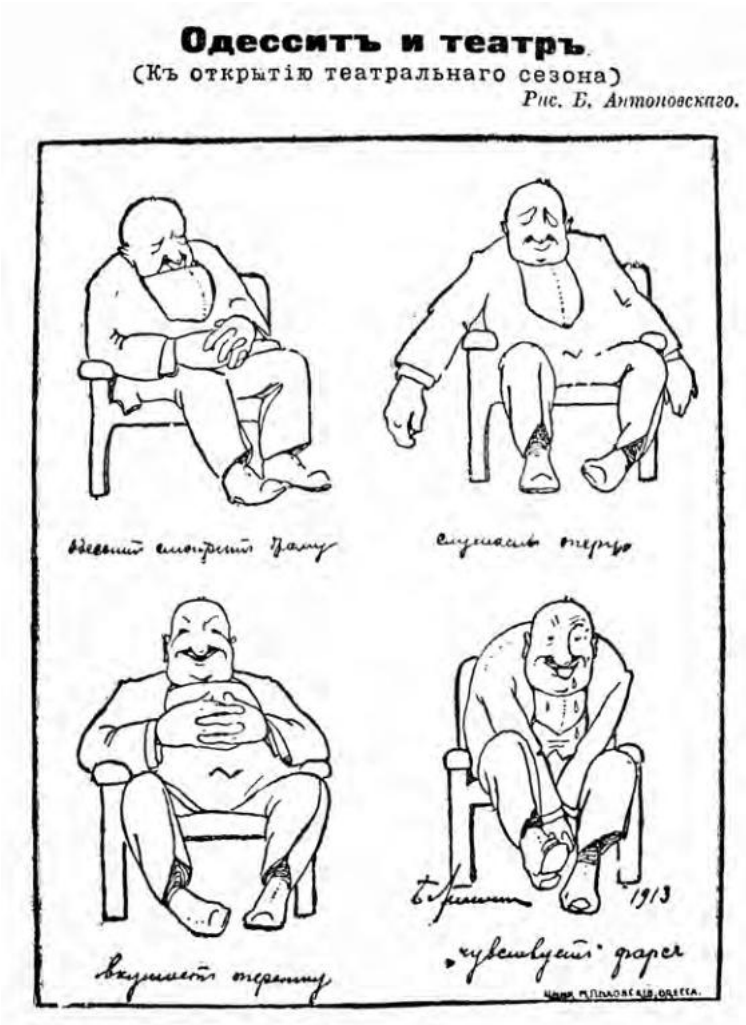
11.

О женщинѣ и теоріи, или женщина и театральная революція:

«У женщины своя область, свое царство. Трепетный складъ ея души позволяетъ ей отгадывать – что можетъ, въ данный моментъ, двигать впередъ.

Не женщины создали христіанство: но онѣ стали ходить за тѣмъ, кто принесъ съ собою «вѣсть».

Прекрасно! Но тѣмъ трагичнѣй доля актрисы – новаторши!..



12.

«Только мужчина можетъ такъ жить отвлеченными выводами и такъ проникаться тѣмъ, что ему кажется, въ данный моментъ, откровеніемъ, раскрытіемъ истины.

Женщинѣ это – въ такой степени – не дано»!

13.

Интересное (хотя и не новое) о суевѣріи кулисъ:

«Кто вкусилъ яда подмостокъ, вряд-ли когда-нибудь уйдетъ отъ суевѣрныхъ примѣтъ».

14.

Идеалъ:

«Надо у н и ч т о ж и т ь с я, какъ личность, надо безусловно забыть, что ты живешь на свѣтѣ, что ты играешь. Но этого мало: не только забыть, что ты играешь, но и не чувствовать самое себя».

И, как всякій идеалъ, недостижимъ...

15.

Изъ гнилой книжки М. Сукеникова «Петербургская гниль»:

«Невѣжество русскаго актера тѣсно граничитъ съ большой дозой нахальства. Надо тутъ-же отмѣтить, что рѣчь идетъ не о «профессіональномъ» нахальствѣ, когда актеръ кичится передъ товарищами своими успѣхами и заботится о томъ, чтобы лживая его похвальба дошла до ушей того, отъ кого онъ ожидаетъ контракта и куска хлѣба на сезонъ».

Старая пѣсенка на мотивъ: «было, да прошло»...

М. Сукенникову нужно было-бы раньше родиться: запоздалъ!

16.

Оттуда-же и на тотъ-же мотивъ:

«Актеры показываются на скачкахъ, проигрываютъ на бѣгахъ, ведутъ образъ жизни, какой ведутъ кокотки или содержанки, одѣваются вычурно, выражаютъ громко желаніе летать съ авіаторомъ, просятъ его, что-бы онъ съ аэроплана бросалъ ихъ портреты, какъ это было сдѣлано для одной исполнительницы цыганскихъ романсовъ, словомъ, всячески заставляютъ говорить о себѣ, какъ говорятъ о модной кокоткѣ, лишь-бы имя ихъ пестрѣло въ печати».

Охъ, не одни актеры! Охъ, и литераторы, и авіаторы, и художники, и борцы – и даже шуллера.

Вѣкъ-съ такой!..

17.

Изъ шутливо-фельетонныхъ проектовъ: «театръ антрактовъ». Мотивъ? Очень логичный:

«Нѣтъ такой дамы, которая, стоя передъ зеркаломъ и натягивая перчатки, не думала-бы, что она – самое главное въ томъ спектаклѣ, на который собирается ѣхать. И она права, потому что нѣтъ такого мужчины, который, входя въ зрительный залъ, не искалъ-бы глазами «эспри» Зинаиды Николаевны или декольте Екатерины Васильевны... А пьеса? Ну, пьесу-то они могли прочесть дома, да и къ чему она имъ? Что они за критики такіе? А вотъ платье отъ Пуаре или Пакэна, его дома не покажешь, оно публики требуетъ, зрителей, зрительнаго зала... Антрактъ вотъ – главное. Пьеса – это для актеровъ, для рецензентовъ, а для публики – антрактъ»!

Пожалуй...

Иван Липтуга

Если бы знал Рамзес...

Если вы регулярно читаете свежие выпуски Одесского альманаха, и в частности, следите за рубрикой «Путешествие», то вы наверняка должны были обратить внимание на то, что в каждом новом выпуске я описываю свои впечатления от посещения разных стран, в которых оказываюсь благодаря своим деловым и служебным командировкам. Ввиду того, что езжу я чрезвычайно много, гораздо больше, чем нахожусь в любимой и родной Одессе, мне всегда есть чем поделиться. И в этом выпуске я непременно хотел бы рассказать вам о своих впечатлениях от поездки в столицу одной из древнейших цивилизаций на нашей планете – Каир.

Мое ежегодное участие во всемирных конгрессах экспедиторов, которые проходят в разных странах и на разных континентах, с недавнего времени стало воплощением иронии судьбы. Несмотря на то, что место проведения ежегодных конгрессов определяется за три года до их начала, с завидным постоянством именно в год конгресса в этих странах начинают происходить форс-мажорные события.

Началось все с конгресса в Мексике в 2001 году, когда за неделю до открытия случилась трагедия 11 сентября в США, и в связи с этим резко ужесточились все правила безопасности и контроля во всех аэропортах. Вслед за Мексикой конгрессы проходили на Бали, где накануне прогремели террористические взрывы и прокатилось несколько цунами. Затем был Таиланд со своей революцией. Нынешний год не стал исключением, и в мирном, казалось бы, туристическом Египте прошли массовые беспорядки со свержением президента Мубарака и его правящей партии. В ожидании выборов нового президента все замерло до сентября. Но как

раз за буквально пару дней до моего отлета на центральной площади Каира начались вооруженные столкновения коптов и мусульман, которые вдруг решили выяснить между собой отношения на религиозной почве.

Просматривая репортажи с центральной площади Каира о многочисленных жертвах и раненых, я уже начал было колебаться, стоит ли мне туда вообще лететь. Взволнованный судьбой нашего альманаха Феликс Кохрихт, также увидев новости, набрал меня по телефону и убедительно попросил воздержаться от поездки. Он был не одинок, все близкие стали настаивать на том, чтобы я сдал билеты и не летел в Каир. Но я подумал, что нужно обладать неимоверной удачей, чтобы со мной что-то произошло именно в такие судьбоносные для Египта дни, и полетел.

Так как прямых рейсов из Одессы в Каир нет, я решил лететь «Турецкими авиалиниями». В Стамбуле прекрасный аэропорт с огромным залом для бизнес-пассажиров, в котором предлагают в неограниченном количестве еду, алкогольные и безалкогольные напитки, телевидение, интернет, бильярд и даже книги в библиотеке. Попасть туда могут только транзитные часто летающие пассажиры или пассажиры бизнес-класса. Но наши люди упорно не хотят принимать эти «идиотские буржуйские» прави-



ла и с неприкрытой настойчивостью пытаются всучить сотрудникам зала свернутую купюру, сопровождая эту сцену унизительными объяснениями на русском языке. После безуспешных уговоров они гордо кладут деньги обратно в карман, разворачиваются и, продолжая громко вслух комментировать свое отношение к туркам в принципе, уходят.

Одессу от Каира отделяет по прямой линии два моря, Турция и три часа лету. Уже на подлете к Каиру было видно, что город и его окрестности широко разбросаны по бескрайней пустыне. Мы пролетели мимо Порт-Саида, Александрии, сделали несколько кругов над ночным Каиром, который с высоты, будучи хорошо освещенным, показался мне стройным и организованным. Светлые ровные улицы, красиво подсвеченные башни минаретов, вывески магазинов – все, как во всех нормальных цивилизованных странах.

Чтобы не рисковать, организаторы конгресса заказали под все мероприятия пятизвездочный отель JW Marriott, находящийся на закрытой охраняемой территории под названием Мираж-Сити в сорока километрах от центра Каира. Мы попали в оазис гости-



ничной роскоши, о котором я рассказывать вам не хочу, потому что пятизвездочные сетевые отели лишают туристов самого главного – ощущения местного колорита. Находясь в таких отелях в разных городах и странах, я не раз себя ловил на мысли, что забывал, в каком городе находился. Одинаковые мягкие постели, телевизионные каналы, завтраки, лифты, мини-бары, мыло и гель для душа, унитазы – и те одинаковые. Зачастую, будучи несколько дней на конференции, которая, как правило, проходит в той же гостинице, в которой проживаешь, ты не видишь и не ощущаешь города, в который приехал. Поэтому я обязательно оставляю себе как минимум время на одну обзорную экскурсию или хотя бы выход в город. В этот раз был тот же случай, и все истинные впечатления от Каира я смог получить только в последний, восьмой из дней, проведенных там.

Древняя египетская цивилизация для многих остается загадкой. Религия, культура, искусство, письменность, дошедшие до наших дней, оставляют много вопросов и дают много неоднозначных ответов. Глядя на сегодняшний Египет, его экономическое состояние, а главное – образ жизни и образ мышления местного населения, трудно себе представить, что еще за десять тысяч лет до нашей эры предки этих людей имели четкое государственное устройство, разделявшее их страну на два царства и сорок две провинции, и ими же было совершено столько важных открытий, перевернувших ход развития человеческой цивилизации. Тексты Пирамид – единственные документальные источники – донесли до нас сведения о той эпохе, которую сами древние египтяне называли «Временами бога». Возможно, в этом названии есть доля истины, и действительно, кроме двух этнических групп, населявших Верхний и Нижний Египет, существовали представители и третьей, высшей расы, – выходцы из легендарной Атлантиды.

Возможно, я не писал бы этих строк в нашем альманахе, если бы пять тысяч лет назад египтяне не изобрели папирус. Папирус являлся символом Нижнего (Северного) Египта, тогда как в Верхнем символом был Лотос.

Расцвет культуры и пышные культовые обряды обусловили необходимость передачи большого объема информации, в результате чего возникла письменность. Вначале это была приви-

легия исключительно жрецов, но с появлением папируса письменность стала доступна более широким слоям населения. Иероглифическое письмо насчитывает около 800 иероглифов и использовалось на протяжении трех с половиной тысяч лет, в основном, для написания монументальных или священных текстов. Наряду с иероглифическим, не вытесняя его, для административных документов и переписки использовали более простое письмо – иератическое. Иероглифы вышли из обихода в конце четвертого века нашей эры с принятием христианства и закрытием всех языческих храмов. Расшифровке египетских иероглифов мы обязаны французскому ученому Франсуа Шампольону – основателю египтологии, который в 1822 году расшифровал иероглифический текст на Розетском камне, найденном французскими солдатами при раскопках в небольшом городке недалеко от Александрии. На камне был высечен текст в трех языковых версиях – иероглифами, египетским демотическим письмом и на древнегреческом.

Сегодня, как, возможно, и пять тысяч лет назад, древнее ремесло по изготовлению папируса приносит египтянам немалые доходы. Район Каира возле знаменитого ансамбля пирамид в Гизе сплошь утыкан так называемыми музеями папируса. На самом деле они являются не чем иным как торговыми салонами, в которых туристам преподносят сильно сжатую историю развития египетской письменности, показывают, что собой представляет растение папирус, и примитивно демонстрируют процесс изготовления папирусных свитков. После чего туристу настойчиво предлагают приобрести готовые работы на папирусе с изображением известных египетских символов или фрагментов настенной живописи. Цены изначально завышены в несколько раз, для того чтобы можно было сделать существенную скидку. Выйти из такого музея, не совершив покупку, крайне сложно, так как опытные торговцы, зная языки и умело торгуясь, делают все возможное, чтобы вы не ушли с пустыми руками. Для того чтобы купленный папирус приобрел особое личное значение, продавец представляет туристам местного Пикассо, который за умеренную в сравнении с самим папирусом стоимость наносит на него имена ваших родственников иероглифами в картушах. Выглядит все это





















PLASKE
ПЛАСКЕ
Energy in motion

интересно и оригинально, поэтому наивные люди вроде меня начинают в страстном порыве скупать папирусы и наносить на них имена всех близких…

Когда вы проезжаете по улицам Каира, рассматривая дома и все вокруг, создается впечатление, что в последний раз мусор убирали еще при Рамзесе Втором. Настолько грязных улиц, домов и дворов я не видел нигде в мире. Горы мусора свалены прямо на тротуарах, под мостами, во дворах и вдоль каналов Нила, которые проходят через разные районы города. Простые люди, чей внешний вид в основной своей массе напоминает состояние улиц, похоже, абсолютно спокойно относятся к такому положению дел. И вообще, когда я общался с представителями разных слоев населения Египта, у меня сложилось впечатление, что нет ничего, что могло бы поколебать их равнодушие к окружающему хаосу. Хаос проявляется во всем. В беспорядочном броуновском движении машин на дорогах. В незаконченной застройке домов, которые повсеместно возвышаются вдоль улиц железобетонными сваями с торчащими прутьями арматуры. В уличных свалках и в организации труда. Даже в пятизвездочном отеле, где проходил наш конгресс, персонал как будто не замечал постоянных сбоев в работе звуковой и демонстрационной аппаратуры. Всякий раз, когда им делали замечания и просили устранить пробле-



му, они с умиротворенной улыбкой говорили: «Что вы так беспокоитесь? Все нормально…».

Музей египетской культуры, который чуть не был запросто спален во время последних революционных событий, находится в самом центре Каира. В нем собраны уникальные по своему значению экспонаты, найденные французскими и английскими археологами во время раскопок в XIX и XX веках. Похоже, что если бы французский египтолог и коллекционер Огюст Мариетт не настоял на создании национального музея, то даже эти артефакты были бы растащены по всему миру. Конечно же, неизгладимое впечатление производят мумии фараонов и членов их семей, которые, несмотря на свой возраст, прекрасно сохранились. Странное чувство испытываешь, рассматривая вблизи тело человека, который жил пять тысяч лет до тебя. Нужно отдать должное тому, что в залах мумий, в отличие от московского мавзолея Ленина, нет ограничений по времени просмотра всех экспонатов и можно хоть весь день провести там, внимательно изучая такие детали, как маникюр или боевые ранения фараонов.

Египетские Пирамиды, которые известны каждому человеку с детства, вызывают трепет и восхищение своим масштабом и загадочностью. Сложно представить, как огромные глыбы камней древние египтяне катили на бревнах за восемьдесят миль от Гизы, и еще сложней представить, как они их поднимали наверх. Гигантские сооружения снаружи, но, к моему удивлению, внутри они совершенно не используются в познавательных туристических целях. Заплатив по 30 долларов за вход внутрь пирамиды, мы не увидели там ровным счетом ничего, кроме пустой аккуратно выкрашенной комнаты с кондиционером. Вокруг пирамид толпы попрошаек и торговцев дешевыми сувенирами буквально путаются под ногами, навязчиво предлагая свои услуги. Спастись от них можно было, лишь вскарабкавшись на пирамиду, что я и сделал, и не пожалел об этом. Отсюда, с большой высоты, открывался вид на огромный древний мегаполис, и словно с самолета, все его недостатки не были видны…

Каир

Фото автора

Феликс Кохрихт

На родине Тиля



Памятник Рубенсу в Антверпене

Среди книг моего детства одной из самых любимых был роман «Легенда о Тиле Уленшпигеле», вышедший из-под пера Шарля де Костера в 1867 году. В ней писатель пересказал основные истории жизни героя немецких и фламандских преданий, первые сведения о котором относятся к XIV веку. Тиль обладал всеми качествами удальца-молодца: смышленостью, хитростью, веселым нравом, храбростью, сноровкой, умением выпить-закусить, легкостью общения с прекрасным полом… Но в памяти народной он остался не просто плутоватым любителем приключений, а борцом с иностранными захватчикам и клерикалами. Писатель перенес действие своей книги во Фландрию XVII века, оккупированную испанцами и изнемогавшую под игом Инквизиции.

Тиль, его невеста Неле, друг, толстяк и гурман Ламме, совершали подвиги, ввязывались в опасные и веселые приключения, за которыми я следил, жадно перелистывая страницы пухлого томика…

С тех пор я мечтал увидеть родину Тиля, побывать в старинных городах, где происходили удивительные события, где фла-

мандцы сражались за свободу, пили отменное пиво, лакомились колбасами и паштетами, плясали на карнавалах.

Нынче Фландрия поделена на две части. Путешествуя по Рейну, я побывал и в нидерландской, и в бельгийской. Именно в последней и разворачивались события романа-легенды.

Брюгге по праву считается столицей Средневековья. Его дворцы, соборы, дома, в которых размещались гильдии ремесленных цехов, словно сошли с полотен Яна ван Эйка. Город на Шельде называют Северной Венецией, в чем мы убедились, сменив палубу плавучего многоэтажного отеля на лодку, скользящую по тихой воде каналов, по которым плавают лебеди…

Соседний Гент снискал славу столицы карнавалов. Неподалеку – в городке Дамме, – по преданию, родился весельчак Тиль, и его потомки не только не утратили склонности к танцам, вождению хороводов, шумным застольям, маскарадам, но и наполнили их реалиями XXI века: лазерными феериями, космическими фейерверками, нанотехнологическими шоу. Шпили древних соборов выглядывают из-за ярмарочных декораций, а толпы туристов заполняют кабачки, тщетно силясь отведать хотя бы десятка два из четырехсот сортов бельгийского пива… Отдал дань этому занятию и я, а наши спутницы предпочли легендарные гентские вафли с клубникой – их подают на Рыночной площади. Здесь начинаются маршруты колясок, на облучках которых грациозно (вполоборота к пассажирам) восседают девушки-гидессы.

Гент – речной город, Брюгге стоит на каналах, а вот Антверпен – крупнейший морской порт Европы с огромным товарооборотом. Но это и традиционная столица алмазов – здесь веками живут мастера огранки, искуснейшие ювелиры. Еще одна драгоценность города – полотна великого Питера Рубенса, соборы, построенные по его чертежам, в одном из которых художник похоронен. Памятник великому фламандцу – одна из мощных силовых точек древнего города.

…В переводе с германских языков Уленшпигель (Ойленшпигель) означает Совиное зеркало. Заглянуть в него хоть одним глазком – и пусть мельком – нам посчастливилось минувшим летом.

Фото автора и Татьяны Вербицкой


GRATIS IJSJE
BIJ BOOTTRIP













PLASKE
ПЛАСКЕ
Energy in motion

Олег Бухарцев

Зима в Одессе

«Есть город, который я вижу…»

В Одессе зима, и в воздухе пикантно пахнет недостроенным социализмом.

В Одессе зима, и так хочется себе изменить, но не с кем.

В Одессе зима, и мозг плавится от мыслей и стынет от их понимания, и в связи с этим невозможно удержать в нем постоянную температуру.

В Одессе зима, и так хочется согреть руки, обнимая женщину, которая вряд ли позволит это сделать холодными руками.

В Одессе зима, и весна в воспоминаниях так назойлива.

В Одессе зима… Это не та классическая зима, которая бывает в отмороженной сибирской глубинке или на футбольных просторах Аляски, где снег и морозы зимой воспринимаются как должное.

В Одессе зима, а для этого достаточно, как считается здесь, лопаты снега и нескольких градусов мороза. Хотя чаще вместо лопаты снега природа использует ведро воды. И этого тоже достаточно.

Такой зимы нет нигде. Это чисто «одесская» зима. Это нужно чувствовать.

В Одессе зима, и уже распаренные дворники преимущественно женского пола, окутанные паром, со свистом, вылетающим из всех дыр стареньких телогреек, монотонно поднимают и опускают свои пудовые ломы – эти незатейливые орудия производства, давно забытые цивилизованным миром, – и вот уже на месте сколотого льда рваными ранами ученических клякс обнажаются

островки тротуарной плитки, еще более скользкой, чем сам лед. И недовольно падающие пешеходы требуют у дворников посыпать плитку песком или вернуть лед, как говорят в Одессе, «взад». При этом непробиваемые дворники дружно огрызаются.

В Одессе зима, и розовый, как попка ребенка, железнодорожный вокзал, беременный набившимися в него пока еще потенциальными пассажирами и уже не потенциальными бомжами, ждет очередной опаздывающий замурзанный поезд. А поезд, застоявший где-то в промежности между Котовском и Раздельной, никак не может доехать до Одессы, не вписавшись в графики других поездов, которые, в свою очередь, не вписываются в графики следующих, что приводит к своеобразной цепной реакции опозданий, от чего болят головы у встречающих. И это, в свою очередь, передается (иногда в не очень церемонных выражениях) работникам вокзала, что опять же приводит к своеобразной цепной реакции.

В Одессе зима, и на Привокзальной площади – свои жизненные аттракционы.

Бальзаковского возраста дама уже пятнадцать минут не может соединить разъехавшиеся на льду ноги, что приводит в неописуемый восторг праздно злорадствующих мужчин, бесполезно ждущих на остановке ставший почти виртуальным троллейбус.

Проходящая мимо экстравагантная дама в туфлях на острых кинжальных шпильках каждым своим шагом колет лед, помогая дворникам, а также доблестным коммунальным службам города. «Шпилька», вильнув гуттаперчевым бедром, закованным в песцовую шубу, исчезает за углом. Только слышно: цок, цок, цок… Шлеп! Видимо, она решила разнообразить свою прогулку не только колкой льда, но и его утрамбовкой. А как довольны мужики!.. Смекалистые, почти без вредных привычек алкаши, выпивающие на скамейке, живо используют сколотый лед при розливе водочно-пивных коктейлей.

Рядом с ними прикольно медленно оседающий наркоман непредсказуемо беспорядочными фрикциями пытается вернуть на место свой отяжелевший зад, что ему, кстати, периодически удается.

А затесавшийся между алкашами и наркоманом глупый голубь до изнеможения, до сотрясения отсутствующего в голове

мозга долбит клювом лед с надеждой достать лежащую и увиденную под ним крошку. Возможно, что дворники с таким же остервенением кололи бы лед, если бы знали, под ним можно найти что-нибудь интересное для себя.

В Одессе зима, и троллейбусы устроили стоячую забастовку, почему-то отказываясь ехать без тока. Они явно в знак протеста постоянно пытаются раздвинуть колеса на обработанном до зеркального блеска льду и, слегка присев в изысканном реверансе, ударить об игриво проглядывающий местами асфальт своими не достающими до земли и кривыми, как дужки очков, штангами. В это время в набитых людьми троллейбусных чревах рождается догматическая мысль, что здесь единственное место, где близость мужчин и женщин их разъединяет.

Кондуктор, протискивающийся, как пробка по бутылочному горлышку, созданному напряженными телами пассажиров, издает сипящий, постоянно меняющий тон звук и иногда праздничнo «шпокает», когда выскакивает на случайно освободившееся от судорожно упирающихся тел место.

Из достоверных источников доподлинно известно, что будущие кондукторы предварительно сдают экзамены на специально изготовленном местными умельцами тренажере, который представляет собой подвесной постоянно раскачивающийся мост. Экзаменуемый должен пройти по мосту за сменное время с тяжелой, набитой денежной мелочью сумкой точное количество раз, постоянно любознательно повторяя фразу: «А вы платили за проезд?». Успешно сдавшим экзамен считается тот, кто смог за время сдачи экзамена пройти нормативное расстояние, упал не более пяти раз и, главное, – не забыл слова! Местами достоверные журналисты сообщают, что по их непроверенным ими же данным, место кондуктора общественного транспорта стало гораздо сложнее получить, даже чем место в парламенте. И об этом они узнали из многочисленных жалоб парламентариев, которые ранее не смогли сдать экзамены на место кондуктора, – это оказалось сложнее, чем получить место парламентария.

В Одессе зима, и как можно не сказать о зимних одесских пляжах?!

Ланжерон встречает выпученными и слегка раскосыми от мороза глазами в виде двух больших белых шаров и удивленно криво улыбается дрожащим прибоем. Море упорно пытается замерзнуть, и неуклюжие чайки соскальзывают с пирса в него окоченевшими тушками.

Группа жизнерадостных «моржей», тряся «окорочками», намеревается залезть в воду. Мужчины отличаются от женщин только отсутствием верхней части купального костюма. Телесные формы не утомляют разнообразием, и кажется, что их называют «моржами» не за зимние купания, а за наличие значительной жировой прослойки, которая им не только не мешает, а очень даже нравится. О мужчинах лучше не говорить. Но, если посмотреть на женщин, то однозначно художники эпохи Ренессанса очень бы пожалели, что не дожили до наших дней; и нет на свете недостатка, который в определенной ситуации не смог бы стать достоинством, и наоборот.

А со старенького, не убранного с лета одинокого деревянного топчана на них без всякого интереса смотрит коренной одессит дядя Миша. Эту картину он наблюдает каждый день после того, как сказал жене, что записался в «моржовый» клуб. Дядя Миша, подняв воротник и нахлобучив шапку по самые брови, от размеров и густоты которых ностальгически веет временами застоя, достает из старой потрепанной матерчатой торбочки, которая, видимо, помнит еще 2-й съезд Коминтерна, непочатую бутылку водки и с мастерством иллюзиониста двумя пальцами шутя открывает ее. Дэвид Копперфилд, увидев этот трюк, от зависти залился бы горючими слезами. Затем он наливает водку в стакан, который достает из той же торбочки, и медленно пьет. При этом кадык его ходит туда-сюда, как поршень насоса, закачивающего жидкость в иссохший резервуар. Закончив первую часть священного ритуала, он достает все из той же бездонной торбочки бутерброд, завернутый в пожелтевший номер газеты «Знамя коммунизма» за 1968-й год и медленно кусает его за удобное место. При этом бутерброд своими размерами, формой и содержанием напоминает старый и потрескавшийся башмак Гулливера, уроненный в бочку с тюлькой. Закончив с бутербродом, он наливает второй стакан и совершает повторный обряд принятия живи-

тельной влаги. На этот раз движения его уже не так тверды и решительны. Затем он медленно раздевается до умопомрачительно великолепных семейных трусов в «жовто-блакитных» орхидеях и смело направляется к морю. Он останавливается у воды и ждет, чтобы не он попробовал воду, а вода сама попробовала его. И она его пробует. И это дяде Мише не нравится, и, похоже, что это взаимно. Охлажденный пыл разворачивает его тело на 180 градусов и толкает мягким пинком в сторону топчана. Дядя Миша, уже не применяя надоевший стакан, приняв позу пионера-горниста, из горлышка медленно допивает остаток водки, быстро одевается и, слегка покачиваясь, как старый «морской волк», не спеша уходит, при этом искренне не завидуя «моржам», и они ему так же искренне отвечают взаимностью. Ланжерон рыбьими глазами белых шаров смотрит ему вслед с надеждой на завтрашнюю встречу. И мужское достоинство дяди Миши, уничтоженное безжалостным временем, болезненно страдает.

В Одессе зима, и где-то в заснеженном зоопарке, как всегда находящемся у вечного Привоза, дети с растопыренными одеждами руками, похожие на пингвинов, и пингвины, растопыренные от природы по жизни, похожие на детей, сосредоточенно смотрят друг на друга не мигающими от удивления глазами, видимо, странно угадывая какие-то забытые родственные связи.

И на Приморском бульваре тоже, как ни странно, зима.

Остекленевшие деревья, задумчиво глядя куда-то внутрь себя, скрипя, качаются на ветру, создавая звук, одновременно напоминающий скрип кавалеристских штанов и визг неутомимой студенческой кровати.

Заиндевевшая пучеглазая ворона с явно выраженным одесским клювом, сидя на плече памятника великому Пушкину, зябко жмется к незабвенному поэту, прячась под его металлические кудри и пытаясь согреться его дыханием, хотя это вряд ли доставляет большое удовольствие нестареющему гению.

Два пожилых одессита, обсуждая новости политики, отвечают друг другу вопросом на вопрос, вследствие чего никак не могут получить ответ ни на один из них, кстати, как и все остальные граждане, проходящие мимо и периодически с интересом включающиеся в их дискуссию.

И никто не хвастается, что у него мама – юрист, а папа – еврей. Потому что прекрасно знают, что хвастаться можно тогда, когда это хотя бы наоборот.

И влюбленные целуются, и от этого пахнет весной. И поцелуи – одинаковые, как ксерокопии, – так настырны и неумелы.

И горячо любимый Дюк со снежной папахой на голове и неотъемлемым свитком в руке с многоречивого и легендарного люка до умиления похож на писающего батьку Махно.

И мусорные контейнеры, утомленные бомжами, зевая открытыми крышками, периодически ежатся, одновременно стесняясь своей не по-зимнему радостно-яркой окраски.

В Одессе зима, и Дерибасовская тоже в ней. И вы идете по Дерибасовской. И она вам кажется короче, чем она есть на самом деле. И это означает только то, что вам хочется, чтобы ваше путешествие по ней продолжалось.

И вы идете от памятника де Рибасу, не по погоде одетому и одиноко мерзнущему в своих бронзовых штанишках. И только бесформенная мороженщица в шапке, очень похожей на буденовку рыцарей революции начала прошлого века, и с остекленевшефиолетовыми губами, похожими на губы цыганки, продающей разноцветные воздушные шарики на почти забытой первомайской демонстрации, визгливо-монотонно убедительно зазывает попробовать свой товар, выставляя его напоказ этикеточным лицом.

А между входом в банк и водосточной трубой с бумажными флагами объявлений сидит мужчина неопределенного возраста с гармошкой, похожей на умерший сапог, и со скрюченными от мороза пальцами. Любой, даже начинающий музыкант, без труда заметит, что последним аккордом, который он брал, был ля-минор.

А неподалеку виден знаменитый Дворец бракосочетания, из которого на дрожащих ногах под задорное улюлюканье гостей и не имеющих отношения к процессу зевак выходит худосочный жених с полносочной в негнущемся, как кольчуга средневекового рыцаря, платье невестой, которую он взял на руки по настоянию умиленных родителей для одной-единственной фотографии, и по его страдальческому лицу и выкатившимся от напряжения

глазам видно, что этот подвиг он совершает, вполне возможно, в последний раз в жизни. А холод цинично залазит невесте под платье, но она горящими глазами смотрит на супруга с уверенностью и надеждой, что жаркая почти первая брачная ночь не заставит ее мерзнуть.

А в это время буквально в двух шагах конькового хода, у здания, созданного великим Бернардацци, одесской филармонии, уже кучкуются неподражаемые одесские путаны, разбрасывая в стороны, как орлицы крылья, полы умопомрачительных шубок и пытаясь опять же своими умопомрачительными прелестями обольстить хлебосольных и красноикорных клиентов. Хотя можно и ошибиться. Вполне возможно, что они пришли послушать оркестр под управлением нежно любимого одесскими ценителями классической музыки великолепного Хобарта Эрла, но просто опоздали или не достали билет.

И добропорядочные отцы семейств, спешащие домой, глядя на них, сворачивают шеи до хруста в остеохондрозных позвоночниках и, уже не в силах восстановить первоначальное положение головы, так и идут затылками вперед, пугая встречных прохожих и тревожа дремлющие кратеры урн.

Но это все чуть дальше. А вы идете по Дерибасовской и попадаете в Горсад. Это епархия детей и художников, старушек и мольбертов.

Одесские дети, играющие в снежки! Что может быть прекрасней? Снег, разбросанный кое-где и как попало, похож на обрывки оренбургских пуховых платков не первой свежести. Чтобы слепить, мягко говоря, недоразвитый снежок, упрямым отпрыскам приходится в позе трудолюбивых селян, занимающихся прополкой огорода, обработать чуть ли не гектар близлежащих окрестностей. При этом последствия непопадания снежком-уродцем в цель, то есть глаз товарища по игре, могут быть самыми непредсказуемыми, но обязательно сопровождаются слезами зеленой по-весеннему досады, ведь обработать еще один гектар грязного снега не каждому по силам.

Мимо, фыркая и отплевываясь, как утомленные лошади, проносятся хилые старушки, волоча за собой алюминиевые санки с упакованными в них и перепеленатыми, как новорожденные,

внуками-переростками, одновременно лихо разрезая, как праздничный пирог, стертыми полозьями санок ни в чем не повинный в снежно-ледяных латках асфальт. И это они проделывают с незаурядными способностями вышедших на пенсию слаломистов, едва не задевая разбросанных по Горсаду художников, которые, чтобы согреться, рисуют лето. Это рождает надежду, и сразу хочется жить. И даже не очень удачные картины, изображающие летние сюжеты, вызывают расположение. И бабочки, порхающие на них, тоже дарят надежду.

А рядом нахохлившийся от необычного мороза воробей, похожий на грязного попугая какаду, плохо кушавшего в детстве и к тому же страдающего неправильным обменом веществ, лениво-возмущенно чирикает на проходящего мимо хамоватого ротвейлера, который едва не пометил свою территорию на его роскошный хохолок.

В Одессе зима, и цены на Привозе, и температура воздуха изменяются обратно пропорционально.

В Одессе зима, и дворник дядя Вова, убирающий по утрам возле студенческого общежития на Старопортофранковской и вечно путающий слова «реакция» и «эрекция», услышав где-то анекдот по теме, вообще отказывается работать, ссылаясь на то, что, дескать, все общежитие сбивает его с ритма.

В Одессе зима, и пусть говорят, что холод – это то же тепло, только на более низком температурном уровне, но оба полушария мозга, скукожившись, жмутся друг к дружке, как новорожденные щенки, боясь притронуться изнутри к холодной полировке черепа.

В Одессе зима, и ветер делает нас парусами затерявшихся в море лодок, а дождь, имеющий отношение к этому виду осадков только названием, так похож на насыщенный туман.

В Одессе зима, и согревают только водка, секс и надежда на светлое будущее, в котором будет и первое, и второе, но все же хотелось бы побольше второго. Хотя и первое тоже неплохо.

В Одессе зима, и сколотые льдины ложатся пластами, как коржи свадебного торта, и от этого женщинам еще больше хочется замуж, и тупые в отношении понимания этого мужчины опять не хотят раскрепостить свою фантазию.

В Одессе зима, и сверкающая жемчужина-Одесса стремится забраться обратно в свою перламутровую раковину, чтобы согреться.

Но солнце уже лижет ее прелестные коленки, и ледяные кучи, скрипя хрустальными внутренностями и подорванным здоровьем, легко проседают тающим пломбиром.

И дымчатые сосульки плачут от смеха крокодиловыми слезами, не в силах удержаться от созерцания происходящего.

И нет уже холода внутри, как нет его уже и снаружи.

И это не означает, что зима отступает и похотливо отдается теплу.

Нет! Ведь, по большому счету, все это и есть – настоящая одесская зима!



Владимир Трухнин, Ирина Полторак

«Городок» – пятый угол!

Городок с дресс-кодом

Облокотившись на стойку гардероба, Театральный гардеробщик, накинув на плечи дубленку, читает книжку, цокая языком и приговаривая: «Ты смотри…». В гардеробе пусто. Появляется его приятель – Ресторанный гардеробщик. Он налегке, в шарфе, – прибежал из соседнего ресторана.

Ресторанный: Привет коллегам! Я на полчасика.

Театральный: Ты что, с работы сбежал?

Ресторанный: Просто ресторан наш закрыли. Налоговая пришла и закрыла.

Театральный (*торжествующе*)**:** Ага! Таки закрыли! А я тебя предупреждал! Работа на злачном месте до добра не доведет. Теперь затаскают тебя по следователям!

Ресторанный: Ты чё? Я говорю, налоговая пришла, и нас закрыли… Закрытый вечер у них! Гуляют так, что самые крутые бизнесмены позавидуют. У меня в гардеробе просто норковое безумие какое-то…

Театральный: Да?.. Ну, ничего, ничего… Скоро ко всем прокуратура придет. И к ним, и к вам…

Ресторанный: Прокуратура к нам вчера приходила… Тоже неслабо погуляла… А что ты читаешь?

Театральный: Очень полезная книга. Называется «Правила поведения и дресс-код». Это по нашей специальности. Про одежду.

Ресторанный: Да что я, про дресс-код не знаю? В нашем ресторане прямо на входе написано: «Извините, у нас только вечер-

ний стиль». А про одежду я и так все знаю. Вот, например, судя по одежде, эта пьеса у вас провалилась.

Театральный: С чего ты взял?

Ресторанный: Ха! (*Показывает на вешалку.*) Были бы у вас зрители – тут бы висели пальто, шубы, куртки… А тут пусто. Оценил силу мозга?

Театральный: Ха! Зрителей как раз полон зал. А гардероб пустой, потому что дресс-код у нас тоже при входе написан. (*Показывает на табличку «Извините, у нас не топят».*) А книжка как раз очень полезная. Вот давай тебя проверим. Если ты пришел в театр, а в твоем ряду уже есть люди, то как правильно проходить по ряду мимо людей?

Ресторанный: Ну-у…

Театральный: А вот тут все случаи описаны. Если люди стоят, если люди сидят…

Ресторанный: А если они лежат?

Театральный: Как лежат?! Это как такое может быть?

Ресторанный: У нас в ресторане такое бывает. Когда последние гости еще только приходят, а первые уже лежат…

Театральный: У нас со зрителями такого не бывает. Я настоящих, понимающих зрителей, знаешь, как определяю?

Ресторанный: Конечно, знаю. Они после спектакля деньги назад не требуют. Ха-ха!

Театральный: Нет, они всегда после спектакля приходят в гардероб последними, потому что долго аплодируют, цветы актерам преподносят…

Ресторанный: Тю, зрителя вычислить – это элементарно. А вот я сразу вычисляю налоговиков, пожарных инспекторов, санэпидемстанцию, короче, всех проверяющих – по дресс-коду.

Театральный: Это как?

Ресторанный: А они всегда в костюме, в галстуке и в джипе… Брось ты эту ерунду, лучше бы что-то интересное почитал – детективчик, например.

Театральный: Нет, я решил заняться самообразованием. Повысить свой профессиональный уровень. Я ведь из династии потомственных гардеробщиков. Когда-то еще мой прадед попал в гардероб…

Ресторанный: Да что ты говоришь?

Театральный: Да-а… Один раз попал в гардероб и уже не смог без него жить. Потом и дед был гардеробщиком, и отец, и вот я… Сорок лет работаю в гардеробе и даже не представляю свою жизнь без гардероба. Что-то в нем, в этой атмосфере есть такое! (*Тянет воздух носом*.) Что-то есть…

Ресторанный: Ты подумай, как жестко вся семейка подсела на нафталин… А насчет дресс-кода офисного работника в этой книге есть? У меня подружка в офисе работает – хотелось бы блеснуть при случае.

Театральный: О! Это и мне интересно, у меня дочка тоже в офисе работает… Секундочку… (*Листает*.) Вот, в самом низу… Ага! Что я ей говорил! «Юбка офисной работницы должна прикрывать колени». И точка!

Ресторанный: Дай я посмотрю. (*Берет книгу, читает*.) Нет, тут не точка. «Юбка офисной работницы должна прикрывать колени…» (*Перелистывает страницу, продолжает*.) «…офисного работника, у которого она сидит на коленях». Вот теперь точка.

Театральный: Что?! Там так написано?! Где?! (*Забирает книгу, рыщет там*.)

Ресторанный: Да пошутил я, пошутил… Ха-ха!

Театральный: Ну и шуточки у тебя… А вот смотри, тут целый раздел «Дресс-код для деловых людей». Раз ты такой деловой, то должен его изучить.

Ресторанный: Оставь эту ерунду. Сейчас в бизнесе все решают деньги и связи.

Театральный: Уже не всегда. Готов поспорить. Все меняется. Все-таки молодежь у нас растет не такая испорченная, как наше поколение. И она, так сказать, уже с молоком матери…

Ресторанный (*перебивает*)**:** Ха! Молодежь? Вот смотри, в сегодняшней газете. (*Достает газету, читает*.) «Вчера уникальный случай произошел в роддоме № 2. У секретарши главы района родился мальчик».

Театральный: Не понял. Ну, родился мальчик. И что это доказывает?

Ресторанный (*читает дальше*)**:** «И вместо обычного для новорожденного крика мальчик вдруг тихо, но отчетливо произнес: «Здравствуйте! Я от Семен Семеныча…».

Театральный: Ну, и что это доказывает? Может, он действительно от Семена Семеновича… А вот тут, смотри, еще интересно. Они пишут, что у каждой профессии есть не только свой профессиональный дресс-код, но даже и профессиональная гамма запахов. Во как!

Ресторанный: Это точно. Например, медики – они всегда в белых халатах. Заходишь к врачу в кабинет, там пахнет йодом, лекарствами… Короче, пахнет больницей и лечением.

Театральный: Да. Правда, в последнее время у них бывают всякие нововведения. И халаты могут быть не белые. И пахнет не лекарствами. А цветами и даже, бывает, едой.

Ресторанный: Ага. Короче, сразу пахнет поминками.

Театральный: Ужас…

Ресторанный: А про баб в твоей книге что-то есть? Ну, как надо себя вести с дамами?

Театральный: Есть. Вот тут, например. Я всегда говорил, что надо именно так. А многие мужики у нас тут делают неправильно.

Ресторанный: Что неправильно?

Театральный: Вот! (*Читает*.) «По этикету мужчина сначала помогает раздеться даме. А сам раздевается после».

Ресторанный: Ну, естественно, после. Если его устроило то, что он увидел, когда раздел даму… А как там в правилах поведения сказано – если пришел гость, его не надо угостить? А? А то я бы не отказался.

Театральный: Ну, это смотря в какой стране. У нас, например, гостю предлагают чай или кофе, а американцы сразу наливают гостю выпить. А вот у эскимосов, говорят, есть правило – хозяин предлагает гостю свою жену.

Ресторанный: Хм… Я бы, конечно, пошел в гости к американцу. Да… А от него сразу к эскимосу!.. Кстати, а красивые актрисы у вас тут есть?

Театральный: Нет, у нас, в основном, талантливые. Правда, есть одна красивая. Она все главные роли и играет.

Ресторанный: Ее что, так любят режиссеры?

Театральный: Очень! Правда, по-разному.

Ресторанный: Что значит по-разному?

Театральный: Ну, один любит, чтоб она играла комедию. Другой любит, чтоб она играла трагедию. А главный вообще любит ее везде: в комедии, в трагедии… А один раз даже тут, у меня в гардеробе. Тьфу!

Ресторанный: Ну да, прямо в этом святом месте… Для тебя. (*Ежится от холода*.) Слушай… Но тут же у тебя от холода одубеть можно. А почему у вас отопление не работает?

Театральный (*озирается по сторонам*)**:** Только тихо… Это я его вырубаю. То тут, то там протечки устраиваю.

Ресторанный: Зачем это?!

Театральный (*озирается по сторонам, доверительно*)**:** У нас тут мафия!

Ресторанный: Какая еще мафия?!

Театральный: Тс-с!.. Местная. ОПГ «Музыкально-драматическая». Они требуют, чтобы я брал чаевые и 50% отдавал им. Где это видано, чтобы гардеробщик в театре вымогал чаевые?! Да плюс еще половину им отдай…

Ресторанный: Ха! Так ты придумал вырубать отопление, чтобы люди просто не раздевались?

Театральный: Ну да! И я этим гадам не сдамся! Нет!

Ресторанный: А может, проще было в милицию обратиться?

Театральный: Я обращался… (*Безнадежно машет рукой*.) Милиция требует 60%…

Ресторанный (*ежится*)**:** Ну, холодина… Тебе хорошо, ты вон в какой дубленке.

Театральный: Красивая, да? Наш директор дал.

Ресторанный: Ух ты. Заботливый какой.

Театральный: Очень заботливый. Ведь еще Станиславский сказал: «Театр начинается с вешалки».

Подходит солидный мужчина, Театральный выскакивает из-за стойки.

Театральный: Что, уходите уже, Герман Федорович? Всех благ! Счастливого пути!

Театральный снимает с себя дубленку и надевает на мужчину, тот уходит.

Театральный: Вот это и есть наш директор.

Ресторанный: А зачем же ты ему дубленку отдал? Замерзнешь без нее тут.

Театральный: Я ж тебе говорю – это его дубленка. А я ее обычно для него грею… Я очень заботливый. Знаешь, ведь театр не только начинается с вешалки, он и кончается ею.

Ресторанный: Точно… Вот у вас как раз похоже, что он уже кончается…



Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Киеве



Валентин Симоненко
Пятилетка «враздрай»
Экономические эссе
Киев, Знание, 2011

Валентин Константинович Симоненко состоялся как личность и как политик в Одессе. До сих пор многие считают, что он был лучшим мэром Одессы в послевоенный период. Последние 14 лет он был председателем Счетной палаты Украины, а поэтому он действительно знает досконально, что собой представляет власть, как она работает, чего добивается.

Новая книга В. Симоненко дает ответы на вопросы о причинах неэффективного управления экономикой, хронического невыполнения государственных бюджетов, едва ли не самого высокого в Европе уровня бедности населения.

Автор не только глубоко знает суть проблем, он еще и по-одесски остроумен. Поэтому многие заголовки его эссе могут быть крылатыми выражениями. К примеру: «БЮТжет вместо ГОСбюджета».

Свою книгу Валентин Симоненко начинает остро и полемично: «Одним из основополагающих критериев оценки тех или иных событий, по моему глубокому убеждению, является время. Оно самым лучшим образом позволяет оценить все, что происходит в обществе и государстве в целом. Игнорирование этого постулата неизбежно возвращает нас в прошлое, и мы теряем самое драгоценное – надежду на то, что «время лечит».

Добавил бы, прочитав книгу Валентина Симоненко, – мы теряем самое драгоценное – время, а раз так, остаемся в прошлом, когда весь мир устремлен в будущее.

Издано в Москве



Иван Пузанов
Талипот. Стихотворения
Серия «Малый Серебряный век»
Москва, Водолей, 2011

Думаю, многие выпускники Одесского университета, его преподаватели помнят профессора Ивана Ивановича Пузанова, одного из крупнейших зоогеографов советского времени. И. Пузанов прожил долгую жизнь, он родился в 1885 году в Курске, умер в Одессе в 1971 году. Последнюю четверть века он проработал в ОГУ, а до этого были Москва и Крым, сформировавшие его как ученого, мыслителя и как поэта.

Вот эта, последняя и очень важная для него составляющая его жизни, внутреннего мира, осталась практически малоизвестной и коллегам, и ученикам И.И. Пузанова. Правда, при его жизни в собрании сочинений Вик-

тора Гюго были опубликованы несколько его переводов. А в столе ученого хранились переводы чуть ли не всего поэтического наследия Леконта де Лиля, переводы Байрона и Лонгфелло, но, главное, его собственные стихи. Огромное влияние на Пузанова оказал Максимилиан Волошин, с которым он общался, дружил в Крыму. Волошин приохотил ученого заняться составлением венков сонетов, требующих изящества формы и глубины мысли.

Сорок лет стихи И.И. Пузанова хранились в его семье. И только в этом году литературовед, крупнейший знаток русской поэзии XX века Евгений Витковский нашел возможность познакомить читающую публику с избранным Ивана Пузанова.

Может быть, за московским сборником последуют книги, изданные в Крыму и в Одессе? И тем, что сделал Пузанов для Крыма, и тем, что сделал для Одессы, он, безусловно, это заслужил.

Издано в Одессе



В.Г. Денисов, Ю.А. Никитин
История одесских выставок
Одесса, Астропринт, 2011

Вслед за книгами о выставочной деятельности в Санкт-Петербурге, в Москве вышло это исследование, посвященное выставкам в Одессе. И это убеждает не только в том, что Одесса была третьим городом в Российской империи, но и в том, что во многих достижениях она опережала прославленные столицы.

Книга приурочена к 100-летию художественно-промышленной выставки, проходившей в Одессе в 1910-1911 годах. Круг тем, поднятых в ней, очень ши-

рок. Это и выставка табака, и выставка садоводства, это плавучая выставка РОПиТа и выставка виноделия… И конечно, салоны Издебского, впервые показавшие России мировой авангард… И все же книга пока представляется конспектом, беглым и неполным, «большой книги» – исследования о выставочной жизни Одессы за два века.



Вильям Буркхардт Баркер
Одесса и ее обитатели
Записки английского военнопленного в России
Одесса, Optimum, 2011

Свидетельств о жизни Одессы в XIX веке множество. Некоторые из них интересны только специалистам, некоторые широкому кругу читателей. Именно к последним принадлежит книга, впервые переведенная на русский язык Е.В. Заговенко по оригиналу, хранящемуся в Кембриджском университете.

Автор книги – офицер английского флота, принимавший участие в Крымской войне 1853-1856 гг. на паровом фрегате «Тигр». Если вся Крымская война для России была тяжелой и неудачной, то в Одессе произошло чудо, ее не стали бомбить, не попытались захватить, более того, англичане потеряли самый современный по тем временам корабль «Тигр» – 10 апреля 1854 года, о чем и напоминает пушка с «Тигра» на Приморском бульваре. А книга дает возможность узнать, как жили военнопленные моряки, как отнеслось одесское общество к английским офицерам.

Чрезвычайно интересная книга. Тем более что автор полемизирует с небылицами, печатавшимися в те дни в английской прессе. Он подробно описывает и военную операцию, во время которой и затонул «Тигр», и мирную жизнь Одессы, в которой им,

английским морякам, было разрешено участвовать. Думаю, теперь во многих книгах об Одессе появятся ссылки на записки Вильяма Баркера.



Лада Прокопович
Пояс Ипполиты
Одесса, Астропринт, 2011

Третью книгу Лада Прокопович публикует под рубрикой «Артефакт-авантюра». И нынешняя, как и предыдущая – «Золотой жук», – приключенческий роман. Прежде всего, обе книги предназначены юношеству. Нет у нас сейчас своего Жюля Верна, а в отрочестве так хочется познавать мир, но не по скучным учебникам, а по детективным, приключенческим историям…

Мне кажется, что книга Лады Прокопович могла бы стать естественным дополнением к школьной программе. Здесь и мифы Эллады, и краеведение – история знаменитого ювелира Израиля Рухомовского, тиара его работы была куплена Лувром как подлинная тиара скифского царя, и современная археология, и проникновение в мир драгоценных камней… Но все это спаяно веселым и ироничным сюжетом, напряженной интригой.

Герои Лады Прокопович заняты поиском артефактов. Но, по сути, она сама создала артефакт, который не затеряется на полках библиотек.

Феликс Кохрихт

Никто не забыт?



Олег Губарь
Энциклопедия забытых одесситов
Художник Виктор Павлов
Одесса, Optimum, 2011

Не скрою, хотелось бы поскорее снять вопросительный знак с крылатой фразы, вынесенной в заголовок этих заметок. Напомню, что полностью она звучит так: «Никто не забыт, ничто не забыто». В нашем случае речь идет о тех, кто в первое столетие биографии Одессы так или иначе способствовал ее становлению и развитию. Кто во время эпидемий сражался за жизнь горожан, кто выбивал подряды на строительство роскошных особняков и скромных сооружениях на окраинах, кто совершал рискованные, но эффективные торговые сделки, кто уходил в дерзкие плавания… Кто, наконец, способствовал формированию феномена одесского характера, одесской ментальности, а они, как известно, и уникальны, и неоднозначны… Лишь считанные одесситы тех далеких лет, без которых (перефразируем поэта) город не полон, известны потомкам. Увы, о большинстве своих предков мы ничего не знаем.

Отыскать их имена в летописи города, восстановить биографии, вернуть их в контекст истории и, главное, отдать дань памяти и благодарности – такую многотрудную задачу уже много лет решает писатель и краевед Олег Губарь. Наши читатели наверняка отметили занимательные, порой веселые, порой грустные, а иногда и трагические истории, которые он публикует на страницах альманаха. Они и еще многие другие вошли в недавно вышедший сборник «Энциклопедия забытых одесситов», сразу занявший почетное место на Золотой книжной полке.

Каждый персонаж достоин не только упоминания, но и внимания потомков. Среди них есть и самоотверженные герои, к примеру, доктор Капелло, сражавшийся с чумой и сам погибший от страшного недуга, а рядом – Михаил Кологривов, генеральский сын, лихой вояка и авантюрист с биографией, достойной пера Жюля Верна.

Одного из своих героев Губарь сравнивает с Остапом Бендером, но жил Вили Вагнер в начале XIX века и добился куда большего, чем Великий комбинатор. Его имя и сегодня носит комплекс строений, выходящий на три улицы – Дерибасовскую, Екатерининскую и Ланжероновскую. В доме Вагнера когда-то размещались знаменитые рестораций, ателье, магазины известных фирм, в том числе и моего прадеда-ювелира…

В предисловии к своей книге Олег Губарь особо выделяет среди источников полученных сведений о забытых одесситах не архивы, не музеи, не художественную литературу и не газетные публикации тех лет, а самый надежный и самый авторитетный – первый некрополь молодой Одессы. На Старом городском кладбище, уничтоженном в 1930-х годах, покоится прах всех вышеперечисленных и еще многих – праведных и грешных, серьезных и легкомысленных, бедных и богатых… Стоит ли продолжать?

Губарь – среди тех, кто многое делает, чтобы вернуть нам историческую правду, чтобы место успокоения наших предков обрело, наконец, если не свет, то покой. Но это – уже другая история, а наш альманах продолжает публиковать очередные главы – из первого и второго, будущего, томов его книги.

Содержание

От редакции 3

Дарья Ясиновская
С Новым годом! 5

История, краеведение

Ева Краснова, Анатолий Дроздовский
Одесская выставка 1910-1911 годов 8

Олег Губарь
Функции Одесского строительного комитета
в контексте истории градостроительства Одессы 22

Олег Губарь
Энциклопедия забытых одесситов 38

Олег Сивирин
Пушка 50

Начало трагедии
Из дневника Б.Г. Деткова 61

Геннадий Гребенник
Записки обитателя одесского истфака 96

Валентина Коган
Одесский переводчик Фрейда 107

Одесский календарь

Сергей Решетов
Дома семьи Маразли на улице Пушкинской, №№ 2 и 4 122

Проза

Александр Дорошенко
Пророк без отечества 132

Юрий Кудлач
Ариетта 155

Мирослав Кульчицкий
Из книг «Сафари» и «Germania» 161

Нина Данилова
Гусятинские каникулы 167

Роман Бродавко
Прощай и помни обо мне 177

Сергей Куркаев
Одесса, любовь моя 183

Владимир Дроздовский
Анна 184

Виктор Бердник
Летите, голуби, летите 192

Поэзия

Ирина Беньковская
«До сна ли тут, когда сгустилась мгла...» 204

Татьяна Партина
«Сегодня День сурка...» 212

Генрих Грохольский
«Я – дерево без коры...» 215

Татьяна Гончаренко
Одесские зарисовки 218

Первые шаги

Иван Липтуга
Культурная прививка 222

Дарья Ясиновская
«Наслаждайся...» 224

Екатерина Мишенина
«Я на песке слова пишу...» 227

Искусство – жизнь – искусство

Евгений Деменок
«Забытые» годы Врубеля 230

Валентин Максименко
Петр Столярский и Исаак Бабель 248

Ростислав Александров
Возвращение «Калиостро» 253

Ирина Кузнецова
Открываем Америку 260

Вероника Коваль
Удивить постоянством 268

Снежана Павлова
«Долго пахнут порохом слова...» 271

Софья Лебензон
Пушкин о Шенье 280

Публикации

Александра Ильф
«Дела призывают нас в Одессу» 286

И. Вышеславская, Г. Вышеславский
Леонид Вышеславский и Одесса 305

Наши предшественники

Татьяна Щурова
«Одесский понедельник» 322

Путешествие

Иван Липтуга
Если бы знал Рамзес.... 344

Феликс Кохрихт
На родине Тиля 351

Ах, Одесса

Олег Бухарцев
Зима в Одессе 354

Владимир Трухнин, Ирина Полторак
«Городок» – пятый угол! 363

Издано...

Евгений Голубовский
Книжный развал 370

Феликс Кохрихт
Никто не забыт? 375

Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах
Книга 47

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac
Book 47

Издается с 2000 года

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

Технический редактор Геннадий Танцюра
Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 20.11.2011
Бумага офсетная. Печать офсетная
Формат 60x84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Зак № .... Тираж 500 экз.

Всемирный клуб одесситов
65014 Одесса, Маразлиевская, 7
Украина
Тел.: +38 (048) 725-45-67

Worldwide Club of Odessits
7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa
Ukraine
Tel.: +38 (048) 725-45-67

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии издательства «ВМВ»

Издательская организация «ПЛАСКЕ» АО
Регистрационное свидетельство ДК № 2149 от 08.04.05
а/я 299, Одесса 65001 Украина
Тел.: +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua